РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В.В. ВИНОГРАДОВА



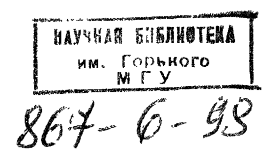
ЭТИМОЛОГИЯ
1994-1996

Ответственный редактор
академик
О.Н.ТРУБАЧЕВ

МОСКВА
"НАУКА"
1997

УДК 800/801
ББК 81
Э 90

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) проект № 97-04-16354



Этимология. 1994–1996. – М.: Наука, 1997. 223 с.
ISBN 5-02-011277-1

Очередной том сборника объединяет работы отечественных и зарубежных исследователей в области этимологии (русской, славянской, индоевропейской, картвельской) и смежных дисциплин. Бóльшая часть статей посвящена конкретной этимологизации славянской лексики. В ряде статей анализируются принципиальные проблемы реконструкции праславянского лексического фонда в связи с реконструкцией древнейшей истории славянской культуры, славянской картины мира.

В состав критико-библиографического отдела входят рецензии на новые публикации в области этимологической и исторической лексикологии и лексикографии.

Для этимологов, историков языка, историков культуры.

ТП-97-II-168
ISBN 5-02-011277-1

СТАТЬИ

В. Орел*

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ» (вып. 1–21, 1974–1994)

Выбранная мною точка отсчета (год издания 1-го выпуска ЭССЯ) является, конечно, чисто условной. Если уж вести счет годам, его следовало бы начинать где-то в первой половине 1960-х годов, когда поныне действующий коллектив словаря под руководством О.Н. Трубачева приступил к созданию картотек и известил коллег о начале своей работы пробным выпуском[1]. Для моего поколения славистов, посещавших в те годы начальную, а потом среднюю школу, ЭССЯ представлял собой своеобразный fait accompli и в то же время – образец непрерывного созидания, роста и преобразования. Наряду с многими другими публикациями его авторов-этимологов (прежде всего в серийных сборниках «Этимология»), словарь на протяжении последних десятилетий формировал ту интеллектуально-понятийную и информационную среду, в которой работали исследователи-слависты России и других стран, ту профессиональную традицию и особую школу, к которой позволительно было не принадлежать, но которую нельзя было игнорировать. Именно поэтому намеченный выше условный юбилей хотелось бы отметить не пополнением списка частных замечаний и дополнений к ЭССЯ, о чем мне уже не раз приходилось писать в прошлом[2], а попыткой обобщения всего того, в чем выразилось влияние ЭССЯ на современную историко-лингвистическую науку в целом и славистику в частности.

Важнейшее последствие работы над ЭССЯ уже названо выше – создание московской этимологической школы. Существование ее в последние тридцать – сорок лет настолько очевидно, что попытка внятно охарактеризовать основные черты этой школы, как они выразились в ЭССЯ, оказывается совсем не легкой. Все же, среди бросающихся в глаза позитивных особенностей московской этимологии можно было бы упомянуть стремление к семантической и словообразовательной глубине в анализе слова, или, если попытаться свести эти две черты к одной,

стремление к ц е л ь н о с т и анализа. Как ЭССЯ в целом, так и отдельные этимологические разработки ориентированы на цельнолексемные соответствия с учетом тонких словообразовательных и морфонологических особенностей и, одновременно, на поиск достоверных (а значит, отнюдь не тривиальных!) семантических соотношений между сравниваемыми словами. Стоит лишь открыть ЭССЯ на произвольном месте (ЭССЯ 5, 168–169), чтобы обнаружить там оба названных выше аспекта: в этимологии **dvigati* с реконтрукцией именного **dvigъ* = нем. *Zweig* со значением, восстанавливаемым как *'развилка'[3] (ср. слвц. диал. *šošit'* 'поднимать' при *socha* 'развилка') и в этимологии **dvoxati*, деривационно и морфонологически сближаемого с и.-е. **dhu̯es-*, которое трактуется далее как ступень редукции к **dheu-s-*. Положительные стороны такого подхода – особенно в лексикографии – не требуют дополнительного подтверждения; однако есть у него и некоторые побочные недостатки, связанные с тем, что вне поля зрения исследователя могут иногда оказаться некоторые историко-фонетические «мелочи», например, акцентологические нюансы[4].

Цельность этимологического анализа в ЭССЯ неотделима от и с т о р и з м а этого словаря, то есть ориентации на (виртуальную) реальность реконструируемых форм и, как следствие, придание особой роли праславянским диалектизмам и локализмам[5]. В сущности, введенные таким образом в научный оборот понятия праязыковой диалектной системы, реконструируемого диалектизма и диалектных семантических архаизмов раз и навсегда положили конец терминологическому и концептуальному туману, связанному с неразличением обще- и праславянского. Вместе с тем, понятие праславянского диалектизма претерпело на протяжении минувших тридцати лет некую эволюцию, и притом – не в лучшем направлении. Если в 60-е и первой половине 70-х годов реконструкция диалектизма (впоследствии вошедшего в словник ЭССЯ) требовала мощной дополнительной аргументации, например, наличия неславянских словообразовательных параллелей (р. **krida* 'сито' > в.-луж. *křida*, н.-луж. *kšida* = лат. *crībrum* и т.п. – ЭССЯ 12, 151[6]) или принадлежности к архаичной словообразовательной модели (**kasty*, *-ъve* 'осока' > н.-луж. *kastwej*, ЭССЯ 9, 156–157[7]), то вновь предлагаемые в ЭССЯ праславянские диалектизмы далеко не всегда подстрахованы таким образом и с не меньшей вероятностью могут оказаться вторичными деривациями отдельных славянских языков, ср., например, **milica* > блр. *мiлiца* 'камыш' (ЭССЯ 20, 35), **motikъ* > рус. *мотик* 'моток' (ЭССЯ 20, 48), **myvъka* > болг. *мивка* 'раковина умывальника; тряпка' (ЭССЯ 21, 88). Эти замечания приводят нас к обсуждению еще одной черты, свойственной ЭССЯ, – ш и р о т е о х в а т а лексического материала.

Насколько можно судить по опубликованным выпускам, репрезентация сравнительных данных с некоторым допуском, то есть готовность авторов словаря скорее ввести в ЭССЯ избыточные (то есть вторичные) производные, нежели упустить какие-то потенциальные

праславянские лексические единицы, есть результат сознательной установки. Эта установка может в некоторых случаях значительно искажать реальную картину праславянского лексического состава, особенно в сфере продуктивной префиксальной деривации (*jъz-, *na-) и таких суффиксальных моделей, как *-telь, *-nikъ и т.п. Слова, объединенные подобными праславянскими реконструкциями, могут, на самом деле, объясняться параллельным независимым развитием или межславянскими заимствованиями. Последнее особенно вероятно при практически полной семантической идентичности сводимых вместе форм и их принадлежности к сфере культурной лексики (ср., например, рефлексы *načitati sę, ЭССЯ 21, 230). Однако семантические фильтры в ЭССЯ не используются в принципе (см. ниже). Таким образом, широта охвата нередко оборачивается его бесконтрольной избыточностью. С методологической точки зрения это, бесспорно, плохо, однако – и это значительно важнее в практике лексикографии – в интересах дела (а не чистоты риз) этот недостаток следует всячески приветствовать, поскольку он оставляет за читателем необходимую свободу выбора и перспективу дальнейшего исследования той лексики, которая, к счастью, не оказалась за бортом ЭССЯ.

Выше уже отмечено отсутствие эксплицитно выраженного семантического контроля в ЭССЯ. Более того, этот словарь – по крайней мере, в заглавной части статей – вообще не дает семантической реконструкции, оставляя эту работу, как и верификацию семантической обоснованности сопоставления, читателю. Как мне представляется, это верное и единственно возможное для такого словаря решение[8]. Объясняется оно тем, что в достаточно большом количестве случаев семантическая реконструкция не является результатом «арифметических» действий над сравниваемыми формами, а вплетается в этимологизацию праславянского слова и неотделима от процесса поиска этимона. Иначе говоря, в ущерб формальной симметрии материи и семантики, ЭССЯ основывает структуру своих словарных статей на значительно более глубокой связи семантики и этимологии, относя реконструкцию значения к чисто этимологической сфере. С другой стороны, реконструкция семантики в прозрачных дериватах, которой также избегает ЭССЯ, просто была бы нереальной на том уровне знаний, который характеризует сегодняшнюю историческую лингвистику.

В большинстве отзывов на ЭССЯ, как мне представляется, была упущена из виду еще одна важная особенность этого словаря – его потенциальное значение для сравнительно-исторической грамматики славянских языков. Столь грандиозное собрание сравнительно-сопоставительного материала, по самой сути своей, не может не дать ответа на спорные вопросы славянского исторического языкознания. В этом смысле весьма показательным примером реального вклада ЭССЯ в сравнительно-историческую грамматику может служить 8-й выпуск словаря, покрывающий начальное *x-. Этот отрезок ЭССЯ предлагает нам новый ответ на вопрос об источниках неэкспрессивного *x- в славянском, а именно, отрицая некоторые более

ранние попытки[9], сводит все прототипы слав. *x- к и.-е. *sk- (через промежуточную стадию *ks-), *ks- и *s- (последнее, видимо, только по правилу r u k i после определенных префиксов). Замечу, что эта картина в точности соответствует ситуации в албанском, где такие же источники реконструируются для *h*-[10].

Несомненно велик и потенциал ЭССЯ в том, что касается его роли для индоевропеистики. Хотя, к сожалению, сам словарь в своих индоевропейских сопоставлениях практически полностью зависим от словаря Покорного, что особенно нежелательно в том, что касается индоевропейских реконструкций как таковых и группировок и распределения реально засвидетельствованного материала между ними[11], праславянская лексика, восстанавливаемая в ЭССЯ, в огромной степени расширяет славянскую сравнительную базу, которая становится доступной индоевропеистам. Во многих случаях эти славянские дополнения придают индоевропейским этимологиям новое (хотя иногда и спорное) измерение, ср., например, такие статьи, как **lisa* (ЭССЯ 15, 137–139), **bělъ* (ЭССЯ 2, 79–81), **medъ* (ЭССЯ 18, 68–72). Ясно, что возможности в этом направлении далеко не исчерпаны. Так, индоевропейская перспектива просматривается для слав. **kryra*, известного только как западно- и восточнославянский топоним. В ЭССЯ это слово трактуется как звукоподражание (ЭССЯ 13, 70–71), однако соседство *Krery, Kryrowo* с гидронимами, производными от слав. **kry*, позволяет рассматривать **kryra* как архаичное соответствие др.-инд. *krūrá*- 'кровавый, израненный; рана'[12]. В ЭССЯ 19, 210, в связи с обсуждением этимологии слав. **monisto*, оказалось упущенным более простое образование pl. tantum **mony* > рус. диал. *моны* 'волосы', непосредственно сопоставимое с и.-е. **monī*- 'шея'[13].

Тот качественный рывок, который осуществлен в славянской этимологии благодаря ЭССЯ, не только не исключает, но и стимулирует все новые обращения к тому постепенно сужающемуся кругу славянских слов, которые по-прежнему принадлежат к этимологическим dubia. Не всегда такие возвращения к уже не единожды анализировавшемуся слову приводят к окончательному решению, однако они, несомненно, наполняют содержанием саму этимологическую деятельность. Интересным примером может служить слав. **mǫdo*/**mǫdъ* (ЭССЯ 20, 123–125), интерпретация которого остается проблематичной. Явная слабость упоминаемых в словаре малоубедительных сближений (с греч. μῆδεα 'срамные части', с лат. *mentula* 'мужской член' и с др.-инд. *mándala*- 'круглый') подталкивает авторов ЭССЯ к тому, чтобы принять несколько раз воскрешавшуюся (Якобсоном, а затем Топоровым) идею Маценауэра о родстве **mǫdo*/**mǫdъ* с **mǫdrъ*. Однако положенная в основу этого сопоставления расплывчатая идея о семантической смежности мудрости и половой силы в «обретении высших духовных ценностей или богатства, скота, потомства»[14], на мой взгляд, весьма далека от реальных мотиваций такого рода лексики. В случае **mǫdo*/**mǫdъ*, во всех своих основных продолжениях вы-

ступающего как отнюдь не метафорическое обозначение тестикулов, стоило бы, прежде всего, взвесить перспективность его членения как *mǫ-do/*mǫ-dъ по модели таких слов, как *sǫ-dъ, *pri-dъ, *na-dъ, *u-dъ/*u-do и других производных со вторым компонентом *-dъ, восходящим к и.-е. *dhē-[15]. Если считать такое членение возможным, не остается ни формальных, ни семантических препятствий для сравнения корневой части *mǫ-do/*mǫ-dъ с индоевропейским обозначением мужчины (Pokorny I, 700): др.-инд. *mánu-*, *mánuṣ-*, авест. *manuš-*, гот. *manna* (сюда же, в конечном счете, и слав. *mǫžь). В плане значения *mǫ-do/*mǫ-dъ оказывается названием того, что характеризует, иначе говоря – делает, устанавливает мужчину.

Размышляя о причинах, приведших авторов словаря к успеху – а их работа, несомненно, является успехом, о чем я еще скажу ниже, – необходимо подчеркнуть как одну из важнейших технических особенностей ЭССЯ его заранее и удачно спланированную тактику формирования словника. Число созданных наукой этимологических словарей столь невелико, что пока практически игнорируется вопрос о том, как собственно, следует (или, наоборот, не следует) строить деятельность, предшествующую собственно окончательному оформлению и публикации словаря. Никакой теории в этой области не существует, а жаль: опыт показывает, что казалось бы здравые соображения могут привести лексикографов к провалу. Так, например, априори кажется несомненным, что при наличии удовлетворительной сетки фонетических соответствий можно на ее основе, осуществляя «пересчет» от языка X к языку Y и используя некоторые семантические ограничения, прийти к достаточно полному списку этимологических соответствий, то есть к словнику будущего словаря. Увы, в случае с прерванным афразийским словарем И.М. Дьяконова этот поверхностно-рациональный подход привел к созданию совершенно недоброкачественного произведения[16]. В нашей работе над семито-хамитским этимологическим словарем мы учли это обстоятельство и прибегли к совершенно иной процедуре формирования словника, условно говоря, к историко-фонетической фильтрации семантически ограниченных групп лексики[17]. Еще одна процедура, результатом которой является ЭССЯ, была задумана в самом начале работы и базировалась на смелой идее создания праславянских картотек по каждому славянскому языку в отдельности, с последующим слиянием их в одну картотеку уже на праязыковом уровне[18]. Это принципиально новое решение представляется оптимальным при создании этимологических словарей для тех групп языков, в которых имеется длительная этимологическая традиция и хорошо разработанная сравнительно-историческая фонетика. В других случаях, когда подобная база отсутствует, представляется предпочтительной указанная выше процедура, принятая нами в семито-хамитском этимологическом словаре.

К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что ЭССЯ не был замечен в должной мере ни русской, ни мировой наукой. На

сегодняшний день его влияние и уровень цитируемости как в славяноведческой литературе, так и в индоевропеистике ни в какой степени не соответствует научному значению этого словаря. Впрочем, это дело наживное. Куда более печально то, что ЭССЯ и в чисто физическом смысле не занял подобающего ему места. Так, в Израиле моя личная библиотека – единственная, где это издание представлено почти целиком (*почти* – поскольку я оказался не в состоянии раздобыть изданный смехотворным тиражом 18-й выпуск). Ничуть не лучше обстоит дело и во многих университетах Европы и США. Создается впечатление, что научные организации России, которым естественно было бы заботиться о распространении своих достижений, не вполне понимают, что именно представляет собой ЭССЯ. Между тем, этот доведенный лишь до половины проект уже сегодня является бесспорным сокровищем национальной гуманитарной культуры России и нуждается в постоянной и вдумчивой опеке.

Разумеется, проблемы, связанные с настоящим и будущим ЭССЯ, куда многообразнее того, о чем говорится в настоящих заметках. В любом случае, хотелось бы пожелать авторам словаря благополучно разрешить эти проблемы в тех нелегких условиях, в которых им приходится работать последние годы. Хочется надеяться, что в этом поможет и понимание важности научной задачи, и огромные размеры уже сделанного. Нам, читателям, остается только с нетерпением ожидать последующих выпусков.

Примечания

[1] Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963.

[2] См., например: *Орел В.Э.* [Рец. на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Вып. 13 // Советское славяноведение. 1988. № 1, 104–106; *Он же.* [Рец. на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Вып. 14 // Советское славяноведение. 1988. № 2, 110–111; *Он же.* [Рец. на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Вып. 15 // Советское славяноведение. 1989. № 5, 102–103; *Он же.* К реконструкции праславянского словарного состава // Советское славяноведение. 1987. № 5, 73–79.

[3] См. также: *Трубачев О.Н.* Славянские этимологии 41–47 // Этимология 1964. М., 1965, 4–6.

[4] Это, естественно, может повлечь за собой частные ошибки в идентификации акцентологически не допускающих объединения лексем. В то же время, отсутствие в ЭССЯ акцентной реконструкции как обязательного атрибута каждой словарной статьи оставляет читателя без весьма существенной информации, которую он часто не в состоянии получить самостоятельно на основе приводимых форм славянских языков. См. об этом: Основы славянской акцентологии. М., 1990, 3. Из других историко-фонетических неудач ЭССЯ назову здесь еще некорректное решение проблемы начального **i*- vs. **jь*-.

[5] В духе пионерской работы О.Н. Трубачева: *Трубачев О.Н.* О праславянских лексических диалектизмах сербо-лужицких языков // Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963. 154–172.

[6] Там же. 165.

[7] Там же.

[8] Возможной была бы только «псевдореконструкция», то есть механическое перечисление

при праславянской лексеме всех значений, засвидетельствованных у ее продолжений. Однако в данном словаре она была бы громоздкой, бесцельной, а главное, антиисторичной.

[9] См.: *Иллич-Свитыч В.М.* Один из источников начального *х*- в праславянском. Поправка к закону Зибса // ВЯ. 1961. № 4. 93–98.

[10] См.: *Orel V.* PIE **s* in Albanian // Die Sprache. 31. 1985. 279–284.

[11] В этом смысле малосодержательными являются частые отсылки ЭССЯ к источникам типа пресловутого и.-е. **(s)ker-* 'резать'.

[12] См.: *Орел В.Э.* Балтийская гидронимия и проблемы балто-славянского этногенеза // Советское славяноведение. 1991. № 2. 83–86.

[13] См.: *Орел В.Э.* Этимологические заметки по восточнославянской лексике // Советское славяноведение. 1990. № 3. 72–73.

[14] *Топоров В.Н. Мазда* // Мифы народов мира II. М., 1993. 88. Цитируется также в ЭССЯ 20, 133.

[15] См. уже: *Jagić V.* Das Leben der Wurzel *dhē-* in den slavischen Sprachen. Agram, 1871; далее см.: *Трубачев О.Н.* О составе праславянского слова. Проблемы и задачи // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. 182, а также: *Орел В.Э.* Слав. **udъ* // Этимология 1977. М., 1979. 55–59.

[16] *Дьяконов И.М. и др.* Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. I–III. М., 1981–1986. Эта совершенно недостоверная работа, к сожалению, публикуется сейчас и в английском переводе в "St. Petersburg Journal of Afro-Asiatic Linguistics".

[17] Подробнее см.: *Orel V., Stolbova O.* Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Leiden, 1995, XXVII–XXVIII.

[18] См.: Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963.

Л. Мошинский*

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКИХ ВЕРОВАНИЙ

1. **Предмет исследования.** Как показывает существующая богатая научная литература о духовной жизни праславян, одна из причин различия во взглядах заключается в отсутствии однозначной классификации исследуемых явлений. Трудноуловимая граница между разными уровнями духовной жизни имеет своим следствием то, что одни исследователи рассматривают их совокупно, как непрерывный ряд культурных явлений, куда включают также религиозную жизнь (напр., О.Н. Трубачев), другие выделяют верования и так называемую мифологию в одну группу проблем, причем деление внутри группы имеет второстепенное значение (напр., А. Брюкнер, С. Урбаньчик, А. Гейштор), наконец, есть и такие, которые усматривают существенную разницу между такими уровнями духовной жизни (в какой-то мере пересекающимися друг с другом), как магия, демонология и религия (напр., Х. Ловмянский). В основе различия в подходе к этим проблемам лежит, конечно, не отношение исследователя к христианству, что поста-

вил мне в упрек О.Н. Трубачев[1], когда я занял именно такую исследовательскую позицию, а характер исследуемого предмета. И это касается не только самой сущности разных уровней духовной жизни, но также – что в данном случае важнее всего – возможности познания субъекта этих переживаний, а именно праславянского этноса, что, будучи перенесено на лингвистическую почву, значит – праславянского языка.

Его начала, время и место его возникновения все еще остаются (и наверняка долго еще будут продолжать оставаться) поводом для создания более или менее вероятных научных гипотез. Несомненно только то, что он должен был существовать, что принадлежит он к семье индоевропейских языков, что его возникновение скрывается в отдаленной древности (в частности, Трубачев в книге, о которой – чуть ниже, чаще всего говорит о третьем тысячелетии до Рождества Христова), а также то, что его конечная фаза, иначе говоря, момент, когда начали формироваться отдельные славянские языки, приходится на время первых контактов славян с христианством, что для филолога означает время появления письменных текстов. Лингвистическая палеославистика, ставящая цель познания языка, а через язык также жизни, в том числе духовной жизни праславян, развивается в настоящее время в двух направлениях: познания начала праславянского, то есть его этногенеза, и познания всего того, что можно почерпнуть из письменных текстов – как исторических источников, так и литературных текстов, куда относятся также тексты церковные.

За последние пять лет появились две книги, анализирующие эти проблемы применительно к обоим крайним периодам праславянского. Это изданная в 1991 г. книга известнейшего этимолога Олега Николаевича Трубачева "Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования" (М., 1991, 271 с.). Книга посвящена началам славянства, причем автор чаще всего называет третье тысячелетие до Рождества Христова, впрочем, с определенными допусками в одну и в другую сторону на оси времени. Вышла также книга под моим авторством – "Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft (Köln; Weimar; Wien, 1992) (эта дата стоит на титульном листе, но на его обороте имеется примечание: "Copyright 1991 by Böhlau Verlag GmbH, Köln"); книга насчитывает 144 страницы и анализирует конечный период праславянских верований, незадолго до принятия христианства. Время выхода обеих публикаций показывает, что ни Трубачев не мог знать о моей книге, ни я о его.

Исследования столь различных эпох (хотя, разумеется, и Трубачев обращается к более поздним временам, и я – к более древним), отдаленных одна от другой приблизительно четырьмя тысячами лет, – эпох, для которых мы располагаем совершенно различным материалом источников и которые, без сомнения, должны были значительно отличаться в смысле состояния духовной культуры славян, требовали иных методов исследования и должны были приводить необязательно к идентичным выводам. Поэтому неудивительно, что Трубачев опубликовал в 1994 г. две полемических статьи-рецензии на мою книгу[2]. Удивитель-

ным же может показаться то, что этот видный ученый обнаружил полное отсутствие интереса к периоду, которым занялся я, и к примененному мной методу исследования. Главный его упрек, который в сущности определил его однозначно негативную оценку моей книги, касается, собственно, следующего: "Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой (*поганьскъ*), а дохристианской. Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, т.е. отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка. Но это не так. (...) Тем самым ставится вопрос о временно́й глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I тысячелетия до н.э. (...) ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии". Главный недостаток моей работы состоит, таким образом, в том, что "заявленная лингвистическая позиция осталась скорее невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи" (Рец., с. 9)[3].

Эти формулировки поражают своей односторонностью по двум причинам. Во-первых, нельзя ограничивать лингвистику этимологией, нельзя исключить из нее филологического языкознания. А, во-вторых, как я упомянул вначале, поскольку мы не можем проследить эволюцию духовной жизни праславян, продолжающуюся около четырех тысячелетий – от их этногенеза до конца исходного единства, мы должны стремиться к тому, чтобы познать то, что является возможным в рамках языкознания, а именно: древнейший период – посредством этимологических исследований и конечный период – путем, главным образом, филологических разысканий. Лишь только потом, после сопоставления результатов обоих исследовательских направлений, станет возможным хотя бы частичное заполнение пустующего пространства на оси времени. Именно поэтому, воздавая должное исследованию Трубачева за его последовательную приверженность одному исследовательскому методу, называемому им "внутренней реконструкцией" ("Будучи поставлены перед дилеммой – внешнее сравнение (в данном случае – метод Дюмезиля[4]) или внутренняя реконструкция, – мы выберем, естественно, последнее". – Рец., с. 14), что, разумеется, не значит, что я принимаю результаты его рассуждений некритично, о чем – дальше, я не могу вместе с тем разделить его антипатии к сфере исследовательского метода, применяемого мной. Et haec oportet facere et illa non omittere. Я воспринимаю критику своей работы как приглашение к дискуссии о лингвистических методах исследования духовной жизни праславян – тем более, что и сам Трубачев назвал свои замечания "диалогом с Мошинским" (Рец., с. 9).

2. **Лингвистические методы исследования (этимологический и филологический), их преимущества и недостатки.** К познанию раннепрасла-

вянского словаря – как в его фонетической форме, так и в значениях, понимаемых весьма обобщенно, – ведет только один путь. Отсутствие каких бы то ни было письменных текстов приводит к тому, что мы здесь вынуждены основываться исключительно на этимологии[5]. Принимая во внимание закономерности фонетического развития и древнейших принципов словообразования как языка праславян, так и других индоевропейских этносов, этимологи преследуют цель воссоздания древнейшего словарного состава и его первоначальной семантики. Существенную роль при этом играют индоевропейские аналогии. Это относится в равной степени ко всему словарному составу, в том числе и к лексике, связанной с духовной и религиозной жизнью. Во многих случаях это дает очень интересные результаты, но здесь кроются и определенные опасности. Потому что, с одной стороны, древнейшее родство лексики разных групп индоевропейских языков указывает на их более тесные связи или окказиональные контакты в какой-то древний, трудноопределимый период времени, а с другой стороны, оно отвечает обоснованной гипотезе о локализации древнейших этносов в праиндоевропейскую эпоху. Нередко древнейшую историю слова можно интерпретировать несколькими способами, и именно тогда дают о себе знать упомянутые опасности.

Продемонстрирую это на нескольких примерах, прежде всего – на и.-е. **deịụos*. Этимологи, принимающие существование балто-славянской языковой общности и тесные праславянско-иранские контакты, реконструируют значение праслав. **divъ* как 'бог ясного неба' → 'злой дух' и на основе этого строят выводы, касающиеся религиозной системы. Те, кто отрицает влияние зороастризма, представляют себе это развитие иначе, но не подвергают сомнению раннего обожествления славянами ясного неба. Сомнения, зародившиеся у меня при определении первоначального значения этого праславянского слова, прежде всего – в связи с дальнейшим семантическим развитием слова *divъ* не в сторону значения 'демон', а 'нечто необычное, чудо, диво', подкрепляет приводимый Трубачевым пример финского *taivas* 'небо', раннего заимствования в финский из балтийского (Этн., с. 186). Трубачев, будучи решительным противником теории балто-славянской языковой общности, аргументирует свою позицию тем, что даже у балтов, в языке которых значение 'бог' у этого слова (лит. *diẽvas*) не вызывает сомнений, оно является относительно поздним.

Отрицание периода балто-славянской языковой общности вынуждает Трубачева искать (впрочем, не без основания[6]) и этимологию праслав. **velesъ*, независимую от балтийского, хотя он и признает, что значение праславянского слова, которое "с миром душ умерших связано так или иначе" (Рец., с. 4), близко к лит. *vẽlės* 'души умерших'. В свою очередь, под давлением того, что он назвал в последней фразе рецензии моей книги "внутренней реконструкцией" (применительно к системе праславянских верований), он склоняется к принятию этимологии от корня и.-е. **ụel-* 'долина'[7]. *Velesъ* как божество низин, далее – пастбищ (Рец., с. 14), оказывается, таким образом, вторым членом дихотомической

оппозиции в отношении Перуна, бога грома-молнии и гор. В обоих случаях теонимизация, согласно Трубачеву, находилась в стадии зарождения, откуда в лексическом материале наряду с теонимическими употреблениями присутствуют также апеллативные.

Другим характерным примером является способ интерпретации двух слов, связанных с миром умерших. Индоевропеисты толкуют и.-е. корень **naų-* как 'мертвый'. Трубачев, отвергая теорию омонимичности корней и связывая праслав. **navь* 'умерший', в частности, с лат. *navis* 'судно, корабль', предполагает развитие праслав. **navьjь* 'мертвый' из первоначального 'лодочный' ~ 'в лодке погребаемый' (Этн., с. 174). Следует иметь в виду, что территориальная близость праславян и италиков и древнейшие праславянско-латинские языковые связи составляют одно из главных положений его теории этногенеза славян, которые должны были бы занимать Среднее Подунавье и граничить на юге с италийской языковой группой (см. Этн., карта 1 на с. 20, примечания на с. 150, 215 и др.)[8]. Нужно также заметить, что, помимо этой этимологии, ассоциирующейся явно с чужими верованиями о перевозе умерших через реку, рассматриваемыми Трубачевым как праиндоевропейские, какие бы то ни было конкретные данные о том, что праславяне представляли себе страну умерших, согласно Трубачеву, как расположенную за рекой (своего рода праславянский Стикс?), отсутствуют. Об этом же якобы свидетельствует праслав. **rajь*, образованное, согласно Трубачеву, от корня **roį-* (сюда же **rěka*), с первоначальным значением 'заречный' (Этн., с. 173–175; Рец., с. 4, 8). Мир умерших, расположенный "за рекой", в таком случае оказывается местом пребывания всех умерших – и хороших, и плохих при жизни. Такая концепция проблемы не дает, однако, ответа на вопрос, каким образом получилось, что на заключительной стадии дохристианских верований славян **rajь* – это исключительно место для праведников. Об этом свидетельствует древнейший перевод библейских понятий: **насади бъ҃ раи** [для Адама и Евы]. Быт. 2, 8 и понятий христианских: **дьньсь съ мноѭ бѫдеши въ раи**, – говорит распятый Христос милосердному разбойнику (Лук. 23, 43). В то время как безжалостный богач после смерти находился не **въ раи**, а **въ адѣ** (Лук. 16, 23). Трубачев расценивает мои толкования следующим суждением: "Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом видения" (Рец., с. 4), а непосредственно в отношении обсуждаемого здесь факта он усмотрел в моей интерпретации "иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления" (Рец., с. 8). Но я нигде не отождествлял праславянского понимания рая с христианским и только констатировал, что, поскольку праславянский **rajь* не только не был осужден миссионерами, но оказался даже прямо отождествлен с обетованным раем Христа, он должен был обозначать приятное место – тем более, что и сад-обиталище наших прародителей в Эдеме, потерянный за грех непослушания, обозначен тоже этим словом. А для места посмертного воз-

мездия миссионеры не нашли подходящего славянского слова и поэтому поместили немилосердного богача в адѣ, позаимствованном у греков.

Этот пример выявляет существенные трудности и опасности, сопряженные с использованием этимологических данных. У многих слов существует по нескольку этимологий. Серьезный этимологический словарь приводит их все, а его автор или воздерживается от собственного суждения, или отдает предпочтение одной из них. В любом случае читатель словаря имеет возможность выбора. В то же время, используя достижения этимологии для подкрепления крупного обобщения, независимо от того, будет ли это "внутренняя реконструкция" в понимании Трубачева или опыт синтетического описания с учетом всех доступных филологических фактов вроде того, что делаю я, мы всегда склоняемся к той этимологии, которая лучше объясняет описываемое явление. Поэтому-то Трубачев для подкрепления своей гипотезы о "заречной" стране умерших выбрал этимологию *rajь от корня *roi̯-/*rei̯- 'течь', мне же более вероятной представилась этимология этого слова от иранского rāy 'богатство, счастье', принятая иранистами[9], неприемлемая для Трубачева также и по причине его теории этногенеза славян, поскольку праславянам, которых он помещает на Среднем Дунае, нелегко было контактировать с иранцами, локализуемыми им к северу от Крыма, между Нижним Днепром и Доном.

Метод "внутренней реконструкции", применяемый Трубачевым, путем этимологических исследований может приводить к общим выводам – как весьма вероятным, так и очень сомнительным. К первым из них я отношу, например, его выводы, основанные на этимологическом анализе глагола *gověti* 'хранить почтительное молчание' (Этн., с. 184; Рец., с. 11), который должен отражать характер религиозных переживаний праславян, определяемых Трубачевым как "идеология молчаливого почитания божества". Это очень вероятно, поскольку вплоть до эпохи христианизации внутреннюю религиозную жизнь славян выражали два древнейших глагола – **modliti* (*sę*), первоначально 'просить', и **žr̥ti*, первоначально 'славить'[10]. Я думаю, что сюда же можно было бы включить и главный вид религиозной жертвы, называемый словом трѣба. Резкая критика Трубачева, направленная против принятой мной этимологии, принимаемой, впрочем, и некоторыми другими этимологами, – в связи с глаголом трѣбити(лѣсъ), не является в данном случае существенной (Трубачев, Рец., с. 8, определяет первоначальное значение как 'острая необходимость, дело'). Любопытно, что этот вид жертвы, вначале страстно отвергаемый миссионерами как дѣло сотонино[11], очень рано принимается: слово трѣба в значении христианской жертвы фигурирует уже в кирилло-мефодиевском Синайском требнике (60а 14–16)[12]. Очевидно, и у дохристианских славян это была бескровная жертва. Для обозначения ветхозаветной кровавой жертвы славянские миссионеры употребляли слово, бывшее, вероятнее всего, кирилло-мефодиевским неологизмом, –

жрътва. Таким образом, выводы, полученные Трубачевым, на основании этимологических исследований, – о характере древнейшего типа религии праславян, который он определяет как "молчаливое почитание высших сил" (Этн. 215), то есть род созерцания (Трубачев употребляет также в качестве символа латинское слово *favēre*), находят поддержку в филологических исследованиях. Единственное, в чем можно сомневаться, – это: действительно ли семантическая близость праслав. **gověti* и лат. favēre (и то и другое являются продолжением и.-е. **ghou̯-ē-*) служит доказательством того, что "в сфере религии славяно-латинские отношения древнее и элементарнее более развитых и потому более поздних славяно-иранских и славяно-индоарийских отношений в сфере идеологии и религиозной лексики" (Этн., с. 184), но это уже другой вопрос, составляющий один из главных аргументов Трубачева в пользу теории дунайской прародины славян.

К числу весьма сомнительных выводов я отношу тезис о заповеди, якобы нормирующей духовную, а также религиозную жизнь праславян, – **znaji svojь rodъ* ≤ **g'nō- su̯om g'enom* (Этн., с. 163, 172, 210–211; Рец., с. 11).

Второй метод исследования, филологический, тоже, наряду с положительными достоинствами, чреват определенными опасностями. Тексты, являющиеся базовыми источниками для филолога, имеют относительно позднее происхождение, и, опираясь на них, можно ознакомиться с верованиями славян конца праславянского периода. Тексты, которыми мы располагаем, двоякого рода: разнообразные исторические источники и литературные, прежде всего религиозные, тексты.

Тексты источников, наряду с информационными данными, содержат, правда, в небольшом количестве, но чрезвычайно важные для нас, славянские слова и действительные или мнимые теонимы. Глубокое овладение текстами источников требует сотрудничества историка и филолога, их не всегда удается однозначно интерпретировать (классический пример такого рода – известное разночтение у Прокопия Кесарийского: *θεῶν ἕνα – θεὸν ἕνα*), может ввести в заблуждение средневековое обыкновение субституции теонимов, а порой и их фабрикации (здесь классическим примером является старопольский псевдопантеон Длугоша), да и само их прочтение может быть сопряжено с значительными трудностями.

В качестве примера приведу написание *Tjarnaglofi* (так наз. Knytlingasaga, XIII в.). Читали его по-разному, напр. *Čarnoglovъ*, *Triglovъ*. Для того, чтобы прочитать это слово правильно, филолог должен учесть несколько факторов: 1) славянский диалект, из которого слово происходит (западнолехитские диалекты Мекленбурга и Рюгена XIII в. известны уже достаточно хорошо); 2) национальную принадлежность автора – славянские звуки по-разному должны были воспринимать скандинав Олаф Тордарсон или, например, уроженец Средней Германии Титмар; 3) графическую систему памятника – так, скандинавская Кнютлингасага записана по скандинавской орфографии, а, например, хроника Титмара – по-латыни, в соответствии с принципами средне-

векового латинского письма; 4) возможность знания славянского языка у пишущего (Титмар, вероятнее всего, знал или лужицкий, или ободритский славянский диалект, но мы не знаем, был ли Олаф Тордарсон, автор Кнютлингасаги, знаком со славянским диалектом Рюгена); 5) словообразовательный тип: сложения с соединительным гласным *-o-* и вторым компонентом *-glov-* являются относительно поздними; 6) расширенный контекст, а именно: недостаточно ограничиться констатацией, что это было божество победы (*sigrgoð*), нужно также обратить внимание на тот факт, описанный хронистом, что христиане мирились с его наличием целых три года, тогда как другие идолы были уничтожены миссионерами немедленно; 7) нетекстологические факторы общего характера: а) когда и при каких условиях могли появиться у славян антропоморфные божества и их имена (например, Трубачев полагает, что это явление относительно позднее, причем одним из древнейших, а, может быть, и древнейшим, по его мнению, является заимствованное из древнеиндийского *svarga-* 'небо (как солнечный путь)' не ранее середины I тысячелетия до Рождества Христова слав. *Svarogъ* – Этн., с. 4., 181–182; Рец., с. 9); в) когда и при каких условиях возникали исключительно западнолехитские двучленные теонимы, а также с) при каких исторических обстоятельствах имели место запись и само описываемое явление – в таких вопросах лингвист должен опираться на мнение историков.

Принимая во внимание тот факт, что первый компонент этого, скорее, эпитета, чем теонима, записанный по-скандинавски, можно прочесть только как **t'arn-* ≤ **tŕ̥n-* (вост.-помор. *carn*, польск. *tarn-*), а равным образом замечания историка Ловмянского на тему различных мер предосторожности полабских славян перед лицом христианизации и германизации, я выдвинул предположение, что этот эпитет, в передаче средствами общепольской фонетики – *Tarnogłowy*, мог оказаться религиозно-политическим камуфляжем, продлившим его жизнь еще на три года[13]. Трубачев высмеял это соображение, не предложив ничего другого, а также оценил отрицательно саму методику, которая, по его мнению, не "лингвистическая", а "историко-филологическая" и притом в значительной степени традиционная (Рец., с. 9). Он при этом упустил из виду, что лингвистика – это не только этимология, в ней есть место и для филологического языкознания, основывающегося на письменных фактах.

И еще один пример: Трубачев не согласен с принимаемой некоторыми исследователями (напр. Х. Ловмянским, а также мною, с. 60–63) теорией о восприятии стодоранами и другими западными лехитами святого Вита в обличье своего собственного божества-покровителя Святовита, он не скупится на иронию по этому поводу, но и его теория вызывает серьезные сомнения. Маловероятно, чтобы этот, по его мнению, эпитет, включал сложный суффикс *-ov-itъ*, закономерный в древних основах на *-u-* типа **dom-ou̯-itъ*, даже если допустить автономизацию сложного суффикса в других образованиях, производных от

существительных мужского рода или прилагательных, что же касается его толкования теонима *Porevit* от существительного женского рода *pora* 'время года, жизненная сила' (Рец., с. 5–6), расширенного суф. *-ov-itъ*, то оно совершенно невероятно. Он не дает также ответа на вопрос, каково отношение между теонимическими эпитетами *Jarovit*, *Rujevit, Porevit* и общеславянским антропонимическим типом, зафиксированным не только у западных славян (напр. польск. **Sěmovitъ*), но и у восточных (**Žirovitъ*) и южных (напр. славянское **Ljudevitъ*), а также на вопрос, почему после появления имени *Svętovit* исчезают на западнолехитской территории такие антропонимы, как, например, имя князя велетов в IX веке *Drogovit*.

Еще одно, чисто филологическое, течение основано на семантическом анализе славянских слов, введенных миссионерами в переводные церковные тексты. Я продемонстрировал это, между прочим, на примере перевода молитвы "Отче наш" зальцбургскими миссионерами с древневерхненемецкого (старословенский перевод), аквилейскими с латыни (старохорватский перевод) и византийскими с греческого (кирилло-мефодиевский староцерковнославянский перевод)[14]. Я исхожу из посылки, что миссионеры, а в особенности Кирилл и Мефодий, не производили семантического переворота. Они старались подбирать для христианских понятий прежде всего уже существующие славянские слова. Лишь при отсутствии таковых они создавали неологизмы или заимствовали из языка оригинала[15]. Такая "христианизация" славянских слов не могла изменить их основного значения. Приведу упоминавшееся выше слово **трѣба** 'жертва богам (идолам)' → 'жертва Богу'. Считавшаяся первоначально "делом сатанинским", уже в кирилло-мефодиевских текстах она может означать также христианскую бескровную жертву, никогда не называвшуюся словом **žr̥tva*, исключительно употреблявшимся (и наверняка специально образованным) для обозначения жертв Ветхого Завета. Отсюда я делаю вывод, что дохристианская славянская **трѣба** была бескровной жертвой, скорее всего – плодов земных. Анализ этого рода требует проведения глубинного семантического анализа переводного текста, что не равнозначно "христианизации" праславянских верований, в чем в нескольких местах своей рецензии упрекает меня Трубачев. Разумеется, семантический анализ текста должен опираться в равной степени на этимологические аргументы, как и, по мере возможности, на исторические и даже археологические аргументы.

Позволю себе еще один пример. Филологические исследования показывают, что праслав. **běsъ* ≤ **bhoi̯dh-so-* 'навлекающий беду' вошел в христианские тексты исключительно как 'злой дух, демон, насылающий болезни и несчастья', и в этой роли он синонимизируется с демоном-сатаной, вызывающим известную из евангелий одержимость, помешательство. Переводчики в равной степени западной миссии и миссии восточной не решились употребить это слово в значении 'сатаны-искусителя'. Аналогично можно допустить, что в дохристианских веро-

ваниях славян были какие-то добрые духи (может быть, древнерусская Мокошь?), но в значении ветхозаветного и новозаветного 'ангела' во всех текстах выступает исключительно греко-латинское заимствование *ангел* – ἄγγελος – *angelus*. На этом основании я прихожу к выводу, что в славянских верованиях могли быть злые или добрые духи, но только во взаимоотношении 'демон (добрый или злой)' – 'человек, которому такой демон помогал или вредил'. Влияния же на отношение 'Бог' – 'человек' он не имел. Не существует также следов отношения 'демон' – 'Бог'. Этимология О.Н. Трубачева (впрочем, не только его, см.: ЭССЯ 2, 89–91; Słownik prasłowiański 1, 244) привела его к единственному выводу о том, что "*běsъ*, главный термин для беса, дьявола" (Рец., с. 4). Филологический материал подтверждает это только отчасти. Он показывает, что семный состав праслав. **běsъ* скуднее, чем у христианского διάβολος. Вот почему Вельзевул мог быть князем бесов (**кънѧѕь бѣсъ** – Зогр. Матф. 12, 24), но **бѣсъ** не мог искушать Иисуса в пустыне.

Разумеется, примеры можно умножить. Можно также привести различия во взглядах не только среди сторонников этимологического метода, о чем уже шла речь, но и историко-филологического или исключительно филологического. Различия во взглядах бывают немалые. По-прежнему любое обобщение, выполненное в духе этимологического метода или филологического, – это более или менее вероятная гипотеза. Любое этимологическое исследование должно пройти историко-филологическую проверку, любое филологическое исследование нуждается в поддержке этимологии. Этимологические исследования отображают первоначальное состояние, выведенное на основании сравнительного языкознания, филологические исследования, опираясь на письменные тексты, дают состояние, близкое (по времени) христианизации, но следует помнить, что многие тексты дидактического душеспасительного характера могут содержать данные, с одной стороны, неполные или случайные, с другой – их может отличать (и притом наверняка) дидактическая тенденциозность. Между одним и другим изображаемым состоянием пролегает огромный период времени: от трех до четырех тысяч лет духовной эволюции праславян. Соединить эти две картины в одну логичную последовательность нелегко, отсюда и возможность большого расхождения взглядов.

Языковедам это в общем известно. Неязыковеды (а духовной и религиозной жизнью праславян интересуются представители разных дисциплин), использующие результаты лингвистических исследований, в большей степени подвержены риску слишком упрощенного обобщения одного из этих двух методов исследования как всего языкознания. Притом, что этимология и филология образуют в совокупности науку о языке, они все же представляют два различных направления исследования, как, например, археология и история.

Примечания

[1] В рецензии на мою книгу (см. примечание 2) он подчеркивает это неоднократно: "исследуя старую религиозную терминологию и через нее – более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ видения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским" (с. 7); излагая при критическом разборе моего взгляда на праслав. **rajь* свой собственный, он делает соответствующий акцент: "Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления" (с. 8), и, наконец, резюмирует: "что мы получили в его книге, это, собственно говоря, дохристианская славянская религия глазами доброго христианина, и это его благочестивое приношение, похоже, уже в силу одного этого сужения поля зрения отвечает не всем требованиям науки" (с. 11).

[2] *Trubačev O.N.* Überlegungen zur vorchristlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft // ZfslPh, Bd. 54, 1, 1994, 1–20, а также: *Трубачев О.Н.* Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания (по поводу новой книги: Leszek Moszyński. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag. Köln; Weimar; Wien, 1992) // ВЯ. 1994. № 6. 3–15.

[3] При ссылках на Трубачева я применяю сокращение Рец., если ссылка относится к рецензии, опубликованной в русской версии, и сокращение Этн., если речь идет о его цитируемой здесь книге.

[4] Выраженное здесь мнение, будто я в своих исследованиях применял метод Жоржа Дюмезиля, ничем не обосновано. Я не принял его теорию о трехчастной структуре как общества, так и мира верований праиндоевропейцев, якобы делящихся на жрецов, воинов и земледельцев, равным образом не применяю я его метод переноса результатов этнографических исследований из современности в праиндоевропейское прошлое. Метод Дюмезиля я обсуждаю критически на с. 16–17 моей книги.

[5] Уже само по себе определение праславянского словарного состава представляет немалые трудности. О разных результатах этого я пишу в своей рецензии на начальные тома двух одновременно издаваемых этимологических словарей праславянского языка: в Кракове – под редакцией Ф. Славского и в Москве – под редакцией О.Н. Трубачева (*Moszyński L.* Dwa nowe słowniki etymologiczne języka prasłowiańskiego // RSl. T. XXXVIII. Cz. 1. 1977. 105–115).

[6] Предъявленный мне Трубачевым упрек (Рец., с. 4) в том, что я будто бы принял теорию балтийского происхождения славянского имени *Velesъ*, а затем предположил его кельтское происхождение, основан на недоразумении. На с. 11, 29–30, 43 я только реферирую теории некоторых исследователей, а не собственные взгляды по этому вопросу.

[7] Фонетические трудности вынуждают Трубачева принять двоякую исходную форму: **velesъ* – **velsъ*. Однако в праславянском словарном составе нет других примеров суффиксальной вариантности **-esъ/*-sъ*, поэтому такая реконструкция вызывает серьезные сомнения.

[8] Локализация праславян на Среднем Дунае вызывает серьезные сомнения, а, по моему убеждению, она просто невероятна.

[9] См. например: *Reczek J.* Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. Kraków, 1985. 54, 57.

[10] Об этом я пишу в цитируемой книге, на с. 105–109, а также, между прочим, в статьях: *Moszyński L.* Problem rutenizacji słownictwa religijnego w staroruskim Ewangeliarzu Mścisława Wielkiego // SOr. R. XXXIX. № 1–2. 1990. 7–13; *Moszyński L.* Kim był prasłowiański *žŕ-ьca/-ьcь*? // Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej. Seria: Język na pograniczach. № 4. Warszawa. 1992. 155–162.

[11] Так называемые Фризингенские отрывки II, 19–20 (новейшее издание: Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana, 1993. 52; старословенский памятник конца VIII в.). А также так называемое Das Sendrecht der Main- und Rednitzwenden (синодальный декрет, изданный в X в. епископством в Айхштете: idolthita quod *trebo*

dicitur), см.: *Nalepa J.* Bawaria – Słowianie w Bawarii // Słownik starożytności słowiańskich. T. I. Wrocław etc., 1961. 95–97.

[12] Так называемый Синайский требник (Euchologium Sinaiticum), глаголическая рукопись XI в., сборник молитв, переведенных на славянский язык накануне прибытия в Моравию первоучителей славян, св. Кирилла и Мефодия. В большинстве это молитвы византийского обряда, переведенные апостолами славян еще в Солуни, несколько молитв происходит из эпохи зальцбургской миссии в Моравии, происхождение нескольких молитв неизвестно. Предложение: **о благовъгодьнѣ трѣбѣ быти словесьноумоу семоу слоуженью нашемоу** 60а 14–16 происходит из молитвы в вечернюю службу в праздник Пятидесятницы неустановленного генезиса. Последнее по времени издание требника: *Nahtigal R.* Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik, II. del: tekst s komentarjem. Ljubljana, 1942. Детальный семантический анализ староцерковнославянских слов с филологической документацией содержит выходящий в Праге с 1958-го г. Slovník jazyka staroslověnského. Его сокращенной версией является однотомный Старославянский словарь (по рукописям X–XI в.) под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

[13] *Moszyński L.* Staropołabski teonim *Tjarnaglofi*. Proba nowej etymologii // ⟨Tgolí chole Mêstró⟩, Gedenkschrift für Reinhold Olesch. Köln; Wien, 1990, 33–39.

[14] *Moszyński L.* Starosłoweński i starochorwacki przekład Modlitwy Pańskiej // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rok XXXIV, nr. 1–2 (133–134). Lublin, 1991 (год публикации – 1994), 175–188.

[15] Приведу здесь такие свои публикации, как: Kryteria stosowane przez Konstantego-Cyryla przy wprowadzaniu wyrazów obcego pochodzenia do tekstów słowiańskich // Slavia. XXXVIII. N 4, 1969, 552–564; Między patriarchatem w Konstantynopolu a arcybiskupstwem w Salzburgu // Cyryl i Metody, Apostolowie i Nauczyciele Słowian. Teologia w dialogu 6. Lublin, 1991. T. I. 35–44; Znaczenie przedcyrylometodejskich tekstów słowiańskich związanych z misją salzburską dla kształtowania się ogólnosłowiańskiej terminologii chrześcijańskiej // Łódzkie Studia Teologiczne. Roc. 3. Łódź, 1994, 121–132.

Перевел с польского *О.Н. Трубачев*

О.Н. Трубачев*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА

Диалог одного автора с другим, в данном случае – в такой распространенной своей форме, как ответ рецензируемого рецензенту, с последующим ответом уже со стороны рецензента, в свою очередь, – есть вещь естественная для научного обмена и в оправдании не нуждающаяся (сама наука, как говорят, – не что иное, как диалог, в котором ни одна из сторон не может претендовать на абсолютную правоту...). Конечно, "продолжение диалога" рискует перерасти в "затянувшийся диалог", то есть в "дискуссию", но можно позволить себе пойти и на такой риск, если обсуждаемые предметы того заслуживают или если ожидаемым итогом будет не личный профит того или другого из дискутирующих, а какая-то польза также для науки. Тут, кажется, у нас нет разногласий с Мошинским, который в письме от 14 октября

1995 г., присланном одновременно с рукописью доклада**, переведенного выше, сообщил мне, что думает, «że ten "dialog Trubaczowa z Moszyńskim" wniesie do nauki coś pożytecznego».

Если претензия на собственную абсолютную правоту, таким образом, далеко не всегда вызывает сочувствие, то все же у каждого из участников диалога остается неоспоримое право, на котором в любом случае незазорно настаивать, – это право быть правильно понятым. Вот с таких "уточнений" и позволю себе начать свою ответную реплику. Сразу замечу, что, вполне сознавая то обстоятельство, что этот диалог разворачивается не на страницах журнала по общим проблемам, а в специальном издании "Этимология", я нисколько не вижу в этом обстоятельстве чего-то такого, что ограничивало бы общую перспективу (необходимую всегда!), и даже намерен высказаться об этом особо, поскольку, как оказалось, некоторая ответная критика в мой адрес коснулась именно антитезы "общее"–"частное" и, более того, была сформулирована как обвинение в предпочтении с моей стороны "частного" "общему".

Мне, например, очень не хотелось бы, чтобы и остальные читатели, ознакомившись с моим развернутым откликом на известную книгу Л. Мошинского о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания, увидевшим свет в течение 1994 г. в журналах "Zeitschrift für slavische Philologie" и "Вопросы языкознания", а теперь еще и в новом американском журнале "Palaeoslavica" III, 1995 (на обложке и титуле неточно: 1994), Cambridge, Mass.,*** – очень не хотелось бы, чтобы читатели пришли к выводу об "отсутствии интереса" у меня к периоду собственно письменной истории и методу, которым обычно исследуют этот период филологи и текстологи, к которым принадлежит Л. Мошинский, но не принадлежит Трубачев, будучи этимологом. Это утверждение (ср. еще далее, в более сильной форме, – о "его – [Трубачева. – *О.Т.*] антипатии к сфере исследовательского метода, применяемого мной [т.е. Мошинским. – *О.Т.*]") ни в коей мере не отражает моих "симпатий–антипатий", а вернее сказать, принципов. Не стану я спорить и с трюизмом, к тому же, дважды повторенным, о том, что "нельзя ограничивать лингвистику этимологией", и еще о том, что "лингвистика – это не только этимология". Считая себя в такой ситуации вовсе не обязанным оправдываться дальше, сошлюсь все же, для вящей убедительности, на собственные слова в ситуации очень близкой и потому, думаю, достаточные, чтобы исключить неправильное понимание и слишком свободное толкование. Я готов согласиться, что "цеховые" интересы иногда преувеличенно сильны, что

** Как можно понять из названного письма, речь идет о докладе Л. Мошинского на специальной конференции в Баранове (Польша), посвященной праславянским верованиям и организованной Институтом археологии ПАН.

*** Подобного рода "фронтальную" публикацию можно оправдать ссылкой на неуклонное падение и без того скудных тиражей: "Вопросы языкознания" в 1994 г. – менее 2 тысяч, не лучше обстоят дела и за рубежом.

сказывается на групповых мероприятиях вроде специальных конференций. Я столкнулся с этим явственно несколько лет назад на одной подмосковной конференции по историческому словообразованию. Бросалось в глаза, как участники конференции наперебой объясняли все заинтересовавшие их языковые феномены исключительно из исторического словообразования. Выступая потом на конференции, я высказал то, что, наверное, придется повторить здесь, в новой связи: "Установка на решение проблемы силами одного метода, в рамках одного уровня все менее и менее перспективна. Мне уже не раз приходилось отмечать не всегда четко осознанную, но оттого не менее явную тягу к межуровневым аспектам исследования (например, в практике международных съездов славистов). Надо продолжить работу в этом направлении. Малополезная доктрина **изоморфизма** разных уровней языка давала себя знать и на недавней конференции по историческому словообразованию... Стоит задуматься над тем, правильно ли поступают специалисты, решившие посвятить себя словообразованию да, к тому же, собравшиеся в одно место, скажем, на одну конференцию, если они все или почти все объясняют из словообразования. Нужно чаще напоминать себе и друг другу, что мы лингвисты и что язык в сущности не знает сечений, придуманных нами для нашего же удобства"[1].

Это, пожалуй, мое главное, принципиальное уточнение в споре с Мошинским. Возможны, конечно, и другие уточнения, может быть, более частные, как, например, эта оставшаяся для меня непонятной манера моего оппонента упорно ставить в кавычки выражение "внутренняя реконструкция", употребляемое как название исследовательского приема вовсе не мной одним; как сам прием, так и его название уже относительно не новы, они, можно сказать, прочно вошли в арсенал современного языкознания.

Что еще, может быть, несколько разочаровывает в научном обмене такого рода, так это – характерная отнюдь не только для одного нынешнего диалога – негативная избирательность полемики. Возможно, причина здесь в общечеловеческой слабости, а не в чьих-либо личных упущениях, но нельзя не видеть этого дефицита позитивных констатаций, то есть распространенного отсутствия признания верного хода противника и одновременно – неверности хода собственного. Ведь от этого зависит корректность игры, что кажется применимым и к научному диалогу. Так, в нынешнем тексте ответа Мошинского упомянуто как-то очень кратко и вскользь "известное разночтение у Прокопия Кесарийского: ϑεῶν ἕνα – ϑεὸν ἕνα". В действительности же речь идет отнюдь не о рядовом эпизоде, а об одном из центральных **филологических** аргументов в вопросе о единобожии древних славян, и именно так – однозначно, а не в духе "разночтения" это подается в книге Мошинского (с. 66). Сделано это, по-видимому, ошибочно. В своей рецензии на вышеназванную книгу я обращаю внимание на то, что как раз лучшая рукопись Прокопия содержит ϑεῶν μὲν γὰρ ἕνα **'одного из богов'** позволяя сделать вывод в пользу политеизма праславян, оста-

ваясь при этом исключительно на почве **филологии.** Досадно, что вместо позитивного признания этого неоспоримого факта, мы получили в ответ умолчание.

Чисто этимологических вопросов в нашем обмене оказалось немного (особенно таких, по которым бы наметилась перспектива дальнейшей дискуссии), и я скажу о них дальше. Впрочем, это нисколько не умаляет важности отдельных затронутых в ходе обмена привходящих, в том числе инодисциплинарных, моментов. Учет (или неучет) культурного контекста отнюдь не безразличен и для этимологии. Вот пример, при рассмотрении которого наш автор проявляет, кажется, лишнюю категоричность. Нелингвистический аргумент Л. Мошинского призван оспорить сразу два этимологических довода Трубачева – сближение праслав. **navь(jь)* 'мертвый, умерший' с индоевропейским названием судна, корабля (мотивация: 'умерший' < 'в лодке погребаемый'?) и толкование названия рая – **rajь* как члена апофонического ряда **rei̯-*: **roi̯-*: **rōi̯-* (ср. **rěka*). Мошинский возражает, что здесь допускается ассоциация "явно с чужими верованиями о перевозе умерших через реку, рассматриваемыми Трубачевым как праиндоевропейские, какие бы то ни было конкретные данные о том, что праславяне представляли себе страну умерших, согласно Трубачеву, как расположенную за рекой (своего рода праславянский Стикс?), отсутствуют". – В том, что это возражение по меньшей мере неосмотрительно, нетрудно убедиться, справившись в новейших трудах наших этнолингвистов, ср.: "Славянские древности. Этнолингвистический словарь", s.v. Брод: локус, связанный с представлением о переходе души в иной мир или символизирующий "переходное" состояние индивида... Соотносится с двумя жизненными "переходами" души (см. Переправа через воду)...[2] Далее там приводится диал., полесск. *брод* в значении 'агония', южнославянские словоупотребления *brod* как синонима переправы на пароме, связь мотива брода с мотивами колодца и моста у разных славян; в Банате устраивают "брод" после похорон, употребляя воду из колодца, а также делают специальную дорожку на берегу реки, причем предусматривается даже "плата за воду".

Вообще славянских данных о тесной связи 'рая' и 'воды' гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд; некоторые из них приведены уже в книге: О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования (М., 1991, с. 174, сноска). Существуют и опыты культурной типологии разных представлений о 'рае', которые любопытным образом сводятся к трем типам – 'рай' как сад, 'рай' как город, 'рай' как небеса[3]. Было бы странно, если бы современный взгляд на этимологию слова **rajь* не учитывал этих основополагающих сведений; заметим, что древнему значению 'богатство', имплицируемому популярным сравнением **rąjь* с др.-иран. *rāy-*, среди приведенной выше типологии представлений рая не находится места. Ограждение вокруг 'рая-сада' и 'рая-города' (кстати, наиболее взаимно родственных представлений) необязательно мыслилось как

'(садовая, городская) ограда, стена'; наиболее естественно и архаично представление именно о водной преграде. Смущающая при этом Мошинского семантическая эволюция (языческое) 'рай для всех' → (христианское) 'рай для праведников' все-таки минимальна. Она, во-первых, лишний раз характеризует языковой такт славянских первоучителей, проявленный ими в бережном использовании древнеславянской дохристианской терминологии, а во-вторых, вполне реально смотрится как вновь структурированный фрагмент лексики и семантики: с приходом христианской идеологии в языке славян возникла оппозиционная пара терминов – (старый термин) 'рай' и (новый термин) 'ад'. Новая специализация старого термина и понятия 'рай' была в таких обстоятельствах вполне очевидной необходимостью. Еще раз повторю, что на основании всего вышеизложенного мы отвергаем этимологию праслав. **rajь* из иран. *rāy-*, "принятую иранистами" (?; у автора при этом ссылка на суммарный обзор славяно-иранских языковых отношений Ю. Речека). Равным образом вынужден повторить (поскольку это упорно игнорируется), что единственный достоверный иранизм, легший в основу европейского и международного названия 'рая' – через греч. παράδεισος – никак не связан с иран. *rāy-* 'богатство', но восходит как раз к иранскому названию '(огражденного) сада'.

Странно читать суждение Мошинского о том, что вышеупомянутая иранская этимология оказывается неприемлемой для Трубачева "также и по причине его теории этногенеза славян, поскольку праславянам, которых он помещает на Среднем Дунае, нелегко было контактировать с иранцами, локализуемыми им к северу от Крыма, между Нижним Днепром и Доном". Чуть ниже Мошинский, правда, ненароком исправляет эту свою неточность, приводя целую цитату из моей книги по этногенезу, где признаются, естественно, и славяно-иранские отношения – с той разницей, что они знаменуют более позднюю, развитую стадию религии и имеют соответственно более позднюю хронологию, чем отмеченные архаикой славяно-латинские языковые и религиозные связи.

Моей конкретной аргументации по древнейшим славяно-латинским и идеологическим связям Мошинский практически упорно не видит, что, конечно, облегчает ему собственный вердикт: "Локализация праславян на Среднем Дунае вызывает серьезные сомнения, а, по моему убеждению, она просто невероятна". Тогда как я ожидал – для большей убедительности – опровержения принимаемых мной славяно-латинских пар. Мошинский ограничился упоминанием только одной из них, наиболее традиционной, – **gověti – favere* и, в сущности, признал стоящий за ней тезис об отражении архаического молчаливого почитания высших сил. Не очень логично тогда выглядит высказанное им сомнение в архаичном и элементарном характере этого фрагмента славяно-латинских языковых отношений. Мне остается только гадать, **почему** Мошинский обошел молчанием предложенные мной "более свежие" пары слав. **manъ/*mana* – лат. *mānēs* etc. и особенно – слав. **bas-, *nebasъ* – лат. *fās, nefās* и заложенное в них совокупное свиде-

тельство об общности переживания зарождения культа предков и формирования архаичных (в том числе для самого латинского) правовых норм. Плохо, если в решающие моменты диалога партнер допускает упомянутый дефицит позитивной констатации, то есть попросту умолчание. Не аргументируемое при этом отрицание оспариваемых им положений, конечно, не становится оттого убедительнее.

Столь же краток и не более аргументирован и другой вердикт Мошинского: "К числу весьма сомнительных выводов я отношу тезис о заповеди, якобы нормирующей духовную, а также религиозную жизнь праславян, – **Znaji svojь rodъ* ≤ **g'nō- suom g'enom*". Ведь этот вывод существует не сам по себе, он опирается на констатацию функции ключевого слова у слав. **svojь*, далее – на явный примат идеологии рода и на антропоцентризм воззрений древнего славянина, насколько он (антропоцентризм) доступен нашей реконструкции. Неужели Мошинский считает серьезной альтернативой праязыковую заповедь "*Тебе надлежит чтить богов*", сконструированную кабинетными индоевропеистами? И это после того как Мошинский, судя по его предшествующему тексту, видимо, согласился со мной в том, что формирование понятия и термина 'бог' – не только не самое древнее, а, скорее, относительно позднее явление на праязыковой шкале относительной хронологии.

Хотя рассуждения нашего автора вокруг словообразования теонима *Porevitъ* относительно более пространны, все же и они вызывают некоторое удивление, поскольку и здесь, оспаривая наличие суффиксального *-ov-itъ* в целой серии однотипных образований *Jarovit, Rujevit, Porevit,* он не в состоянии предложить лучшего решения; остальное – детали: отношение теонимов и антропонимов на *-ovitъ* (разумеется, первичны антропонимы) или убывание западнолехитских антропонимов на *-ov-itъ* как раз по причине сакрализации этой словообразовательной модели именно у западных лехитов. Раз зашла речь о словообразовании, полезно вновь вернуться к слову **трѣба**. Упорно связывая напрямую лексемы **трѣба** и **трѣбити** (**лѣсъ**), Мошинский незаметно опускает промежуточные моменты образования слов и значений. Противясь иному пониманию (**трѣба** как первоначальное 'острая необходимость, дело'), он невольно вступает в противоречие с самим собой и привлекаемыми им самим фактами филологии (и теологии), взять например древнюю синонимизацию **трѣба** и **дѣло сотонино**, далее – толкование **трѣба** как 'бескровная жертва', что следует понимать как дезактуализацию связей **трѣба** и **трѣбити 'наносить удары острым'**: ощущение этой этимологической связи как живой как раз больше подходило бы для значения **трѣба 'кровавая** жертва', но эту возможность мы вместе с Мошинским отвергаем, расходясь с ним в понимании словообразовательно-семантической иерархии, о которой – выше. Возможно, следует прислушаться к филологическим наблюдениям Мошинского о семантической неадекватности праслав. **běsъ*

и христианского διάβολος 'дьявол, сатана' ('бес' семантически скуднее и ниже рангом).

Не покидая сферы религиозной лексики, коснемся еще одного вопроса словообразования, представляющего общий интерес. Уже в "Примечаниях" к своему нынешнему тексту Мошинский готов оспорить принимаемую мной двойную праформу имени **velesъ* – **velsъ* на том основании, что "в праславянском словарном составе нет других примеров суффиксальной вариантности **-esъ/*sъ*..." Мы должны постоянно помнить, каким особым материалом мы занимаемся, вступая в область религиозной лексики и теонимии. Сакрализация способна создавать ситуации уникальности в ономастике (вспомним вероятность вытеснения случаев **rajь* из низовой гидронимии) и в словообразовании. Сейчас мы в силах назвать *-s*-соответствие славянскому *-es*-суффиксу только по ту сторону балто-славянской языковой границы – ятвяжское *bilsas* 'белый', лит. *Bil̃sas*, название озера, ср. слав. **bělesъjь*, рус. *белёсый* и др. (ЭССЯ 2, 63), но в древности могло быть иначе.

Вовсе не претендуя на одностороннее завершение диалога (или дискуссии) и тем самым – вполне допуская, что и у моего польского коллеги найдется, что ответить или о чем поставить вопрос, я намеренно воздержусь от обобщений и "закругляющих" выводов, наоборот – закончу еще одним совершенно конкретным наблюдением о названии божества *Tjarnaglofi*, которому в ответе Мошинского отведено очень много места и внимания после критики Трубачева. Случай, надо признать, очень трудный, и едва ли верно видеть в этой скандинавской записи XIII в. правильную транскрипцию празападнолехитского **tŕ̥n-* > > **tarn/carn* 'терн, колючка', как, кажется, готов сделать Мошинский в своем осмыслении *Tjarnaglofi* как 'терноголовый, tarnogłowy' применительно к Христу. Дело не только в том, что эта ученая этимология будет в лучшем случае вторичным осмыслением, ведь первично тут, в том числе и по скандинавским сведениям, туземное, языческое, название божества победы у местных славян. Но не следует забывать и о том, что в скандинавской передаче проблематичной по-прежнему славянской формы явно имела место скандинавская языковая субституция, ср. признаки наличия именно скандинавского преломления гласных (*tjarna-* < **terna-*? **tirna-*?), а также возможного приспособления к своим привычным, скандинавским формам языка.

Примечания

[1] *Трубачев О.Н.* Синхрония, диахрония – und kein Ende... Маргиналии к конференции по русскому историческому словообразованию (Звенигород, осень 1989 г.) // Slavia. Ročn. 62, 1993, 68–70; особенно 70, где далее говорится на конкретных примерах о необходимости учитывать сложное переплетение также морфологических, фонетических, семантических факторов.

[2] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. I. М., 1995, 263.

[3] *Аверинцев С.С.* Рай // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-ое изд. Т. 2. М., 1988, 364.

Т.В. Горячева*

К ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И АСТРОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

**luna*

Как известно, в этимологической литературе существует разделение двух праславянских омонимов **luna* I 'луна, небесное тело' и **luna* II 'смерть, несчастье', причем **luna* II объясняется как слово, родственное лит. *lavónas* 'труп', *liáujuos, liáutis* 'прекращать', сюда же относится праслав. **lěviti* (укр. *лiвúти* 'слабеть, уменьшаться', гот. *lēwjan* 'предавать') (ЭССЯ 16, 147, Berneker I, 745, Фасмер II, 533). Несмотря на большую убедительность данной этимологии, все же, на наш взгляд, есть возможность не разделять **luna* I 'луна, небесное тело' и **luna* II 'смерть, несчастье'. Для одного из доказательств (а их может быть несколько вариантов) обратимся к астрологическим воззрениям древних славян, определявших судьбу по расположению планет, в частности, по луне. Ср. отрывок из текста XVII в.: "Сии *луны* б(о)гъ положил не в предѣлех, якоже и прочии звѣзды, но обтекаютъ по всему н(е)бу, знамение творя или во гнѣвъ, или в м(и)л(о)сть". (Ав.Ж.) Пустоз. Сб.[1], 14. 1675 г. (СлРЯ XI–XVII вв. 12, 173).

Суеверный человек в первую очередь ждал дурных знаков от расположения планет, в частности, состояния луны. Любопытно, что в кашубско-словинском языке созвездие носит название *znak* "Są dobri i zle *znaki*" (Sychta VI, 244). У заимствованного рус. слова *планета* (разг. *планида*) есть значение 'судьба'. Развитие значений могло быть таким: 'луна, предсказывающая гибель' → 'смерть'. Контекст, в котором встречается смол. *луна* 'смерть' также, на наш взгляд, служит подтверждением нашей гипотезы: Кали́ жь придзе́ць на яго́ *луна́* та́я! (Даль[2] II, 273), т.е. придет луна, несущая смерть, несчастье.

В древнерусском языке слово *луна* имело также значение 'небесное тело, комета': "Бысть знамение на небеси... кровавые *луны* ходили" (1614: Псков. лет. II, 278); "Есть на небеси пять звѣздъ заблудных, еже именуются *луны*... Егда заблудная звезда, еже есть *луна*, подтечетъ под солнце от запада и закроетъ свѣтъ солнечный, то солнечное затмение за гнѣвъ божии к людям бываетъ". (Ав. Ж. 4, 1673 – СлРЯ XI–XVII вв. 8, 305). Появление комет также наводило ужас на древних славян, сулило несчастье, смерть. В таком случае возможен был переход значений 'луна' → 'комета' → 'несчастье, смерть'. Так у продолжений праслав. **metla* соседствуют значения 'несчастье, напасть', 'комета', 'хвост кометы': чеш. *metla* 'несчастье, напасть', 'хвост кометы', сербохорв. *mètla* 'комета' (Jungmann II, 430, РСА XII, 453).

Любопытно, что польск. *cynozura* 'созвездие', заимствованное через латинский из греческого *kynos urē* 'собачий хвост' в XVII в., приобрело значение 'пророчество, предсказание' (Brückner 70).

Еще в древнерусском языке слово *планита*, заимствованное из латыни, как уже упоминалось выше, употреблялось в значении 'светило небесное' (Срезневский II, 953), позже приобрело значение 'судьба'. В русском языке, в просторечии слово *планета* было искажено в *плани́да* 'судьба'. В русских говорах (оренбургских) слово *полони́да* записано в значениях 'чудо, диво, удача' (СРНГ 29, 112). Интересно, что в польских говорах выражение *układać planity* значило 'сплетничать, в о р о ж и т ь'[1]. В украинском языке также есть слово *планета* в значениях 'планета', 'судьба; некая таинственная сила', бытует также выражение "*Плане́та* їх зна́є" – "черт их знает". *Плане́тник* в украинском языке – 'астроном', *планiтний* – 'приносящий помощь', *планiтува́ти* – 'быть полезным, помогать', *планитува́тий* – 'сведущий во влиянии планет на погоду' (Гринченко III, 191). В белорусских говорах записано также слово *планiда* в значении 'судьба, высшее предназначение', 'множество' (Бялькевiч 332).

В польских говорах обращает на себя внимание слово *płaneta, płameta* в значении 'облако', *płanety wiatrowe* – 'небольшие, белые облачка'[2]. Есть и слово *płanetnik* – 'человек, управляющий облаками, несущими град и т.п.' (Kucała 282). В западноволынских говорах украинского языка отмечено слово *планiта* в значении 'большая грозовая туча', а также *планiтник* – 'чародей, который разгоняет грозовые тучи'[3].

Возможно, оба эти слова заимствованы из польского. В русском языке словосочетание *небесная планида* употребляется для обозначения сильной грозы (СРНГ 20, 316). Вероятно, это эвфемизм, такой, как, например, *божья воля, божья милость* – 'о грозе, молнии' и т.д. Интересно употребление в оренбургских, вятских говорах выражения *божья планида* в значении 'природа'. Такой же эвфемизм представляет собой записанное в новосибирских говорах слово *планида* в значении 'дождевое облако,, туча'. "Но хуже, если идет какая *планида*, а *планида* – облако тако дожжево. Как туча идёт чёрна, так *планида* – дожж будет" (Новосиб. словарь 389). Если это не заимствование из украинского, а оно возможно, если иметь в виду переселенческий характер населения Сибири.

Польские диалектные названия облаков (*płaneta, płameta*), видимо, возникли на основе восприятия облаков как движущегося небесного тела, но не исключено развитие значений 'судьба' → 'облако'. На Руси были *облакогонители* – 'те, кто могли перемещать облака с помощью магии, те, кто гадают, предсказывают по форме облаков' (СлРЯ XI–XVII вв. 12, 66).

В украинских говорах Полесья записано слово *пламе́та* в значении 'психическая неустойчивость': "Найшла́ на його *пламе́та*" (ср. выше: Кали́ же придзе́ць на яго́ *луна́ та́я*) (Лисенко 162), в белорусских гово-

рах *пламэтытысь* – ‘хандрить’[4], *опламідзець* ‘растеряться, изумиться, одуреть’ (Тураўскі слоўнік 3, 259), *пламідны, пламінны* экспр. ‘завистливый человек’ (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 3, 529). Эти значения, возникшие в связи с д в и ж е н и е м   п л а н е т, развивались таким образом: ‘движение (планеты)’ → ‘психическая неустойчивость’ → ‘хандра’. Далее, произошло развитие значения ‘неустойчивость’ → ‘плохая погода’. Это значение мы находим у украинского словосочетания *пламе́тна погода* ‘плохая погода, непогода’ (Лисенко 162), *пламе́тна погода* ‘бурная непогода с громом и молнией’ (Никончук 103). Итак, некоторые значения слова *планета* как бы подтверждают наши предположения о генетическом единстве **luna* I и **luna* II. Интересно, что в белорусских говорах слово *планэта* обозначает ‘полнолуние’ (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 3, 529).

Другая, менее вероятная, гипотеза (подтверждающая единство **luna* I и **luna* II) базируется на возможном сематическом изменении ‘луна’ → ‘слабый, тусклый свет’ → ‘сумерки’ → ‘смерть’. Так, глагол **luniti* имеет продолжение *лунить* в русских говорах в значениях: ‘рассветать, светать’ (тихв. новг., волог., калин.), ‘светить, освещать с л а б ы м   с в е т о м’ (пск., твер., новг., волог.) (СРНГ 17, 194), слово *лунь* в новгородских говорах значит ‘тусклый свет, отблеск’, в свердловских говорах – ‘смутное, неопределенное очертание предмета’ (Там же), наречие *лунно* в тех же говорах записано в значениях ‘светло’ и ‘тускло, неясно’ (Там же, 196), и, наконец, в новгородских говорах записано слово *лу́нник* ‘сумерки’: "Пять часов, еще не совсем стемниться, на улице-то *лунник*" (Там же, 195). В сербохорватском языке слово *луна* имеет еще значение ‘нечистый, замутненный воздух’, а также развившееся, видимо, из этого значения ‘отвратительная погода, плохая погода’ (РСА II, 629).

Значение ‘смерть’ может восходить к значению ‘тусклый свет, сумерки’, ср. связь значений ‘вечер, ночь, темнота’ и ‘умереть’. Так, С. Каралюнас связывает др.-инд. *dǫ́ṣā* ‘вечер, ночь, темнота’ с лит. *dùsti* (*dũsta, dùso*) ‘задыхаться, умереть’. Там же он сопоставляет в этимологическом плане прус. *bīta* ‘вечер’ с лит. *bẽtarotis* (*-ojasi*) ‘слабеть, ослабевать, дохнуть, гибнуть’[5].

Наконец, третья версия основана на том, что с лунными фазами, связана болезнь лунатизм, то же, что сомнамбулизм (название – от ложных представлений о влиянии лунного света на человека). Возможно, слово **luna* имело также значение ‘болезнь’, перешедшее затем в значение ‘смерть’. Луна могла, по суеверным представлениям, лишить человека сознания, привести в обморочное состояние. Так, в калининских говорах записан глагол *облуне́ть*, одно из значений которого – ‘лишиться сознания, упасть в обморок’ (СРНГ 22, 111), ср. блр. диалектное *лу́нуць* ‘потерять сознание, упасть’[6], *аплуні́ць* ‘заморочить, сбить с толку, одурачить’ (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 1, 89), *алуне́ць* ‘сделаться ненормальным, одуреть’ (Там же, 78).

Настроение человека, как и его здоровье, связывалось с состоянием луны: так, в псковских говорах есть выражение: "Какая *луна* зайдет (зайде) на кого-либо" – 'В зависимости от того, какое будет настроение у кого-либо' (СРНГ 10, 109); ср. также сербохорв. диал. *lûna* 'дурное настроение, расстройство, бессмысленная ярость' (Hraste-Šimunović I, 511), *полу̑њити се, по̀лу̑њим се* 'нахмуриться, насупиться' (Толстой[3] 405), *луњав, -й, -а, -о* 'удрученный, повесивший голову' (Там же, 244). Интересны записанные в словенском языке выражения "*luna ga nosi*" – он страдает лунатизмом; "*ali te luna trka*?" – ты безумен?; "*luna ga šeška*" – он находится в меланхолии (Plet. I, 536). Ср. также макед. *луничав* в значении 'вспыльчивый, горячий, крутой, своенравный' (Конески I, 391).

Итак, изложены три версии, объясняющие наличие у праслав. **luna* 'луна' значения 'смерть'. Авторы Этимологического словаря белорусского языка выделяют *луна$_5$*'несчастье, бедствие' (значение зафиксировано в белорусском языке), которое считается родственным укр. *лун, лунь* в выражении *лу́на піймати* 'умереть', рус. диал. *луна* 'смерть' (сюда же относится болг. *лу́на* 'сильный ветер с вихрем', *лу́на* и *лу́ня* 'буря', чеш. диал. *luňák* 'сильный ветер') и связывается с праслав. **lěviti* (родств. лит. *lavónas* и *liavonas* 'труп', прус. *au-laũt* 'умереть' и т.д. (ЭСБМ 6, 52). Значения 'сильный ветер с вихрем', 'буря' могли развиться из значения 'несчастье, смерть'. Сюда же можно отнести еще сербохорватское *луња* ж. 'холодный дождь' (РСА 11, 630), макед. *луна* 'буря, гроза, ураган', *лунав* 'бурный, ураганный' (Конески 1, 391), болг. диал. *лу́н* 'земля и песок, нанесенные бурей'[7]. Ср. в отношении семантики укр. диал. (черниг.) *паго́да* (*погода*) 'несчастье'[8], польск. диал. *bieda* 'непогода, слякоть, холод, дождь и метель, вьюга' (Sł. gw. pol. II, 1(4), 155), руск. смол. *гі́ба* 'снежная вьюга'[9]. Интересна также приведенная в Словаре Даля поговорка: "Кому счастье, кому ненастье" (Даль[2] IV, 371).

Праслав. **čirъ*, русск. *церь*, укр. диал. *заци́рвило*

Относительно происхождения праслав. **čirъ* 'чирей' в этимологической литературе существует несколько версий: сравнивают с греч. σκίῤῥος 'отвердение, отверделая опухоль', делается попытка осмыслить **čirъ* как производное от *(*s*)*ker-* 'резать', предполагается происхождение из тюркских языков (ЭССЯ IV, 116, Słownik prasłowiański 2, 203–204), причем составители этих двух словарей признают слово **čirъ* словом с неясной этимологией. В.А. Меркулова предложила еще одну версию происхождения слова **čirъ*, объяснив его как образование от и.-е. *(*s*)*kăi-*, (*s*)*kĭ* 'жар, жара' с расширителем *–r-*[10].

Рассмотрим одну из этих версий (от и.-е. *(*s*)*ker-* 'резать'), принадлежащую Г. Ильинскому. Он считает, что праслав. **čirъ* представляет собой, по-видимому, удлиненную низшую ступень корня **ker-* 'резать' и

так относится к имени **kora*, как **dira* к **dora*. Это, по его мнению, такое же отглагольное образование от **čirati*, как **dira* – от **dirati*. Такое объяснение, по его мнению, находит подтверждение в многочисленных славянских названиях опухолей "от корня 'резать'", ср. слав. **verdъ* 'нарыв' при др.-инд. *vardh-* 'резать', чеш. *na-dor* 'шишка' при **dьrati*. Далее, он связывает праслав. **čirъ* с рус. *чирать* 'портиться, завялеть' и *чир* 'тонкая ледяная кора', а также с греч σκίρρος, приведенным выше[11]. Однако рус. *чирать* 'портиться, завялеть' и *чир* 'тонкая ледяная кора' согласно последующим исследованиям являются заимствованиями. Подтвердить эту версию Ильинского могут некоторые лексемы, представленные в словарях, вышедших сравнительно недавно. Это рус. диал. забайк. *чир* 'небольшой вырез во фронтоне для прохода на чердак': "*Чир* до того маленький, что беляк еле через него протиснулся" (Элиасов 454), *прóчир* 'место на теле, где был чирей': "На *прочире* место слабо" (Там же, 339), блр. диал. *зачы́р* 'паз внизу бочки' (Сцяшковіч. Слоўн. 164). Составители Этимологического словаря белорусского языка считают это слово безаффиксным образованием от глагола *чырыць, зачырці,* при этом значение корня *чыр-,* по их мнению, может быть 'резать', а сам корень – вариант и.-е. корня **(s)ker-* 'резать' (ЭСБМ 3, 310). Белорусское *чыры́ць* в значении 'волочить, тянуть какой-нибудь предмет по какой-нибудь поверхности так, чтобы предмет или его заостренный конец скреб поверхность, врезался в нее' представлено в Словаре Янковского (Янкоўскі II, 194), там же этот глагол употребляется в связи с названием *рóжа* (болезнь): *чыры́ць рожу* – 'заговаривать рожу, обводя больное место ножом с острым концом' (Там же, 195). Интересно, что у носителей русского языка существовало подобное магическое действие, помогающее исцелению от чирея, оно имело название *задавливание чирея*: "Суком дерева чертят по чирею, "шепчут" и придавливают чирей ногтем пальца" (Ачин., Енис., Жив. стар., 1897. – СРНГ 10, 42). В белорусских говорах (гродн.) глагол *чы́рыцца* значит 'тянуться, оставлять за собой след': "Падымú канéц жéртк'и, а то бýдз'а *чы́рыцца* па з'амл'é, пакул' зав'аз'еш' (Сцяшковіч. Слоўн. 551). Этот глагол встречается и в префиксальной форме: блр. диал. *абчыры́ць* 'обчертить, обвести линией', 'намазать, напачкать', 'окружить' (Янкова 17), *абчы́рыць* 'ободрать, обрезать' (Слоўн. цэнтр. Беларусі 1, 18), а также в украинских говорах – *одчирáть, одчирить* 'отделять чертой от чего-нибудь; отчеркивать' (Лисенко 142), укр. *обчірáти, обчéрсти* и *обчéрти, обічру, реш* – 'обдирать, ободрать кору, кожу' (Гринченко 3, 32). Белорусское *чыры́ць* 'тащить, царапая' и укр. диал. *чери́ти* 'облупливать кору' помещены под праформой **čeriti* в ЭССЯ 4, 66 (рассматриваются как её продолжения), восходящей к и.-е. **(s)ker-* 'резать, царапать'. Глаголы *одчирáть, обчірати* восходят к итеративу ***čirati* 'драть, отделять чертой'. К этому итеративу также может восходить **čirъ*,

как *dira – к *dirati (см. выше у Ильинского). Здесь еще нужно добавить, что "взаимосвязь значений ‘отверстие’ → ‘нарыв’ подтверждают рус. *нарыв* (< *рвать*), укр. *скýла* ‘нарыв, болячка’ и чеш. *skulina* ‘щель, трещина, отверстие’, как считает Л.В. Куркина[12].

Интересно, что составители Праславянского словаря в статье на *čirъ ‘чирей’ приводят укр. диал. *чир* (к сожалению, без указания источника) в значении ‘лыко, луб’ (Słownik prasłowiański 2, 203), т.е. ‘то, что отделено, отодрано’.

В ярославских говорах записано слово *чи́черы* в значении ‘болячки на голове’ (Ярослав. словарь. У–Ящорка, 60). Возможно, что это осложненное экспрессивным префиксом *чи*-слово *чир* ‘болячка, чирей’, которое деэтимологизировалось и закрепилось как *чи́чер* (заударное "*е*" < "*и*"). От этого слова, по-видимому, образовались глаголы рус. диал. (забайк.) *чи́череть* ‘чахнуть, хиреть, вянуть’ (Элиасов, 454), яросл. *чи́череветь* ‘терять силы, здоровье, хиреть’, ‘останавливаться в росте, чахнуть, увядать (о растениях, животных)’, ‘становиться грязным, неряшливым (о человеке)’ (ср. *чиру́ха,* м. и ж. ‘грязнуля’ – Ярослав. словарь. У – Ящорка, 59), ‘замерзать, коченеть от холода’ (Там же, 60). Глагол *чичереть* представлен в русских говорах и осложненным префиксами: яросл. *зачи́череть* ‘загрязниться’ (Ярослав. словарь. Дикариться–Иштык, 113), *зачи́че́реветь* ‘захиреть, заболеть, похудеть’ // ‘покрыться чирьями’, ‘остановиться в росте, захилеть (о животном, птице, растении)’, ‘утратить собранность, подтянутость, опуститься, засидеться’, ‘покрыться грязью, загрязниться’, ‘сильно озябнуть, закоченеть’ (Там же), приамур, *зачи́череветь* ‘покрыться болячками, запаршиветь’, ‘затвердеть (о земле)’ (Приамур. словарь 102), сев.-двин. *очи́череветь, -еет,* сов., неперех. ‘загрубеть, заскорузнуть’ (СРНГ 25, 69). Здесь очевидно, развитие значений было следующим: ‘покрыться чирьями’ → ‘зачахнуть’ → ‘загрязниться’ и ‘окоченеть’.

О.Н. Трубачев поместил некоторые из этих глаголов в ЭССЯ под праформой *čavьrěti, которая представляет собой сложение экспрессивного элемента *ča- и глагола *vьrěti ‘кипеть, потеть, усыхать’, откуда затем ‘чахнуть, вянуть’ (ЭССЯ 4, 32).

В одних и тех же ярославских говорах записано как слово *чи́черы* ‘болячки на голове’, так и слово *чи́чер* ‘резкий, холодный ветер’ (Ярослав. словарь. У–Ящорка, 60). В.И. Даль отмечает слово *чи́чер* м., *чи́чера* ж. в тульских, орловских, тамбовских, рязанских говорах в значении ‘резкий, холодный осенний ветер с дождем, иногда и со снегом, хижа, мжичка’ (Даль[2] IV, 609). В новосибирских говорах слово *чи́чер, –а,* м. записано в значении ‘мелкий, холодный дождь с ветром и снегом’: "*Чичер* – это буран со снегом, такой сырой", "*Чичер* зовут мелкий холодный дождь, когда сеет осенний дождь, *чичером* называли’ (Новосиб. словарь 587). О.Н. Трубачев слово *чичер* связывает с с.-хорв. *ćić* ‘иней’, *чи̏ч* м.р. ‘сильная стужа, холод’, *ци̏ч, цић* м.р. (черногор.) в

выражении: *пукао цич* (о большом холоде, морозе) и возводит рус. *чичер* к и.-е. **kīker-* или, скорее, к **kejker-,* объясняя значение 'резкий, холодный ветер' как эволюцию из более древнего 'слепящий, слепой ветер', сближая, далее, реконструированную форму с лит. *kaĩkaras* 'высокий и сутулый', 'лодырь', др.-инд. *kikara-* 'косой, косоглазый', сюда же он относит лат. *caecus* 'слепой, темный' и др.-ирл. *caech* 'одноглазый', гот. *hais* то же. Они продолжают и.-е. **kai-ko-,* производное с суф. *ko-* от **kai-* 'один, единственный'[13].

Кажется, однако, что рус. *чичер* – довольно позднее образование, этимологически тождественное слову *чичеры* 'болячки на голове'. Здесь, возможно, было следующее развитие значений '*болезнь' → → 'холод', 'холодный ветер'. Ср. приводимое составителями Праславянского словаря под праформой **čirъ* ст.-чеш. *ščiřík* 'некая болезнь' (Słownik prasłowiański 2, 205).

В забайкальских говорах Элиасовым было записано слово *церь, и,* ж. в значении 'наледь, вздувшийся лед': "Лед-то был не толстый, а вот *церь,* наверно, с поларшина поднялась. *Церь* была неровная, и сани все время кидало то вверх, то вниз" (Элиасов 448). В смоленских говорах находим *церь* в значении 'наплывы смолы на дереве'[14]. Последнее можно отождествлять с белорусскими и украинскими названиями гриба-трутовика, которые составители Праславянского словаря помещают как местные варианты праслав. **čirъ* 'чирей' (Słownik prasłowiański 2, 203). Назовем некоторые из них: блр. диал. *цэра* 'трут для высекания огня, добываемый с берез' (Касьпяровіч 166), *чэр* 'гриб на дереве' (Слоўн, паўн.-заход. Беларусі 5, 447), *цыра* то же (Сцяшковіч. Гродн. 541). *цыр, цьвір* 'березовый гриб, чага'[15], *цыр* 'высушенный гриб (чага)'[15], 'нарост на дереве, который после обработки употреблялся при высекании огня'[16], *цэ́ль* 'базідыяльны грыб, губа'[17], *цэр* 'гриб на дереве'[18], *чыэ́р* 'гриб на дереве'[19]. В украинском Полесье записано название чаги, трутового нароста на березе *чир, ч'ір, цір* (в сравнении: сух'і, йак *ч'ір, цір* м.р.) (Никончук 63).

В.А. Меркулова в упомянутой выше статье приводит еще блр. литер. *цэрь* 'трут, приготовленный для высекания огня из губки, растущей на березе' (Носович 693), *чэ́ра* 'трут для высекания огня' (Байкоў–Некрашевіч 341), диал. *цэр, цэра* то же: "На бярозе расце *цэра*", "...калі *цэр* у попеле памачыць, высушиць і пабіць, ён жоўты такі і гарыць" (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 5, 377), реконструируя эти формы как **čirъ, *cěrь* и возводит в месте с праслав. **čirъ* 'фурункул' к и.-е. **(s)kăi-, *skĭ* 'жар, жара' с расширителем *-r-*[20]. Однако все же предпочтительнее позиция авторов Праславянского словаря, поместивших белорусские и украинские названия гриба-трутовика как варианты праслав. **čirъ* 'чирей, гриб-трутовик'.

Забайкальское *церь*, бытующее, вероятно, в речи русских переселенцев, тождественно смол. *церь* 'наплывы смолы на дереве', его

значение ‘наледь, вздувшийся лед’ может быть метафорой по отношению к последнему, а также, вероятно, и к значению ‘древесный гриб, чага’, если оно было у смол. слова *церь.*

Любопытную запись украинского диалектного слова *зацúрвило* в значении ‘похолодало’ находим в дипломной работе В.В. Бабинца[21], посвященной изучению говора села Лавки Мукачевского района Ужгородской области. Этот глагол, видимо, был образован от варианта **čirъ* ‘фурункул’ *цир*, как блр. диал. *цэрвыты* ‘болеть, чахнуть’ (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 5, 377) от варианта *цэр* того же **čirъ*, ср. рус. диал. (псков., смол.) *обчúрветь* ‘покрыться чирьями’ (СРНГ 22, 266), укр. *червіти* ‘болеть’ (Гринч. IV, 453) а также блр. диал. *цьíраць* ‘болеть’ (< **čirati*?)[22].

Развитие значений укр. *зацúрвило* могло быть следующим: ‘покрываться чирьями’ → *‘болеть’ → ‘холодеть’. Ср. с точки зрения семантики: яросл. *дохнуть* ‘болеть’, ‘зябнуть’ (Ярослав. словарь. Дикариться – Иштык, 17), блр. диал. *чáхнуць* ‘остывать’ ‘чахнуть, хворать’ (Янкова 109).

Примечания

[1] *Macijejwski J.* Słownik chełmińsko-dobrzyński. (Nemoń, Dulsk). Toruń, 1969, 222.

[2] *Kupiszewski W.* Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego. Wrocław; Warzhawa; Kraków, 1969, 17–18.

[3] *Корзонюк М.М.* Матеріалы до словника західноволинських говірок // Українська діялектна лексика. Київ, 1987, 186.

[4] *Сіреда П.І.* Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Брэстчыны // Народная лексика. Мінск, 1977, 82.

[5] *Каралюнас С.* К выражению противопоставления ‘раннее’ – ‘позднее (время дня)’ (соотв. ‘утро’ – ‘вечер’) в балтийских и некоторых других и.-е. языках // Этимология. 1984. М., 1986, 75.

[6] *Трухан Г.М.* З лексікі Замошчаў // Жывое народнае слова: Дыялекталагічны зборнік. Мінск, 1992, 102.

[7] *Шклифов Б.* Речник на костурския говор // БД VIII. С., 1977, 261.

[8] *Курило О.* Матеріяли до української діялектології та фольклористики. У Київи, 1928, 120.

[9] Ученые записки См ГПИ имени Карла Маркса. Вып. IX, 1958 (Раздел II. Слова, собранные в различных районах Смоленской области и выписанные из некоторых печатных и рукописных источников), 125.

[10] *Меркулова В.А.* К этимологии праслав. **čirъ* // Этимология 1988–1990. М., 1992, 63–65.

[11] *Ильинский Г.* Славянские этимологии. XLII. Праслав. *čirъ* ‘опухоль’ // РФВ LXX. 1913, 258–260.

[12] *Куркина Л.В.* Заметки по болгарской этимологии // Этимология. 1978. М., 1980, 40.

[13] *Трубачев О.Н.* Заметки по этимологии некоторых нарицательных и собственных имен. Русск. диал. *чичер*, сербохорв. *чи̏ч, ци̏ч* и родственные // Этимология. 1971. М., 1973, 80–82.

[14] *Иванова А.И., Кустарева М.А., Моисеев Б.А.* Материалы для "Смоленского областного Словаря" // Учен. зап. Смоленского пед. ин-та, вып. IX. Кафедра русского языка. Смоленск, 1958, 152.

[15] *Крывіцкі А.А.* Гаворка вёскі Яскавічы Салігорскага раёна. Слоўнічак і некаторыя асаблівасці будовы слоў // Народная словатворчасць. Мінск, 1979, 112.

[16] *Варава Г.* З лексікі вёсак Бабровічы, Замасточча, Катка, Слабодка // Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960, 119.

[17] *Кучук І.М.* Назвы раслін на Мазыршчыне // Жывое слова. Мінск, 1978, 214.

[18] *Зубрыцкі С.* З лексікі вёскі Шклянцы // Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960, 148.

[19] *Клімчук Ф.Д.* З народных назваў грыбоў // Жывое слова. Мінск, 1978, 188.

[20] *Меркулова В.А.* Указ. соч., 65.

[21] *Бабинець В.В.* Говірка села Лавки Мукачівського району: Дипломна робота. Ужгород, 1954, 156 (Выписки Меркуловой В.А.)

[22] *Лобач С.Г.* З дыялектнай лексікі Залесінцаў // Жывое слова. Мінск, 1978, 91.

Ж.Ж. Варбот*

К ЭТИМОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ 'БЫСТРЫЙ'. III**

Типы первичной мотивации

Основным методом систематизации семантического анализа в этимологии является ориентация на типы первичной мотивации, представленные в лексемах определенной лексической группы или лексемах с определенным значением. Этот метод предполагает предварительный анализ группы лексем с интересующей исследователя семантикой и достаточно прозрачным происхождением (ясными структурно-словообразовательными и семантическими связями). Определение типов семантических переходов, обнаруженных в образовании этой группы, становится далее базой для этимологизации "темных" лексем с тем же значением. Надежность определения типов первичной мотивации зависит от объема материала, точности его словообразовательного и семантического анализа, а также от степени языковой и диахронической однородности.

В настоящей статье предлагается опыт выявления первичной мотивации для славянских прилагательных со значением 'быстрый' ('celer'). Материалом для анализа послужили прилагательные с этой семантикой, известные славянским языкам в их современных литературных и диалектных разновидностях, а также в их истории. Привлечение a priori разновременных образований, ослабляя весомость полученных результатов как базы для последующей этимологизации темных лексем определенного хронологического уровня, вместе с тем позволяет судить о степени диахронической устойчивости тех или иных типов первичной мотивации.

Цель работы – определение первичной мотивации для выражения семантики 'быстрый', то есть ближайшего семантического пред-

** Предшествующие статьи этой серии см.: Этимология. 1988–1990. М., 1992; Этимология. 1991–1993. М., 1994.

шественника – источника этого значения, – определила обращение к многозначным прилагательным, для семантики которых значение ‘быстрый’ является лишь одним из составляющих ее компонентов. Рассмотрение соотношения всех этих компонентов и позволяет, кажется, более надежно определить ближайший семантический источник для ‘быстрый’, нежели прямолинейное соотнесение производного прилагательного с производящей основой. Разумеется, и последнее неизбежно в отношении прилагательных, для которых ‘быстрый’ является единственным значением. В последнем случае принципиально важно использование этимологически прозрачных или однозначно этимологически толкуемых лексем, что и не позволило включить в иллюстративный материал многие праславянские образования.

Ниже приводятся все выделенные на основе анализа имеющегося материала типы мотивации. Иллюстративный материал – выборочный, наиболее репрезентативный и однозначный.

В образовании славянских прилагательных со значением ‘быстрый’ обнаруживаются три модели: семантическое развитие многозначного прилагательного с первичным значением, отличным от ‘быстрый’; образование прилагательного со значением ‘быстрый’ от существительного; образование прилагательного со значением ‘быстрый’ от глагола. Дифференциация первой и двух других моделей определяется фиксацией в семантике прилагательного значения, которое может быть источником значения ‘быстрый’.

Материал группируется далее в соответствии с этими тремя моделями, а внутри каждой группы – в соответствии со значениями, которые определяются как непосредственный источник значения ‘быстрый’.

I. Развитие значения ‘быстрый’ на базе другого (зафиксированного) значения многозначного прилагательного

Как свидетельство первичности этого другого значения толкуется его большее (нежели для ‘быстрый’) соответствие семантике производящей основы прилагательного и выводимость из него значения ‘быстрый’.

Первичные значения:

‘бодрый, живой’:

блр. диал. *бодрый* ‘гордый, живой, быстрый’ (Бялькевiч 89) < праслав. **bъdrъjь* (от **bъděti*);

польск. *żwawy* ‘живой, резвый, проворный’, блр. *жвáвы* то же < праслав. **žьvavъjь* (от **žiti*, см. ЭСБМ 3, 224);

чеш. диал. *čujný* ‘бодрый, живой; быстрый’ (Lamprecht. Slovn. středoopav. 30) < праслав.**čujьnъjь* (от **čuti*).

‘большой’:

кашуб.-словин. *sp*$^{u̯}$*orï* ‘большой, обильный; быстрый; здоровый,

хороший' (Lorentz. Pomor. II, 2, 333), укр. *спóрий* 'скорый; успешный; довольно большой' < праслав. **sporъjь* (к **spěti*);

ст.-чеш. *ohromný* '(о грозе) сильный, быстро приближающийся' (StčSl 10, 341) < праслав. **o(b)gromьnъjь* (к **o(b)gromiti*).

'буйный, неразумный':

рус. диал. забайкал. *шалавый* 'проворный, быстрый, скорый' (Элиасов 458) (от *шалый* < праслав. **šalъjь*).

'ветреный':

чеш. *větrný 'быстрый' (větrné* nohy, Kott IV, 661) < праслав. **větrьnъjь* (от **větrъ*).

'вращающийся':

словац. *vrtký* 'подвижный, быстрый', польск. *wartki* 'вращающийся, вертлявый, подвижный, быстрый' < праслав. **vьrtъkъjь* (от **vьrtěti* (*sę*).

'гибкий':

чеш. диал. морав. *vitký* 'быстрый' (Kott IV, 709), при словен. *vítek* 'гибкий' , праслав. **vitъkъjь* (от **viti*); впрочем, возможна семантика скорости уже в глаголе – ср. укр. *увивáтися, увинýтися* 'управляться, управиться, успевать, успеть';

словен. *véhten* 'гибкий, быстрый' (от *véhtiti* 'сгибать'); ср., однако, и *véhtiti se* 'сгибаться; спешить'.

'горячий':

рус. диал. *пы́лкий* 'быстрый, ловкий' (Новосиб. словарь 451), ср. и *пы́лко* 'быстро' (Элиасов 342), при рус. литер. *пы́лкий* 'жаркий, горячий' (от *пылать*);

польск. *żarki* 'быстрый', при рус. *жаркий* 'горячий' < праслав. **žarъkъjь* (от **žariti*).

'дерущий, рвущий':

схрв. (*dȅrav* 'порывистый, быстрый', чеш. *dravý* 'хищный; (о реке) быстрый, стремительный', словац. *dravý* 'хищный; порывистый, стремительный, быстрый' < праслав. **dьravъ(jь)* / **deravъjь* (от **dьrati, *derǫ*, см. SP 5, 235).

'жадный, хваткий':

польск. диал. *chytry* 'жадный, скупой', великопольск. 'быстрый'[2] < праслав. **xytrъjь* (от **xytěti*);

укр. *емкúй* 'хваткий, ловкий, проворный, быстрый, скорый' < праслав. **jьmъkъjь* (от **jęti*);

польск. *łapczywy* 'жадный, алчный; стремящийся, быстрый' (от *łapać* < праслав. **lapati*).

'искусный' (ср. ниже 'ловкий'):

чеш. *teverný* 'искусный; (о женщинах) живой, быстрый, ловкий', ср. ст.-чеш. *teverný* 'учтивый, приличный' (Machek[2] 642) (в этимологическом плане имеется лишь сопоставление с лит. *tevérna* 'учтивая речь', Там же).

'красивый':

рус. диал. подмоск. *баской* 'красивый, нарядный; хороший (о человеке); бойкий, ловкий, быстрый' (Иванова. Подмоск. 23), укр. *баский* 'резвый, ретивый, рьяный' < праслав. **baskъjь* 'красивый; болтливый' (ЭССЯ 1, 162).

'крепкий, твердый; здоровый; сильный':

болг. *чевръ́ст* 'крепкий, здоровый, сильный; быстрый, ловкий, проворный', чеш. *čerstvý* 'быстрый, проворный, свежий', диал. 'быстрый' (Kubn. Čech. klad. 170), при ст.-чеш. *č(e)rstvý* 'сильный, здоровый; свежий, бодрый' (Ст.-чеш., Прага), польск. *czerstwy* 'здоровый, крепкий; черствый (о хлебе)', др.-рус. *чьрствыи* 'твердый, крепкий' (Срезневский III, 1567–1568) < праслав. **čьrstvъjь* (от **čьrsti, *čьrstǫ* 'бить, ударять', см. ЭССЯ 4, 160–161; толкование от и.-е. **kert-* 'плести', ср. лат. *crassus* 'толстый', см. Słownik prasłowiański 2, 250–252; о возможности согласования, сочетания обеих реконструкций см. ЭССЯ 12, 138: **krěpъkъjь*);

чеш. диал. *dríčné* 'проворный, быстрый' (Gregor. Slov. slavk.-bučov. 46), 'проворный, живой' (Svěrák. Boskov. 108), ср. серб. *дрêчан, дри̏јечан* 'крупный; здоровый, сильный', словен. *dréčen* 'упитанный, крепкий, плотный' < праслав. **drěčьnъjь* (от **drěkъ* 'палка, ствол; туловище', см. Słownik prasłowiański 4, 228; ЭССЯ 5, 107–108);

чеш. *křepký* 'бодрый, быстрый (шаг, ходьба)', польск. *krzepki* 'крепкий, резвый, живой, быстрый' при ст.-слав. **крѣпъкъ** 'сильный, крепкий, могучий', болг. *кре́пък* 'крепкий, сильный' и др. < праслав. **krěpъkъ* (от и.-е. **krep-* 'плести', см. ЭССЯ 12, 138);

рус. диал. зап., курск. *жёсткий* 'скорый, бойкий, резвый' (СРНГ 9, 146), блр. *жо́сткі* 'быстрый' (Носович) < праслав. **žestъkъjь*, см. ЭСБМ 3, 237).

'легкий':

с.-хорв. *ла̏к* 'имеющий малый вес; подвижный, быстрый, стремительный ...', др.-рус. *льгъкыи* 'незначительный по весу; быстрый, проворный; энергичный' (СлРЯ XI–XVII вв. 8, 188–190), рус. диал. *лёгкий* 'быстрый, проворный, подвижный' (ряз., СРНГ 16, 310), блр. диал. *ле́ткі* 'легкий; быстрый, подвижный' (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 2, 646) < праслав. **lьgъkъjь* (от и.-е. **$l_e g^{u̯}$hú-*, ср. лат. *levis* 'легкий', ЭССЯ 17, 78);

н-луж. *lasny* 'тихий, спокойный; легкий; проворный, быстрый' (Muka Sł. I, 820), ср. болг. *ле́сен* 'легкий', с.-хорв. *ла̏сан* то же < праслав. **lьstьnъjь* (от праслав. **lьstь*).

'летающий, летучий':

с.-хорв. *лȇтнӣ* 'лётный; с помощью которого летят; быстрый, проворный', польск. *lotny* 'летный, летающий; непостоянный; быстрый; летучий; понятливый' < праслав. **letьnъjь* (от **letěti*).

‘ловкий’:

рус. диал. *ло́вкий* ‘такой, которого быстро, умело и хорошо делает что-л.’ (Деулинский словарь) при литер. *ловкий* ‘обладающий физической сноровкой; удобный для пользования’ < праслав. **lovъkъjь* (от **loviti*, но ср. и лит. *lavùs* ‘проворный, сообразительный, юркий, хитрый’, Trautmann BSW 153);

рус. диал. *воро́вой* ‘проворный, быстрый, скорый’ (Подвысоцкий 22), *воро́вый* ‘быстрый, ловкий, проворный’ (Иванова. Подмоск. 67), *воро́вий* ‘ловкий, расторопный, удачливый’ (Элиасов 81) (от *вор*);

укр. *меткúй* ‘шустрый, проворный, ловкий, живой, скорый, бойкий’, ср. рус. диал. *мёткий* ‘броский, кидкий’ (Даль[3] II, 841) < праслав. **metъkъjь* (от **mesti, *metati*);

рус. диал. *мото́рный* ‘проворный, расторопный, ловкий’ (тул., волог., калуж., орл., курск. и др.) (Филин 18, 302), ‘ловкий проворный’ (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М–Н), 36), ‘подвижный, живой, быстрый’ (Ярославский областной словарь 6, 62), укр. *мото́рний* ‘проворный, бойкий, живой, ловкий’ < праслав. **motorьnъjь* (от **motorъ*, далее к **mesti*);

ст.-чеш. *mrščný* ‘ловкий, юркий’ (Gebauer II, 409), чеш., словац. *mrštný* ‘ловкий, проворный’ < праслав. **mъrščьnъjь* (от **mъrščiti*: чеш. *mrštiti* ‘бить, хлестать’).

‘острый, режущий’:

ст.-чеш. *ostrý* ‘острый; быстрый’ (StčSl 12, 710), словац. диал. *ostrí* ‘острый; быстрый’ (Orlovský. Gemer. 220), кашуб.-словин. *ostri* ‘острый, быстрый’ (Sychta III, 343), рус. диал. *во́стрый* ‘скорый, быстрый’ (вят., Филин 5, 150) < праслав. **ostrъjь*;

полаб. *rezěk* ‘быстрый’ (Polański–Sehnert 122), кашуб. *řéšhi* ‘живой, подвижный’ (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 978), при рус. *ре́зкий,* укр. *різкúй* ‘резкий, острый’ < праслав. **rězъkъjь* (от **rězati*);

польск. *cięty* ‘раненый, резаный, острый, (диал.) быстрый’ (Варшавский словарь I, 335) (от польск. *ciąć* ‘резать’ < праслав. **tęti*).

‘отвесный’:

рус. диал. *стрёмный* ‘скорый, проворный’ (Иванова. Подмоск. 584), при болг. *стръ́мен* ‘крутой’, с.-хорв. *stȑm* то же и т.ж. < праслав. **strьm(ьn)ъjь* (от **strьměti*).

‘охочий’:

ст.-словац. *ochotný* ‘приветливый; услужливый, охочий; быстрый’ (Histor. sloven. III, 258–259) < праслав. **o(b)xotьnъjь* (от **o(b)xota, *o(b)xotěti*).

‘прямой’:

с.-хорв. *prȉjek* ‘прямой; быстрый’ (RJA XI, 924–925).

‘смелый’:

польск. *dziarski* ‘живой, энергичный; смелый, мужественный; быст-

рый, проворный', словац. диал. *derski* 'проворный' (Buffa. Dlhá Lúka 142), рус. диал. *дéрзкий* 'смелый, решительный, быстрый' (сев.-двин., костр., орл., СРНГ 8, 24) < праслав. **dьrzъkъjь* (от праслав. **dьrzъjь* 'смелый').

'старательный':

словен. *žúren* 'старательный, быстрый' (Pleteršnik II, 975) (от словен. *žúriti* 'принуждать', но ср. и *žúriti se* 'спешить').

'страстный' (ср. и 'крепкий, сильный', 'смелый'):

рус. диал. *я́рый* 'живой, быстрый, энергичный; полный ярости, бешенства' (Соликам. словарь 705), *ярóй* и *я́рый* 'быстро, неутомимо работающий' (Куликовский 143), при др.-рус. ꙗрый 'гневный, сварливый; жестокий; строгий; смелый; сильный, порывистый' (Срезневский III, 1663) < праслав. **jarъjь*;

укр. *пирськúй* 'быстрый, ретивый', при блр. *априскливый* 'вспыльчивый, капризный, упрямый, склонный к спорам' (Носович) (к укр. *пúрснути, пúрскати* 'брызгать' < праслав. **pyrsknǫti*, **pyrskati*, вариант к **pъrsknǫti, *pъrskati*).

'суетливый':

рус. диал. перм. *копошкóй* 'проворный, быстрый; трудолюбивый, суетливый, беспокойный' (СРНГ 14, 297) (от *копошúться* 'суетиться').

'удобный' (ср. выше 'ловкий'):

рус. диал. *подáтной* 'быстрый, спорый (о работе)' (Сл. Сред. Урала IV, 47), ср. *податный случай* 'благоприятный', *неподатна* нам эта *работа* 'несручна, не по нас' (Даль[2] III, 159) (к праслав. **podati* (*sę*).

II. Образование прилагательного со значением 'быстрый' от существительного

Семантика производящих существительных:

'гон':

польск. охотн. *gonny* 'быстрый (о собаке)' (Варшавский словарь I, 873), рус. диал. урал. *погóнной* 'быстрый, сильный, стремительный (о лошади)' (Сл. Сред. Урала 4, 45) и рус. диал. тул., урал. *гóнкий* 'быстрый, подвижный, энергичный' (СРНГ 7, 7), ср. блр. диал. витеб. *гóнка* 'быстро' (Касьяровiч 83) (от праслав. **gonъ*).

'мах, замах':

рус. диал. *мáховской* 'скорый, быстрый' (Сл. Сред. Урала II, 122) (от *мах* < праслав. **maxъ*).

'напор, давление':

рус. диал. *напóрный* 'спешный' (Новосиб. словарь 321) (от *напор* < праслав. **naporъ*);

укр. *навáльний* 'стремительный, норовистый' (от *нáвал* 'напор (воды)' < праслав. **navalъ*).

‘хлопоты’:

польск. диал. *sarapatny* ‘быстрый, но неаккуратный в работе’[2] (от польск. диал. *sarapata* ‘хлопоты, заботы, затруднения’, см. Варшавский словарь VI, 32).

‘ход, шаг’:

рус. диал. дон. *шаговитый* ‘быстрый, подвижный’ (Донск. словарь 3, 198) (от *шаг*).

III. Образование прилагательного со значением ‘быстрый’ от глагола

Значения производящих глаголов:

‘бежать’:

польск. *biegły* (и редк. *biegliwy*) ‘быстрый’ < праслав. **běglъjь*; польск. *bieżny* ‘быстрый’, кашуб. *běžni* то же (Sychta I, 108), ср. и чеш. диал. морав. *zabížný* ‘быстрый’ (Kott V, 16) < праслав. **běžьnъjь* (от **běgti*);

польск. *ciekawy* устар. ‘быстрый, проворный’ (Варшавский словарь I, 323), укр. *цікáвий* ‘бойкий, живой, шустрый’ < праслав. **těkavъjь* (от **těkati*).

‘бить’:

чеш. диал. *šibký* ‘быстрый, проворный’ (PSJČ V, 1052), польск. *szybki* ‘быстрый’, рус. *ши́бкий* то же, укр. *шибкúй* ‘стремительный, быстрый’, блр. *шибкий* ‘быстрый’ < праслав. **šibъkъjь* (от **šibati*);

словен. *hában* ‘быстрый’ от *hábati* ‘бить, толкать’ (Pleteršnik I, 262);

блр. диал. витеб. *джýглы* ‘подвижный, резвый’ (Касьпяровіч 110) (от *джгаць* ‘бить, сечь’ – заимств. из польск. *dźgać* ‘колоть’, см. ЭСБМ 3, 131).

рус. диал. *хлеская* собака (упряжная) ‘горячая, резвая’ (Даль[2] IV, 350) (от *хлестать*).

‘бросать’:

словац. *vrhký* ‘быстрый, проворный’ (от *vrhat’*, *vrhnut‘ sa* < праслав. **vьrgati*, **vьrgnǫti*);

полесск. *швы́рныј* ‘шустрый, проворный’[3] (ср. укр. *швиргáти,* блр. *швыргáць*, рус. *швыря́ть, швырнýть* < праслав. *(*š*)*vyrg/knǫti*, *-ati*[4]);

рус. диал. пск., твер. *брóский* ‘неосмотрительный в делах, принимающийся за дело поспешно’ (СРНГ 3, 197) (от *бросать* < праслав. **brъsati*);

рус. диал. волог. *кидкóй* ‘торопливый, горячий’ (СРНГ 13, 200) (от *кидать, кинуть* < праслав. **kydati*, **kydnǫti*).

‘брызгать’:

рус. диал. волог. *обря́зный* ‘ловкий, проворный’ (СРНГ 22, 226) (к диал. *брязгать, брязнуть* ‘брызгать’ (см. СРНГ 3, 227) < праслав. **bręzgati*, **bręzgnǫti*).

‘бурлить’:

рус. диал. твер. *вы́ркий* ‘быстрый, быстротекущий’ (СРНГ 5, 342) (от *выра́ть* ‘бурлить (о воде)’, см. СРНГ 5, 341, к праслав. **vьrěti*).

‘гнать, догонять’:

польск. *ścigły* ‘быстрый’ (от *ścignąć* ‘догнать, достичь’);

польск. *rozwarty* (bieg) ‘быстрый’ (Варшавский словарь V, 725) (от *rozewrzeć* konia ‘разогнать’, там же 609, < праслав. **orzverti*).

‘грохотать’:

чеш. *hrklý* ‘поспешный, быстрый’ (Kott I, 493) (от *hrkati* ‘грохотать’).

‘двигать(ся)’:

чеш. *rychlý* ‘быстрый ’, словац. *rýchly* то же, польск., н.-луж., в.-луж. *rychły* то же < праслав. **ryxlъjь* (к гнезду праслав. **rušiti, *rъxnǫti*, ср. словац. *rušat’ sa* ‘двигаться’);

чеш. *hbitý* ‘быстрый, проворный’ < праслав. **gъbitъjь* (от **gъbnǫti* > чеш. *hnouti se* ‘двинуться’).

‘делать’:

польск. диал. *zidki* ‘быстрый’ (Варшавский словарь VIII, 494) (к праслав. **zьdati, *zidati*, ср. польск. диал. *zdajać* (gęśle) ‘настраивать’ (там же 402)[5].

‘дергать’:

чеш. диал. *tržný* ‘быстрый, поспешный’ (Kott IV, 219) (от *trhnouti* ‘дернуться’).

‘драть, рвать’:

ст.-чеш. *drlý* ‘быстрый’ (Šimek 43), чеш. диал. морав. *drlý* то же (Bartoš. Slov. 67), словац. *drlý* то же (Kálal 115) < праслав. **dьrlъjь* (от **dьrti*, см. Słownik prasłowiański 5, 48);

польск. редк. *rwisty* ‘стремительный, быстрый, увлекающийся’ (Варшавский словарь V, 781), кашуб. *rvisti* ‘быстрый’ (Sychta IV, 371) (от *rwać*).

‘прыгать’:

с.-хорв. редк. *poskočni* ‘быстрый’ (RJA X, 925) (от *poskòčiti*).

‘резать’:

кашуб. *ržńisti* ‘быстрый’ (Sychta IV, 374), (от *ržnǫc* ‘резать’).

‘течь’:

чеш. *prudký* ‘сильный, быстрый’, польск. *prędki* ‘быстрый’, укр. *прудкúй* то же < праслав. **prǫdъkъjь* (от **prǫditi* ‘течь’), но ср. и рус. диал. *упру́дить* ‘побежать очень быстро, понестись’ (Слов. новосиб. 555);

рус. диал. подмоск., твер. смол., калуж. *бы́ркий* ‘быстрый (о течении)’ (Иванова. Подмоск. 47), брян. ‘быстрый, стремительный (о человеке)’ (СРНГ 3, 348), ср. и твер. *бы́рко* ‘быстро’ (Опыт 19) (от *быри́ть* ‘течь быстро’, см. СРНГ 3, 347);

чеш. *tryský* ‘быстрый, проворный’ (Kott IV, 217) (от *tryskati* ‘стремительно течь’[6]).

'толкать':

чеш. диал. *strčný* 'быстрый' (PSJČ V, 791), (от *strčiti* 'толкнуть' < < праслав. **stъrčiti*).

'торопить(ся)':

рус. диал. *то́ропкий, торопкой* 'торопливый, горячий, скорый' (Даль[2] IV, 420) (от *торопить(ся)* < праслав. **torpiti*);

чеш. *kvapný* 'срочный, спешный', ст.-слвц. *chvápny* rapidus (1763 г., Картотека исторического словаря словацкого языка, Братислава), польск. стар., диал. *kwapny* 'поспешный, быстрый' < праслав. **kvapьnъjь* (от **kvapiti* 'спешить').

'хватать':

ст.-польск. *chutki* 'скорый, быстрый', рус. диал. юж., зап. *ху́ткий* то же, укр. *хуткúй* то же < праслав. **xutъkъjъ* (к гнезду **xut-*/**xyt-*/**xvat-* 'хватать', см. ЭССЯ 8, 118, но ср. и значение 'спешить' уже в глаголах **xytěti, *xytati*, **xvatati*, ЭССЯ 8, 160, 123).

'ходить':

русс. диал. *ходкий* 'быстрый, шибкий' (Даль[2] IV, 556) и польск. диал. *dochodny* 'быстрый' (Варшавский словарь I, 479) (от **xoditi*).

'хотеть, стремиться':

рус. диал. забайкал. *алкатно́й* 'проворный, расторопный, удалой; шумный, непоседливый (о человеке)' (Элиасов 53) (от *алкать*).

* * *

Даже по приведенному материалу, отобранному по принципу наибольшей ясности семантического развития, можно судить о трудности и проблематичности выявления непосредственного семантического источника (первичной мотивации) значения 'быстрый' в каждом отдельном случае, поскольку почти всегда присутствует или явно должна быть реконструирована многозначность производящей основы. Особенно сложно определение первичной мотивации в тех случаях, когда значение 'быстрый' выступает в целом комплексе адъективных значений, из которых несколько могут быть (судя по более очевидным семантическим связям) источником для 'быстрый'. Характерна ситуация в семантике праслав. **krǫtъjь* и его продолжений в славянских языках. Значение 'быстрый' зафиксировано для рус. диал. *крутой* преимущественно в сочетании с 'ловкий' (см. Подвысоцкий 76; Слов. новосиб. 254; Картотека Псковского областного словаря), для блр. *круты́* – в сочетании с 'сильно скрученный; неровный, кривой; густой' (Слоўн. паўночн.-заход. Беларусі 2, 533; Тураўскі слоўнік 2, 239 и др.), а для др.-рус. *крутой*, наряду с 'быстрый, стремительный (о реке, ручье и т.п.)', отмечены 'крутой, отвесный; сильный, большой; изготовленный из крутого теста; кислый, острый, резкий' (СлРЯ XI–XVII вв. 8, 89–90). Значения 'ловкий; скрученный; кривой, крутой; сильный; острый, резкий' все связаны с семантикой производящего глаго́ла **krętati* 'сгибать'

и каждое из них может быть источником для 'быстрый' (см. выше типы семантического развития в прилагательных), так что выбор одного источника невозможен. С другой стороны, такая потенциальная множественность источников в семантике одной лексемы свидетельствует об их органическом единстве, которое может быть опорой как для подтверждения реконструкции отдельных семантических связей для лексем с меньшим набором значений, так и для уяснения внеязыковых явлений, реалий, которые определили формирование представления о быстроте и способы его языкового выражения.

Случаи, подобные **krǫtъjь*, не включались в рассмотренные выше типы первичной мотивации, что, вероятно, обеднило их набор, так как некоторые из типов семантических связей для 'быстрый' могут быть представлены лишь в "связанном" состоянии – в составе семантических комплексов. Это упущение будет несколько восполнено предполагаемой в дальнейшем публикацией набора славянских корней, в этимологических гнездах которых представлены в славянских языках прилагательные со значением 'быстрый'. Круг значений этих корней, очевидно, окажется шире приведенного выше перечня типов первичной мотивации, хотя и сможет претендовать на указание лишь самых общих характеристик семантики, порождающей значение 'быстрый', а не непосредственной, первичной мотивации. Впрочем, при отмеченных трудности и проблематичности выявления первичной мотивации в приведенном выше перечне и в случаях типа **krǫtъjь*, вероятно, в принципе более реальна реконструкция не первичной мотивации, а семантического окружения, фона, который способен порождать семантику 'быстрый'. Выделенные типы первичной мотивации могут при этом использоваться как координаты этого фона. И именно такое толкование этих типов позволяет сделать некоторые предварительные (до анализа семантики всех корней, этимологические гнезда которых содержат прилагательные со значением 'быстрый') обобщения относительно семантического окружения, на котором базируется значение 'быстрый'.

Прежде всего, примечательна семантическая однородность, возможность идентификации в одном семантическом поле многих значений, порождающих семантику 'быстрый', но относящихся к различным моделям образования этой семантики: ср. среди приведенных выше 'дерущий, рвущий' (I модель) – 'драть, рвать' (III модель), 'жадный, хваткий' (I) – 'хватать' (III), 'острый' (I) – 'резать' (III), 'охочий' (I) – 'хотеть' (III), 'суетливый' (I) – 'хлопоты' (II), 'гон' (II) – 'гнать' (III). Центром семантической сферы, создающей значение 'быстрый', является, несомненно, семантика движения и близкая к ней (действия, включающие элемент движения). Это очевидно для III модели ('бежать', 'бросать', 'брызгать', 'бурлить', 'гнать', 'двигаться', 'прыгать', 'ходить', 'течь', 'резать', 'бить', 'дергать', 'драть', 'рвать', 'толкать', 'хватать') и обнаруживается связью именных значений с семантикой глаголов движения во II и I моделях ('гон', 'мах', 'напор', 'хлопоты', 'буйный', 'вращающийся', 'гибкий', 'летающий', 'ловкий'). Преобладает семантика быстрых движений. Представлены движения, характери-

зующие как живые существа, так и неживую материю (преимущественно воду – 'бурлить', 'течь'). Есть также аспекты побуждения, принуждения к движению – 'напор', 'торопить' и желания-стремления – 'жадный, хваткий', 'хотеть'. Наконец, возможна семантика шума – 'грохотать'.

В собственно именной семантике, порождающей значение 'быстрый' (I модель), может быть выделена группа значений качеств, необходимых и предрасполагающих к подвижности и быстроте в движениях живого существа: 'крепкий; здоровый, сильный', 'бодрый, живой'[7], 'смелый', 'страстный', 'горячий' (как характеристика внутренних качеств), 'искусный'. Сюда же, возможно, следует отнести и 'красивый', как качество, связанное со здоровьем и силой. Качества 'большой' и 'легкий' могут, вероятно, соотносится как с живыми, так и неодушевленными предметами как субъектами движения. Их взаимные отношения близки к антонимии, но их сосуществование в сфере порождения семантики 'быстрый' можно объяснить, вероятно, различием их прочих ассоциативных связей: 'большой' = 'сильный, интенсивный', а 'легкий' = = 'летающий, легко перемещаемый'.

Только неодушевленные предметы могут исконно характеризоваться качествами 'ветреный', 'острый', 'отвесный', 'прямой', 'удобный'. 'Ветреный' явно указывает на природное явление – ветер, с которым ассоциировалось представление о быстроте. Сопоставление же значений 'острый', 'отвесный', 'прямой', 'удобный' позволяет предполагать, что все они – отражение внешних условий, обеспечивающих, определяющих быстроту совершения действия, движения: это крутизна русла потока (ср. выше 'течь'), прямизна пути (ср. выше 'бежать'), удобство условий и орудий труда (ср. выше. 'ловкий', 'хлопоты', 'делать'), острота режущего орудия (см. выше 'резать')[8].

Таким образом, в качестве первого приближения к определению основных принципов первичной мотивации значения 'быстрый' в славянских языках можно сказать, что в основе языкового выражения качества 'быстрый' лежали представления о ветре, течении воды, движении живых существ, внешних условиях, обеспечивающих быстроту движения и действия, и о собственных качествах субъекта движения – живого существа: жизнеспособности, крепости, силе, ловкости, искусности. Связь значений 'быстрый' и 'красивый' свидетельствует, вероятно, о положительной оценке быстроты.

Примечания

[1] *Popowska-Taborska H.* Leksykalne dialektyzmy wielkopolskie w świetle współczesnego polskiego języka literackiego // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 8, 1980, 63.

[2] *Kucała M.* Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957, 91.

[3] *Климчук Ф.Д.* Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // Лексика Полесья. М., 1968. 76.

[4] *Варбот Ж.Ж.* К этимологии славянских прилагательных со значением 'быстрый'. II // Этимология. 1991–1993. М., 1994, 54–55.

[5] *Варбот Ж.Ж.* Заметки по этимологии русской диалектной лексики // Этимологические исследования. Сб. научных трудов. Свердловск, 1988. 53.

[6] *Machek*[2] 655 предполагал родство ст.-чеш. *trysk* 'быстрый галоп' с рус. *рыскать*, что представляется маловероятным, особенно на фоне глагола *tryskati*.

[7] Ср. вывод о центральном положении признака силы / крепости в комплексе представлений о быстром движении, отраженном в славянских языках: *Берестнев Г.И.* Типы семантического эволюционирования представления о силе/крепости в славянских языках. Опыт исследования: Автореф. ... канд. филол. наук. М., 1995, 16.

[8] Соответственно предлагаемому истолкованию реальной основы значений 'острый' и 'резать' на фоне всего семантического комплекса, порождающего значение 'быстрый', считаю маловероятным объяснение этих значений как "мотивов" раздирания – разрывания – скобления" земли ногами при быстром передвижении", о котором см.: *Берестнев.* Указ. соч., 17.

Куркина Л.В.*

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Словен. *stŕsniti (se)*

В "Этимологическом словаре словенского языка" (Bezlaj III, 334) глаголы *stŕsniti se* 'испугать, застать врасплох' и *stŕsniti se* 'похудеть' трактуются как этимологически тождественные. Автор словарных статей, посвященных этим глаголам, М. Сной восстанавливает исходную форму **sъ-drь́s(t/k)-nǫti/ *s-dris(t/k)ati* с меной *st-* : *zd-* по типу словен. диал. *stra*ˮ*v* : *zdra*ˮ*v*, при этом не исключается, что подобное изменение могло стать результатом неконтактной ассимиляции (ср. *svistati* < *zvizdati*). Предполагается, что отношение 'страдать поносом' > 'брызгать' дало толчок для развития значения 'пугаться, страшиться' (ср. словен. *usráti se* 'cacare' и 'испугаться, устрашиться'), а словен. *kumrn* 'худой, тощий', заимствованное из нем. *Kummer* 'горе, печаль, скорбь', подтверждает, по мнению автора, возможность связи обозначений состояния страха и худобы. Чтобы понять степень достоверности предлагаемого решения, чтобы выяснить, насколько обосновано сближение словенских и славянских образований, формально совпадающих, но в семантическом плане весьма удаленных друг от друга, необходимо тщательно проанализировать имеющийся лексический материал с учетом всех аспектов структуры и семантики соотносимых слов.

В словаре подбираются соответствия для каждого из словенских глаголов по принципу сходства, близости значений, формальные расхождения, различия в фонетическом облике соотносимых слов стали отправным моментом в поисках исходной основы. Словен. *stŕsniti se* 'похудеть' сближается с чеш. *střízlík, střízlý* 'худой, слабый', 'имеющий мелкую кость', однако с большой долей уверенности можно утверж-

дать, что последнее связано отношением производности со словом *stříž* 'стриж', переносно о маленьком, худощавом человеке – 'пигалица' (Machek[2] 589), поэтому должно быть исключено из числа родственных образований. Вслед за Ф. Безлаем (Bezlaj. Eseji 153) автор сближает тот же словенский глагол *stŕsniti se* 'похудеть' с чеш. *třislý* 'худой, имеющий тонкую кость'. Трудно признать сколько-нибудь обоснованным предлагаемое в словаре Махека (Machek[2] 658) сближение чеш. *třislý* с лит. *tį̃sti* 'тянуться', 'растягиваться', 'вытягиваться', *tįslỹs* 'долговязый человек, верзила' на основе преобразования нерегулярного типа (праслав. *tislъ* > *trislъ*). Но заслуживает внимания то толкование значения, которое дает Махек чеш. диал. *stříslá krava* – 'тучная корова, имеющая мало мяса (собственно слабая, откормленная на жир ?)', именно такое понимание того, что обозначало приведенное сочетание, позволяет с иных позиций подойти к пониманию внутренней формы чешского слова. По всей видимости, обозначение тощей или слабой коровы сложилось на базе *třislo, střislo* (< **čerslo* – ЭССЯ 4, 74–75) в значении 'внутренности', 'утроба' (Kott IV, 182), ту же исходную базу имеет и приводимое Махеком зап.-морав. *třisniti, zatřisniti* 'о засорении желудка'. В смысловой структуре чеш. *stříslá krava* присутствуют признаки, мотивированные значением исходной основы, – 'пузатый, брюхатый, но костлявый, имеющий мало мяса', отсюда 'слабый, худой'. Ср. близкое в некотором отношении рус. диал. *разбрю́хнуть* 'разбухнуть', 'располнеть', 'растолстеть' (Ярослав. словарь: *Питок – Ряшка* 113), *требу́х* 'обжора', т.е. тот, кто насыщает свою утробу, оставаясь физически слабым (Даль[2] IV, 427).

Также неубедительно выглядит сближение словен. *stŕsniti* 'испугаться' с глаголами *zdŕzniti se* 'содрогнуться (от страха)', *vzdŕzniti se* 'потрястись, содрогнуться', с вторичной имперфективацией гл. *zdrízati se* 'трястись, дрожать от страха' и производным от него *zdrȉz* 'Gallerte', *zdrízast* 'студенистый, скользкий', *zdrîznice* 'vibrionidae'. По всей видимости, формально и семантически эти образования связаны с другим гнездом слов – гнездом слав. **drьgati, *dryzgati* (Bezlaj II, 119; см. также ЭССЯ 4, 137–138).

Как видим, чеш. *střízlík, střízlý* и словен. *zdŕzniti se* имеют разные этимологические истоки и, вероятно, этимологически не связаны с изучаемыми словенскими глаголами. На этом основании они исключаются из рассмотрения. Остается открытым вопрос об истоках словенских слов, предстоит выяснить, в каком отношении находятся словенские глаголы со значением 'пугаться' и 'худеть': являются ли они генетическими омонимами или их связывает родство, и в таком случае мы имеем дело с фактом семантической омонимии, семантическим расщеплением единой для них исходной основы. Прояснить ситуацию поможет анализ слов во всей полноте их семантического наполнения. Начнем с гл. *stŕsniti* 'испугать, захватить врасплох', 'потрясти', ~ *se* 'привести в ужас', 'проникнуться уважением', 'привести в чувство, образумить',

который в словаре Плетершника соотнесен с синонимичным глаголом той же структуры, но с другим исходом корневой морфемы – *stŕhniti se* (Pleteršnik II, 594, 590). К этим глаголам примыкает лексикализованная форма причастия на *-l stŕsel* 'испуганный', 'робкий, боязливый' (ср. *strsla živina se dobro ne redi*) и производное от него прилагательное *strsljîv* 'пугливый, робкий'., 'скромный, полный достоинства'. Словенские образования могут быть соотнесены с с.-хорв. глаголом *strsnuti se* 'вскочить со сна, встрепенуться' (RJA XVI, 768: Bjelostenac), 'образумиться' (Vežić urb. 143), 'посметь, осмелиться' (Mažuranić II, 1382), сходно построенном и имеющим, как видим, близкий круг значений. В семантике глаголов, передающих состояние страха, испуга, присутствуют смысловые элементы, определяющие отличие данных глаголов от синонимичных типа *пугаться, страшиться*. С этим глаголом связано представление о резком, внезапном переходе к состоянию страха, испуга, тревоги. Представляется, что точнее всего это состояние передает словенский диалектизм (прекмур.) *str̀snoti se* 'содрогнуться, быть потрясенным, устрашиться'[1]. Вероятно, имея в виду эту особенность семантики, Плетершник предположительно допускал возможность развития глагола из более ранней формы с начальным *vzt-*, и в этом допущении содержится мысль о том, что видоизменение семантики связано с префиксом, именно префикс вносит дополнительный оттенок в смысловую структуру глагола – резкий переход в качественно иное состояние. Однако существует большая вероятность того, что видоизменение семантики глагола обязано другому префиксу – *sъ-*.

Словенский и соответствующий сербохорватский глагол занимают изолированное положение в славянском словаре. Вариантность корневых морфем *trs-/ trh-*, различие в исходе служит показателем разного оформления первичной основы. В случае с *s-trs-* возможно развитие *-s-* из *-sk-*. Также необходимо отметить, что в славянских языках наблюдается вариантность основ на *-s-* и *-sk-*: ср. слав. **porxъ*, **porsati* и **pъrskati* (ср. рус. диал. *по́рсать* 'пороть, крошить, кромсать' и *порска́ть* 'разразиться смехом' – Даль[2] III, 322), **torsati* и **torskati* (укр. *торсати* 'трясти, двигать, дергать' и рус. *торощиться* 'беспокоиться, суетиться'), чеш. *tasiti* и *taskati* и др. С учетом всех этих моментов представляется допустимым и возможным видеть в названных ю.-слав. глаголах продолжение основы **trux-/ *trus(k)-* < и.-е. **t(e)rou-* (ср. словен. *za-trúti* 'корчевать лес, уничтожать') + *-s(k)-* 'тереть' (Skok III, 515; Schuster-Šewc 20, 1536). В гнезде слав. **trux-* на базе значения 'тереть' > 'крошить, ломать, медленно распадаться' развивается значение 'тлеть, гнить' (гниение понимается как медленный процесс разрушения, распада на мелкие части[2]), далее происходит сдвиг в сторону значения 'рассыпавшийся, распавшийся' > 'слабый, вялый' > 'грустный, печальный', 'робкий, боязливый', а преф. *sъ-* сообщает глагольным образованием дополнительный признак – внезапность, неожиданность перехода в состояние, обозначаемое основой. Весь спектр значений хорошо

прослеживается в славянских языках. Ближе всего к исходной семантике словен. диал. *trúšati* 'кормить (детей, больных)', т.е. давать пищу в размолотом, измельченном виде (Pleteršnik II, 700) и болг. диал. *трушъ́* 'ломать, дробить, разбивать', 'крошить хлеб', *ръстру́шъ́* 'разламывать, разбивать, крошить', фолькл. 'рассеивать' (БД VIII, 171, 165). В несколько преобразованном виде выступает исходная семантика в с.-хорв. *truhnuti* 'спать, лениться', 'нести дурные вести, распространять дурные слухи' (RJA XVIII, 813–814), др.-рус. *трухыи* 'подгнивший, ветхий' и 'угрюмый, печальный', *трухло* 'мрачно, печально' (Срезневский III, 1013; Фасмер IV, 111), польск. *truchleć* 'рассыпаться, превращаться в пепел', 'сохнуть, усыхать', 'слабеть, терять силы, онеметь, оцепенеть', *truchło* 'прах, останки' (Варшавский словарь VII, 123), в.-луж. *trušenki* 'сечка, мелкая пыль' (Фасмер IV, 111). В зап.-слав. языках утвердились значения 'робкий, боязливый' и 'грустный, печальный': ср. чеш. *truchlý, truchlivý* 'печальный, прискорбный, грустный', *truchliti* 'скорбеть, грустить' (Kott IV, 211–212), польск. *truchliwy, truchły* 'пугливый, испуганный', *potruchleć* 'перетрусить' (Варшавский словарь VII, 123), диал. *struchleć* 'застыть от страха' (Karłowicz V, 246), в.-луж. *truhly* 'обеспокоенный, беспокойный', 'боязливый, робкий', *truchlić* 'тревожить, беспокоить, волновать' (Трофимович, 329), н.-луж. *tšuhły* 'застенчивый, смиренный, молчаливый, робкий, малодушный', *tšuchliś* 'печалить, огорчать', *tšuchleś* 'опечалиться, вести себя скорбно, печалиться, скорбеть' (Muka II, 790), к ним примыкает словен. *trúšen* 'тихий, мирный'[3] (Pleteršnik II, 700: с указанием возможного влияния со стороны чешского языка). В литературе были попытки выделить семантически обособленное зап.-слав. образования в отдельное этимологическое гнездо, истоки которого остались невыясненными (Miklosich 363; Brückner 577). Махек искал объяснения на путях сближения со ср.-ирл. *trúag* 'печальный' (Machek² 654), для которого в этимологической литературе восстанавливается тот же исходный и.-е. корень **trou-*, но с расширителем *-gh-* (Pokorny I, 1073). Как будто бы отсутствуют формальные и семантические препятствия для включения приведенных зап.-слав. образований в гнездо слав. **trux-*. Отметим, что значение 'пугаться' отражает одно из возможных направлений семантического преобразования и.-е. **trou-* в славянских языках. В этом гнезде значение 'пугаться, перепугаться' характеризует с.-хорв. *страви́ти* (Толстой² 914). Примечательно, что сходные семантические отношения характеризуют родственные балтийские лексемы: ср. лит. *traũšti* 'крошить', *triũšti* 'медленно ломать, крошить, распадаться на части', *nutriũšti* 'изнашиваться', лтш. *tràusls* 'ломкий, хрупкий' и *traušâties* 'бояться' (Mūlenbachs–Endzelīns IV, 226; Fraenkel 1114). Формальное различие состоит в том, что балтийские языки продолжают и.-е. основу **trou-* с расширителем *-k'* или *-sk'-*, а славянские – **trou-s-*[4] или *-sk-*[5]. Близкие по форме и значению рус. *трухну́ть, струхну́ть* 'робеть, бояться, страшиться', с которыми, несомненно, связаны диал. *струш-*

ни́ться 'тревожиться, суетиться; хлопотать, заботиться', *струшня* 'склока, хлопоты, заботы, тревоги' (Даль[2] IV, 344; Ярослав. словарь: *С – Тятя*, 80), Фасмер склонен рассматривать как новообразование от *трус, трусить* (Фасмер IV, 112), что не лишено оснований. Несомненно сильное внутриславянское экспрессивное влияние со стороны семантически близкого **trǫs-* (ср. рус. *трусить, трясти, потряхивать*).

В связи с рассматриваемыми словами заслуживает внимания еще одна группа слов с корнем *trux-*. Это – цслав. **троѹхвити** (Miklosich LP 1006: sensus dubius), **натроѹхлити** 'gravidare' (Miklosich LP, 416; Miklosich 363), с.-хорв. *truhliti* 'забеременеть' (RJA XVIII, 812: Voltiggi, Stulli), *òtruhnuti* = *otruhliti* 'гнить' и 'gravidare' (RJA IX, 452: Vrančić, Bella, Stulli, Mikaļa), *natruhliti* то же, чак. *natrȕhliti* то же (RJA VII, 704). Это образование, не привлекавшее к себе внимания этимологов, вероятно, является одним из обозначений особого состояния женщины в период развития плода в организме. Разные признаки положены в основу этих и других известных обозначений этого состояния: ср. праслав. **bermenъ*, словен. *noséča* 'беременная', с.-хорв. *трудна жена* то же. Появление разных обозначений, вероятно, связано с условиями табу, действовавшими в этой сфере жизни. В рассматриваемом нами случае вполне вероятна семантическая производность от одного из промежуточных значений – 'стать рыхлым, дряблым'.

Как видим, поддается выделению немало славянских образований с исходной основой **trux-*. На правах параллельного варианта выступает основа с исходом на *-s* в польк. *trusić* 'бояться, тревожиться' (Варшавский словарь VII, 130). Появление *-s* в условиях, требующих изменения *s* > *x*, возможно, мотивировано сохранением связи с родственным ему гл. **truskati*, продолжения которого характеризуется более широкой семантикой, чем семантика звукообозначения; вероятно, исходное значение 'тереть' > 'разрушать, распадаться' было поглощено, растворилось в семантике звукообозначения. Однако отдельные элементы старой исходной семантики еще находят отражение в славянских диалектах. В этом отношении показательны польск. диал. *truskać* 'чистить' и *trusiać* 'есть' (Karłowicz V, 426; Варшавский словарь VII, 130), в.-луж. *trusk* 'труха' (Трофимович 330), с.-хорв. *trȕskati (se)* 'трясти, трястись', *trȕskalica* 'неровная тряская дорога', *trȕska* 'щепка', 'окалина; то, что остается от расплавленной руды', 'старые колышки (в винограднике)', 'зародыш, споры' (RJA XVIII, 830, 829), болг. *тру́ска* 'осколки, отлетающие от железа при ковке' (Геров 5, 361), ст.-чеш. *potruskati* 'делать знаки, мигать'[6], словац. диал. *trusknút'* 'упасть' (Zo šopu *trusknúl* ló do senici)[7] и др. В словенском при доминирующей семантике звукообозначения прослеживаются признаки исходного значения: ср. *trúščiti* 'с шумом грызть (хлеб)', *trúskati* 'шуметь', 'с шумом есть', 'трескаться, разрушаться' (Pleteršnik II, 700). Более того, наблюдается

преобразование значения ‘крошить’, ‘разламывать путем трения > ‘бить, бодать’ в словен. *trušati* (Pleteršnik II, 700), диал. *truškati*: *Тэ-sэ-trȗškalo* ‘(и так) они бодались’[8]. Сходные семантические отношения характеризуют соответствующие литовские глаголы на *-sk-*, которые, как и славянские, переходят в сферу обозначения шума, сопровождающего процесс разрушения, распада: ср. *trùška, truskė́ti* ‘хрустеть’, *trùškinti* ‘сокрушать’[9], *triuškė́ti* ‘хрустеть; хрупать’, *triùškinti* ‘сокрушать, громить’, ‘раздроблять; хрупать’, *~ti káulus* ‘раздроблять кости’. Заслуживает внимания и морфонологический вариант основы с отражением *ū* в корне – **tryskati*: польск. диал. *trzyszcz wrzos* ‘ветки’: rozleciały my się te gołąbki dysie po *trzyścu, stryszczyć* ‘спрыскать’ (Karłowicz V, 438, 249), ст.-чеш. *tryščěti* ‘делать, совершать что-то злое, плохое’[10], чеш. *tryskati* ‘бить ключом’, ‘вытекать стремительной струей’. Словен. *stŕsniti* ‘испугать, застать врасплох’ с корневым вокализмом в ступени редукции в конечном итоге мотивировано, вероятно, исходным значением ‘тереть’, общим для продолжений слав. **trux-* и **trusk-*, в формальном плане нерегулярное *-s* в исходе основы, возможно, имеет ту же природу, что и *-s-* в составе упомянутых выше польск. *trusić* ‘бояться’, *trusać* ‘есть’, т.е. является отражением слав. **trus(k)*. В плане семантики словенский глагол ближе всего стоит к западнославянским образованиям, где наблюдается преобразование значения в направлении ‘тереть’, ‘крошить, распадаться’, ‘рассыпаться’ > в сложении с префиксом ‘встряхнуться, содрогнуться, затрепетать’ > ‘испугаться, страшиться, бояться’.

Встает вопрос: в каком отношении с приведенными словами находятся словенский глагол *stŕsniti* в значении ‘похудеть’. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом значении выступает прилаг-ное с основой *s-trh-* – *stŕhel* ‘гнилой’, ‘опавший, о лице’ (*strhel obraz; bleda in strhla lica*), ‘слабый, хилый, худой’. В словаре Плетершника приведены как тождественные формы *stŕhel* = *tŕhel* = *trúhel*, ср. *trhlo lice* ‘спасть с лица’ (Pleteršnik II, 590, 689). С большой долей уверенности можно утверждать, что в словенских образованиях с основой *s-trh-* находит отражение ступень редукции слав. **trux-*. В случае словен. *stŕsniti se* (ср. вост.-штир. *konj se je strsnil*) в значении ‘похудеть, осунуться’ речь может идти о состоянии крайней усталости, крайнего истощения, изнурения, внешне выражающееся в появлении худобы. По всей видимости, словенский глагол, передающий особое физическое состояние, имеет другую природу, во всех отношениях ему ближе другой ряд ю.-слав. образований: словен. *tŕsiti se* ‘стараться, стремиться, беспокоиться’ (Pleteršnik II, 698), с.-хорв. *tȑsiti se* ‘стараться, хлопотать, заботиться’ (RJA XVIII, 766), диал. *трсити* ‘ослабить, лишиться сил, скончаться, умереть’[11], а также *tȑsiti* ‘совершить, сделать’, ср. *tȑsili su vino* ‘продать, истратить, лишиться чего-л.’ (Skok III, 509), *ȍtrsiti* ‘завершить, наскоро закончить’, *~ se* ‘отделаться, освободиться (от дела,

обязанностей)' (RJA IX, 450). Южнославянские глаголы, отражающие корневой вокализм в ступени редукции, обнаруживают точное соответствие в лит. *triũsas* 'труд, хлопоты', *triũsti* 'трудиться, работать, делать кропотливую работу'. Вслед за Миклошичем (Miklosich 364) этимологи трактуют ю.-слав. образования в рамках того же гнезда и.-е. **t(e)reu-*, расширенного элементами *-d-s*, т.е. как отражение основы **trъds-* (Skok III, 509)[12].

Вопреки мнению некоторых исследователей[13], параллельная форма с носовым в корне (ср. словен. *trohnéti, tróhniti* 'гнить' и т.д.) вторична[14], поэтому нет оснований для реконструкции исходной формы **trǫx-*.

Как видим, при более внимательном анализе лексического материала появляются основания для раздельной трактовки одних слов и, наоборот, признания этимологического тождества других. Изучение материала позволяет восстановить глубинные связи далеко отстоящих друг от друга славянских слов.

Чеш., слвц. *paratiti*

Этот глагол характеризует преимущественно диалекты чешско-словацкого ареала: ср. чеш. *paratiti* 'бранить, ругать' (ср. V strachu pred mužom, že ju bude *p.,* schytila nôž), 'ставить в ряд' (ср. kula *p-la* mezi vojskom) (Kott VII, 193), словац. *paratiti* 'делать что-то тайно', 'зло шутить', Co tu *paratíš*? (Kott II, 496: Slov), *paratit'* 'бесчинствовать, проказничать, дурачиться', *vyparatit'*: čo si zas *v-il*? "Что это ты снова выкинул?" (SSJ V, 264), производ. *paratovati* 'проказничать, резвиться, шутить, балагурить' (Kott II, 765). На остальной славянской территории эти глаголы засвидетельствованы только в отдельных русских диалектах: ср. *опара́титься* = *опора́титься* (СРНГ 23, 279: арханг., том.), *опара́тить, опара́тило,* безл. 'угораздило', *опара́титься* 'упасть, свалиться', *напора́тило,* безл. 'нашло (о настроении, чувствах)', *распара́тить* 'разорвать что-л. до основания' (Ярослав. словарь: *О – Пито* 47; *Липень – Нячить* 107; *Питок – Ряшка* 122).

В этимологической литературе известна попытка Махека понять словац. *paratit'*, ганац. *parádit'* как результат преобразования этимологически неясного гл. *šarapatit* с развитием значения 'довести, поставить в ряд' > 'бранить, бить' (Machek² 434). Если принять во внимание вариантность основ (**porat-*/**parat-*), а также одну из действующих моделей отглагольных образований в славянских языках, представляемую слав. **kolti* ~ **koltiti*, можно продолжить поиски исходной основы в гнезде слав. **parati*/**porati*, итератива на *-ati* гл. **porti* 'пороть'. В литературе отмечена особое семантическое наполнение глагола на *-ati*. Мы имеем в виду рассмотренные в словаре Махека некоторые глагольные образования на *-ati* с общим значением 'делать, копошиться, медленно работать'. Этот ряд образований включает чеш. *porati* = *párati, parati se* 'делать', ~ *se*: Co se tak dlouho *páráš* (meškáš)?, Tu se tak

párám 'делаю грязную работу', ~ *se s čim*: Nač se s tím *páráš* (бьешься, занимаешься)?, *Nepárej* se s tím (не возись), *opárati se* 'играть с кем-л.', *opářati* 'тащиться, копаться, медленно работать' (Kott II, 765, 495–496; VII, 107), диал. *párat se* 'делать что-л. с трудом, заниматься, возиться, копаться'[15], польск. диал. *porać się* 'трудиться, биться, возиться, прилагать усилия, хлопотать о чем-л., копошиться, справляться с чем-л.', *parać* 'плохо работать, портить' (Варшавский словарь V, 3; IV, 52), в.-луж. *parać* 'медлить, возиться; копошиться' (Трофимович 164), 'забавляться; делать что-то ненужное', 'медлить, проявлять нерешительность', so *p.* z něčim 'играть, развлекаться чем-л.' и прич. *paraty* 'занимающийся пустяками' (Pfuhl 445–446), диал. *parać* 'слегка вспахать', стар. *param* 'fodico' и др. (Schuster-Šewc 14, 1044), н.-луж. *poraś* 'привести в движение', ~ *se* 'трогаться, пройтись', с преф. *huporaś* 'вынести, устранить', ~ *se* 'отправиться в дорогу', *naporowaś se* 'у него работа не идет, не спориться', 'забавляться, шутить, притворяться; гордиться чем-л.' (Muka II, 137–139), рус. диал. *пóрать* 'делать, управляться, возиться около чего-л.', *пóраться* южн., зап. 'заниматься, стряпать, суетиться, управляться чем-л., спешить к сроку', *упóралась* 'убралась, отделалась, кончила' (Даль[3] III, 826), *попорáться* 'кончить стряпать, отстряпаться' (СРНГ 29, 335), укр. *пóрати* 'обрабатывать (землю), убирать (хлеб)', 'ухаживать за скотом', *пóратися* 'заниматься по хозяйству, стряпать; возиться', 'одеваться' (Гринченко III, 342). Семантически близко этим лексико-семантическим образованиям болг. *пáрамь* в выражении: *Ангелино, парай колце: нощѫ вязишь, денѣ парашь* – так говорят, когда работа не спорится (Геров 4, 13), диал. родоп. *отпáрêм* 'проявлять большое старание в работе (когда копают, колют и т.п.)' (БД II, 228), ботевград. *напáрам* 'прилагать большие усилия в работе, движения' (БД I, 195).

Нельзя не заметить, что все многообразие значений сложилось на базе основного значения гл. **porati*/ **parati* 'пороть' > 'что-то делать, заниматься, возиться' > 'делать что-то ненужное, заниматься пустяками' > 'проказничать'. Гл. **paratiti*/ **poratiti* имеет производящий базой причастие на *-t* гл. **porti*, представляемое в.-луж. *paraty* 'занимающийся пустяками, чем-то ненужным, бесполезным' (Pfuhl 446), отпричастного происхождения чеш. *párátko* 'зубочистка', 'палка, жердочка' (Kott II, 496; PSJČ IV, 94), слвц. народ. *parato* 'тонкая, длинная палка, дубина' (SSJ III, 29), укр. *пóротина* 'клеймо на овце: ухо разрезается вдоль до половины', 'клеймо на домашней птице: разрез перепонки между пальцами' (Гринченко III, 354). Вероятно, к причастной форме на *-t* восходит и болг. диал. *прúпрат* 'быстрый, торопливый', 'вспыльчивый', 'нетерпеливый' (БД I, 131), 'тесный, неудобный (об одежде, обуви)', 'трудный, тяжелый (о работе)' (БД IV, 136), *прúпрат'ън* 'живой, ловкий, энергичный' (БД I, 214). В том же значении в болгарком употребляется другая причастная форма – *припрян*

'быстрый, торопливый', 'нетерпеливый', 'неотложный, срочный' (Бернштейн).

Вполне возможно, что представленный в части западно- и восточнославянских языков глагол **poratiti*/ **paratiti*, сложившийся на базе причастия на *-t*, унаследован из праславянской эпохи.

Польск. *storzyć*

Этот глагол отмечен в старых польских текстах в значении 'держаться заносчиво, высокомерно, хвастаться': ср. jakoź przeciwko Bogu człek będzie *storzył*; będzie z djabłem storzył; darmo się w herby storzą; в XVI в. хвастливого, чванливого человека называли *storzypiętką*; к *storzyć, storzypiętką* примыкают названия растения *storzysz, storzyk, storzanki* (другие названия *stojak, wstawacz* или *wzwód* 'orchis' (Brückner 517); причастная форма *Storzym* (1409 г.) выступает как личное имя в старых текстах на территории Малой Польши[16]. Брюкнер предположительно связывал старопольский глагол со словен. *nastoren* 'упрямый', *neustóren* 'неловкий' и искал истоки соотносимых образований в гнезде слав. **ster-, *storna*. В предлагаемом Брюкнером истолковании лишь в самом общем виде намечены возможные направления родственных связей, но сами сближения и отнесенность их к гнезду и.-е. **ster-* 'распространять' требует в первую очередь семантического обоснования. В силу обособленного положения польского глагола возможности продвижения вглубь за счет внутренних средств весьма ограничены. При этом следует отметить, что затемненность внутренней формы, употребление старопольского глагола скорее всего в переносном значении затрудняли поиски других отражений этого глагола в самом польском языке. Между тем оставлен без внимания в польских диалектах тождественный по форме гл. *storzyć* с широким кругом значений – 'источить, изничтожить', 'ставить торчком', 'есть', 'проедать, прогрызать' (Karłowicz V, 238, 239). Вероятно, глубокие различия в семантике помешали выявлению и установлению диахронического тождества названных глаголов. В системе старопольского языка и в системе польских диалектов гл. *storzyć* лишен очевидных родственных связей, и лишь сравнительный анализ показаний разных хронологических уровней и выявление на этой основе архаичных элементов в семантике глагола создает необходимые предпосылки для суждений о месте польского глагола в славянском словаре. В силу ослабления мотивирующих связей возникли большие трудности с осмыслением семантики диалектного глагола, пониманием связей между отдельными его значениями. В связи с этим наблюдаются попытки объяснить этот глагол в разных значениях как результат контаминации исконно славянского образования с не совсем ясными истоками и заимствования из немецкого языка. Были попытки понять как возможное заимствование стоящий несколько особняком польск. диал. гл. *storzyć* в значении 'торчать, стоять торчком', в качестве источника называют нем. *storren*, а точнее ср.-в.-нем. *storren*

'herausstehen' (< *star- 'быть неподвижным, застыть' – Kluge[15] 770; Варшавский словарь VI, 436). В Варшарвском словаре для глагола в других значениях допускается возможность развития из *z(s)+torzyć*, т.е. в гнезде слав. **ter-*. И эта идея не лишена оснований. Все значения, характеризующие польский глагол, соответствуют семантическим возможностям слав. **ter-* 'тереть', что делает излишним предположение о заимствовании глагола в одном из значений. В семантической структуре польской лексемы представлены значения, близкие к исходному 'тереть' (> 'источать, изничтожать' и 'есть, прогрызать', ср. рус. диал. *стереть* 'съесть' – Даль[3] IV, 531), а также производные значения типа 'ставить торчком, торчать', мотивированные семантикой, характеризующей тот же глагол в сложении с префиксом *па-* – *nastorzyć* 'нахохлить, взъерошить' (Варшавский словарь III, 169). В семантике старопольского глагола закрепился результат преобразования, переосмысления одного из промежуточных звеньев семантической эволюции глагола – 'нахохлить, взъерошить' > 'выдаваться, возвышаться' > 'заноситься, держаться высокомерно'. В "Атласе кашубского языка" с польским глаголом сближается кашуб.-словин. *storzyć (się)* 'хвалиться, лгать, обманывать'[17]. Соотносимое с ним н.-луж. *toriś, storiś* 'обманывать' Мука выводил из нем. *betören* (Muka II, 765)[18], и с таким объяснением можно согласиться. Однако значение 'обманывать' не покрывает всей семантики глагола, что особенно заметно, если принять во внимание толкование, которое получает глагол в кашубско-словинском словаре Сыхты: *stožëc* 'выдумывать, сочинять, рассказывать сказки, небылицы', 'лгать', 'хвастаться', *nastožëc* 'порассказать, навыдумывать', *zestožëc* 'выдумать, соврать, солгать', с ними связаны *st'oženka* 'сказочка, сплетня', *stožëχ, stožuχ, stožok* 'сказочник, пустомеля, лгун', *stož'evc*: bavić są v stoževca (Sychta V, 164, 165). В семантическом плане зап.-слав. лексемы можно считать ответвлением от той линии развития, которая объединяет значения 'тереть, торить' > 'тараторить' > 'болтать, пустословить' > 'говорить безответственно' > 'измышлять, лгать', при этом, конечно, нельзя исключить влияния со стороны немецкого глагола. Примечательно, что в сходном направлении преобразуется исходная семантика в принадлежащем к тому же гнезду болг. еленск. *истúр'ъ, истúр'ъ съ* 'хвалиться, хвастаться' (БД VII, 60) с другим вокализмом в корне.

Западнославянские глаголы, хотя и в стертом виде, но все еще обнаруживают этимологические связи с гнездом слав. **ter-*. Более того, они входят в систему устойчивых семантических и словообразовательных отношений, связывающих гл. **terti* и **(s)toriti*. В этом разветвленном и семантически емком гнезде западнославянские образования представляют одно из направлений в семантической эволюции продолжений исходной основы **(s)ter-*. Другую линию развития отражают образования с преф. **na-*: с.-хорв. *nastoriti* 'ненавидеть, преследовать, питать отвращение, прогонять', *nastor* 'ненависть, злоба' (RJA

VII, 661), словен. *nastoríti* 'причинять кому-либо вред': ср. coprnica mu je *nastorila, nástor* 'искушение, соблазн, злость, вражда, ненависть', *nástoren* 'упрямый, злой, обидный' (Pleteršnik I, 670), далее рус. диал. *насторить* 'настойчиво просить, требовать; настаивать на своем', 'присматривать, ухаживать за кем-, чем-л.; заботиться о ком-, чем-л.', 'следить, наблюдать', 'наставлять, учить, давать советы; руководить кем-л., направлять кого-л.', *насториться* 'готовиться, делать необходимые приготовления к чему-л.', *насто́ристый* 'упрямый, своевольный' (СРНГ 20, 195–196). Состав продолжений слав. **nastor-* может быть расширен болгарскими диалектными образованиями. В болгарских диалектах находим группу глаголов с общим значением 'раздражать, возбуждать против кого-либо, побуждать к чему-либо': ботевгр. *наста́рам* нес., *на́стора* св. 'натравливать, подстрекать' (БД I, 196), карлов. *нъсто́р'оом, нъсто́ръ* 'подстрекать, настраивать против кого-л., натравливать' (БД VIII, 151), врачан. *наста́рам (са), на́стора (са)* 'побуждать, подстрекать, клеветать, компрометировать' (БД IX, 283). С этими глаголами обнаруживает соотнесенность болг. пирдоп. *сторка* в значении 'магия, колдовство, вызывающее несчастье, беду' (БД IV, 144). Болгаркие диалектизмы этимологически не связаны с гл. *сто́ря* 'делать, совершить', который, как и словен. *storíti*, явился результатом преобразования *sъ-tvoriti* (Miklosich 366; Bezlaj III, 322)[19]. Славянский материал дает убедительные примеры преобразования исходного значения 'тереть' в направлении 'делать с трудом' (рус. диал. *торить* 'прокладывать борозду, тропу, пролагать частым гнетом, боем, накатом, ходьбой') > 'мучить' (рус. диал. *торить* 'мучить, томить' – Даль[2] IV, 419) и 'раздражать, вызывать беспокойство' (ср. с другим корневым вокализмом болг. кюстенд. *растера се* 'находиться в состоянии половой активности' – БД VI, 147), 'настойчиво просить, настаивать, требовать', отсюда 'надоедливый, упрямый', 'приобрести навык, опыт' (ср. рус. диал. *нато́риться* 'приобрести опыт, навык' – СРНГ 20, 226) > 'руководить, направлять' и далее 'воздействовать' (ср. с.-хорв. *nàtjerati* 'принудить, заставить', польск. *nacierać na koho* 'наседать на кого-л., усиленно просить, домогаться', словац. *dotierať* 'настаивать, приставать, быть неотвязчивым')[20]. Соотносительное с этим глаголом болг. родоп. *сто̂ран, сто̂рен* характеризуется значением 'крутой' (БД II, 273).

Как видим, в ст.-польск. и польск. *storzyć* находит отражение старое славянское образование, сложившееся на базе гл. **(s)ter-* 'тереть'.

Примечания

[1] *Novak F.* Slovar beltinskega prekmurskege govora. Pomurska založba, 1985, 104.

[2] *Брандт Р.* Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Миклошича // РФВ XXV, 1891, 31.

[3] *Bezlaj F.* Einige slovenische und baltische lexische Parallelen // Linguistica VIII / 1. Ljubljana, 1966–1968, 74.

[4] *Būga K.* Rinktiniai raštai II, 632; I, 489; *Каралюнас С.* К вопросу об и.-е. *s после *i, u* в литовском языке // Baltistica I (2), 1966; *Karulis K.* Latviešu etimoloģijas vārdnica, II. Rīga, 1992, 423.

[5] *Sławski F.* Oboczność *ǫ : u* w językach słowiańskich // SOc 18. Poznań, 1939–1947, 285–286.

[6] *Bělič J., Kamiš A., Kučera K.*. Malý staročeský slovník. Pr., 1979, 350.

[7] *Orlovský J.* Gemerský nárečový slovník. V Rimavskej Sobote 1982, 359.

[8] *Бодуэн де Куртэнэ И.А.* Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. II. Образцы языка на говорах терских славян в северовосточной Италии. СПб., 1904, 32.

[9] *Būga K.* Op. cit. I, 361.

[10] *Bělič J., Kamiš A., Kučera K.* Op. cit., 519.

[11] *Вујичић М.* Рјечник говора Прошћења (код Мојковца). Црногорска Академија наука и умјетности. Посебна издања. Књ. 29. Од. умјетности. Књ. 6. Уредник Д. Ћупић. Подгорица, 1995, 121.

[12] *Bezlaj F.* Einige slovenische und baltische lexische Parallelen // Lingustica VIII / 1. Ljubljana, 1966–1968, 78.

[13] *Jagić V.* Zum litoslavischen Sprachschatz // AfslPh II, 1877, 398.

[14] *Sławski F.* Op. cit., 285–286.

[15] *Gregor A.* Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Praha; Brno, 1959, 120.

[16] *Cieślikowa A.* Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji // Prace Instytutu języka polskiego. 71. Wrocław etc., 1990, 121.

[17] Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. Opracowany przez zespół zakładu słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zd. Stiebera. Zesz. I. Część II. Wykazy I komentarze do map 1–50. Wrocław etc., 1964, mapa 26, 91–92.

[18] См. также: *Handke K.* O niektórych leksykalnych paralełach kaszubsko-łużyckich // SO t. 31, 1974, 44; *Rzetelska-Feleszko E.* Odrębność leksykalna gwar środkowokaszubskich // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 8, 142.

[19] См. еще: *Младенов С.* История на българския език. С., 1979, 145.

[20] См. об этой группе слов: *Варбот Ж.Ж.* Заметки по славянской этимологии // Этимология 1968. М.. 1971, 69–72; *Она же.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984, 103–104.

И.П. Петлева*

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКЕ. XIX

К этимологии слав. **stьrvo*

Праслав. **stьrvo* (**stьrvъ*, **stьrvь*, **stьrva*), по мнению Фасмера, Скока и др., представлено во всех славянских языках, кроме чешского (и, добавим, словацкого) (Фасмер III, 756; Skok III, 351). У Фасмера (Там же) дается следующий перечень славянских соответствий: болг. *стръв*, с.-хорв. *стр̑в* м.р., словен. *stȓv* ж.р. 'жердь в стогу', *ostȓv* 'сухое дерево для насаживания снопов', польск. *ścierw, ścierwo* 'падаль', в.-луж., н.-луж. *śćerb* то же, др.-рус. *стьрва* ж.р., *стьрвь* ж.р. 'труп', рус.-цслав. *стьрвь* νεκρός, рус. *сте́рва* ж.р., *сте́рво* 'падаль' (Даль),

укр. *стéрво*, блр. *сцéрва*. Сюда же следует присоединить макед. *стрв* ж.р. (И-С 486) и ц.-слав. формы, приведенные Миклошичем: **стръво, стерво, стръвь** (Miklosich LP). Однако включение Фасмером в состав гнезда **stьrv-* словенского *ostȓv* 'сухое дерево для насаживания снопов' и *stȓv* ж.р. 'жердь в стогу' представляется ошибочным, т.к. еще Миклошич объединял эти слова со славянскими лексемами, обозначающими заостренный кол или дерево (ель и др.) с сучками или коротко обрезанными ветками, которые служили остовом стога сена или хлебной укладки или вешалом для просушки льна, овса, гороха и т.п. Это с.-хорв. диал. *острва* 'кол перед домом (на который вешается оружие)', чеш. *ostrev* 'Leiterbaum', слвц. *ostrva* 'сухое дерево с ветками', укр. *острова* 'заостренный кол для укладывания сена; кол (тычина) для хмеля', *остерва, остирва* 'тонкое очищенное деревцо для изгороди', которые далее связываются с **ostrъ(jь), *ostroga, *ostь* (Miklosich 227: статья **os-*). Сюда же нужно присоединить целый ряд рус. диал. слов: *остров* м.р. 'нетолстое срубленное дерево с подрезанными сучьями' (том.), *óстров* м.р. 'ель с сучьями' (волог.) и *острóв* м.р. 'род вешала – кол с сучьями для подсушки снопов хлеба, льна и т.п.', *острóв* 'вбитый в землю кол, вокруг которого мечут стог' (новгор., калин.) (Филин 24, 81), *острóвь* 'суковатая жердь, которой подают снопы в овин для сушки' и др. знач. (волог.), *острóви* мн.ч. 'колья с заостренными концами' и др. примеры, а также *острéвье* и *остр*э́*вье* ср.р. 'сооружение из жердей с сучьями, на которое навешивают лен для просушки; большая укладка гороха в поле' (псков.) (Там же). Привлекают внимание такие примеры, как *óстрево = острей* 'острие' (Ярослав. словарь (о–пито) 60), *острóй*, чаще мн.ч. *острóи*: Стог ставишь, а в середку *острой* вкладываешь (Сл. Сред. Урала III, 74) и др.

Праслав. **stьrvo* не имеет общепринятой этимологии, хотя относительно его происхождения существует несколько гипотез. Миклошич сопоставлял его с лит. *stérva* и лтш. *stę̑rva* в знач. 'падаль' (Miklosich 322), однако, очевидно, оба этих слова являются заимствованиями – соответственно из белорусского и русского языков (Fraenkel 903 с литературой). Фасмер совершенно справедливо считает необоснованной как версию о заимствовании **stьrvo* из др.-в.-нем. *sterbo* 'pestis', вопреки Уленбеку, так и мысль Мейе о связи со **sterti* (ср. рус. *простереть* и др.), лат. *sternō, -ere* 'расстилать', др.-инд. *str̥ṇóti* 'усыпает' (Фасмер III, 757). Одна из двух наиболее распространенных интерпретаций основывается на семантической модели 'умереть' < 'окоченеть, стать твердым, неподвижным', сближая **stьrvo* со слав. **stьrbnǫti* (рус. *стербнуть*, греч. στερεός 'твердый, крепкий' (Преображенский II, 383), лит. *styru, styrė́ti* 'цепенеть', *pastyręs kuns* 'оцепеневшее (мертвое) тело'. Однако она не представляется приемлемой, т.к. данная семантика не характерна для слов гнезда **stьrv-* (еще раз подчеркнем, что словенские лексемы со значением 'жердь, сухое

дерево' сюда не относятся). Что касается другой достаточно известной гипотезы, то она исходит из первоначального значения 'гнить, разлагаться, пачкать; грязная жидкость, навоз', сближая **stьrv-* с лтш. *stērdêt* 'сохнуть, гнить' (Mühlenbach–Endzelin 3, 1063), норв. диал. *stor* ср.р. 'гниение, тлен', *stora, storna* 'гнить, истлевать', лат. *stercus, -oris* ср.р. 'навоз, помет, кал', авест. *star-* 'осквернять себя' и др., далее к **(s)ter-* (Pokorny I, 1031–2; Skok III, 351; Фасмер III, 757 с литературой: Перссон 458; Петерссон BSl 72 и сл.; Хольтхаузен PBB 66, 266; Младенов 613 и др.). Минусом этой версии является тот факт, что при данной интерпретации **stьrv-* оказывается совершенно изолированным в славянских языках. Включаемое же Покорным в состав этого и.-е. гнезда болг. *тор* 'навоз' предпочтительнее рассматривать в кругу лексем, восходящих к корню **ter-* 'тереть' (в ступени **tor-*), как то делают многие исследователи – см. Miklosich 352–3; Skok III, 512; Фасмер IV, 81 и др. Так, в частности, Фасмер в одном ряду с болг. словом приводит рус. (Даль) *тор* 'проложенная дорога; оживленное место', укр. *тор* 'колея' (у Гринченко IV, 275: *тор* 'след, колея'), с.-хорв. *тȏр* 'загон', чакав. 'след, ограда', словен. *tȍr* 'трение', польск. *tor* 'проторенная дорога' и т.п.; сюда же следует присовокупить с.-хорв. диал. *тор* 'конский навоз' (М. Томић. Говор Свиничана 225), *тори́на* ж.р., *тори́не* мн.ч. 'несъеденные остатки сена' (Там же), *tȍrina = toriʺ-na* 'помет мелкого скота' (Skok III, 512), блр. *ато́ра* ж.р. 'мелкая солома' (Байкоў–Некраш. 37) и др. примеры. Причем семантическая модель может быть представлена в таком виде: 'тереть, перетирать' → 'что-л. перетертое и отделенное, выделения, мелкие отбросы: мелкая солома, труха, мусор, сор, навоз' или 'отбросы: мелкая солома, труха' → → 'мусор, грязь' → 'навоз'. Ср. с.-хорв. *ѝз-мет* 'сор, мусор, отбросы; помет, навоз', рус. *по-мет* 'навоз', с.-хорв. *нечистòћа* 'нечистота, грязь; кал', лат. *ex-crementum* 'отходы, отсев, высевки; выделение; экскременты, кал' – от *ex-cerno* 'отделять, выделять'.

Учитывая тот факт, что в некоторых вышеприведенных примерах представлено значение не 'навоз, (любой)', а лишь 'навоз (помет) мелкого скота или лошадей', можно думать о цепочке 'мелкие отходы, сор, мелочь' → 'навоз (помет) коз, овец' → 'навоз'. Ошибочное включение лексемы *тор* в состав гнезда **(s)ter-* 'пачкать; грязь и т.п.', а не **ter-* 'тереть' вызвано невниманием к славянскому окружению данного слова и особенно к его семантическим связям.

В случае со слав. **stьrv-* именно тщательное семантическое обследование его континуант дает возможность взглянуть по-новому на его этимологию. Значение 'падаль' представлено в большинстве славянских языков (цслав., макед. (*стрв-ина*), с.-хорв., в.-луж., н.-луж., польск., рус., укр., блр.), однако болг. *стръв* – это 'приманка, наживка', а также 'ярость, ожесточенность; алчность', макед. *стрв* – 'страстное желание, жажда (чего-л.); остервенение, кровожадность', что, естественно, требует своего объяснения (об этом см. ниже). В

ряде примеров представляет интерес сама формулировка значения. См., напр., с.-хорв. диал. *стрв* 'о с т а т к и погибшего домашнего животного' (Ровинский 676), *стр̑в* 'о с т а т к и от погибшего или зарезанного животного' (М. Вујичић. Рјечник Прошћења, 115–116), рус. диал. *сте́рва* 'труп животного, падаль, н е д о е д е н н а я медведем туша животного, возле которой устраивают засаду охотники' (Сл. Среднего Урала VI, 61), *сте́рво* 'падаль; издохшее или з а д а в л е н н о е з в е р е м животное' (Куликовский 113), а также, возможно, с.-хорв. диал. *стр̑в* м.р. 'сор, мусор, навоз' (J. Мијатовић. Прилог познавању лексике српских говора, 170), *стр̑в* 'мусор, грязь, беспорядок' (М. Чешљар. Из лексике Иванде, 137) и *stȓv* ж.р. 'беспорядок, разбрасывание вещей' (M. Peić–G. Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca, 343); *по-стр́вци* м.р. мн.ч. '(мелкие) части' (J. Динић. речник тимочког говора, 218) (< **po-stьrv-ьсь*). Причем значение 'след', отмечаемое у с.-хорв. слова *стр̑в,* является непосредственно связанным с 'падаль', трактуемым как 'куски, частички, остатки', см. еще: Нема *стрви* (трага) оној овци (М. Вујичић. Рјечник Прошћења, 115–116), отићи *у бестрв* 'без возврата и следа исчезнуть' (Ровинский 676), *у бе̏стр̄в* 'очень далеко, без следа...' (РСА I, 517–518), *бе̏стр̄ва* 'очень далеко, неизвестно куда; полностью, совсем' (Там же, 518), *бѐстрвити = бестрагати* 'погубить, уничтожить, истребить' (Там же), *obèstrviti* 'уничтожить без остатка (без следа)', *obèstrviti se* 'уничтожиться (пропасть) без следа, погибнуть' (RJA VIII, 362; Толстой[1] 499). Итак, 'падаль' и 'след', видимо, можно понимать как 'куски, остатки; мелкие частички, сор'. Поэтому представляется едва ли правомерным отделение Миклошичем *strv* 'след' от *strv* 'падаль' и внесение их в разные этимологические гнезда (см. Miklosich 322; 352), а также включение Скоком *strv* 'след, остаток' и *obestrviti* одновременно в состав двух статей Этимологического словаря – *strv* и *trti* (см. Skok III, 351; 512), что свидетельствует о неопределенности его позиции в отношении трактовки этих лексем.

Что касается значения 'приманка, наживка', то оно, очевидно, восходит к 'кусок мяса', см. показательные в этом отношении примеры: болг. *стрьвь* ж.р. 'положить где-л. м я с о или что-л. другое, чтобы приманить какого-л. зверя, поймать его и убить; мана, наживка, приманка, привада, прикормка...' (Геров 5, 274), *стрѣв* ж.р. 'м я с о или что-л. другое в качестве приманки' (БТР[3] 976), ср. еще *стрьвость* 'обжорство, алчность': *за стрьвост* – 'к у с о к м я с а насаживается на крюк к а к п р и м а н к а для дичи' (Геров, там же), *стрьволи́нка* ж.р. 'м я с о, сыр и другая с к о р о м н а я пища...' (Там же), диал. *штърво́л'ина* 'приманка, преимущественно – м я с о' (Божкова БД I, 273), далее диал. *стръво́л'ина* ж.р. собир. 'конфеты, фисташки, сладости или какое-н. другое лакомство...' (Шапкарев–Близнев БД III, 278), *штарвало̑к* м.р. 'лакомство, сладости' (Стойчев БД II, 306).

Итак, прослеживается цепочка 'кусок мяса' → 'мясо как приманка' → 'приманка, наживка (любая)' → 'лакомство, сладости'.

Исходя из семантики рассмотренных выше слов, кажется возможным интерпретировать **stьrvo* 'падаль' как 'остатки (куски мяса, клочья и т.п.) (домашнего) животного, растерзанного диким зверем (волком и др.)' и предполагать его отглагольное происхождение. Ср. значение, правда, толкуемого, неоднозначно (о чем см. ниже) с.-хорв. глагола *растрвити* – 'растерзать и растащить, разбросать...'; *...све растрвљено* – 'об о с т а т к а х овцы' (Ровинский 676). Производящим для **stьrvo* глаголом, обозначающим разрушительное действие, должен был быть, очевидно, **terti*, **tьrą* 'тереть' – см. семантику ряда примеров: с.-хорв. *сà-трти* 'стереть; растереть, истолочь' и 'погубить, уничтожить' (Толстой[1] 852), *ùс-трти се* 'пропасть, уничтожиться' (Там же, 295), *зà-трēти* 'истребить, искоренить, уничтожить', *зà-трēти се* 'погибнуть, уничтожиться (без остатка)' (Там же, 227; РСА VI 490–491: *зàтрти = зàтрēти = зàтриjети*), см. еще отглаг. сущ. *зà-тра* ж.р. 'истребление, мор и болезнь, которая "з а т и р е с т о к у" (т.е. губит скот)' (РСА VI, 479–480), где в формулировке значения представлено существенное для нас употребление глагола гнезда **ter-* 'губить, уничтожить' в сочетании с лексемой, означающей 'скот, скотина'. Др.-рус. глагол *сътрѣти = сотрѣти = сътьрѣти* также демонстрирует значения, которые вполне могли служить базой для образования лексемы **stьrvo* с исходной семантикой 'куски, клочки (о задавленном, растерзанном животном)' – это, в частности, 'задавить; надломить, сокрушить; рассеять' (Срезневский III, 848). См. еще рус. *сотрет главу* 'сокрушит' (Даль[2] IV, 324), *стереть с лица земли* 'уничтожить, разрушить до тла' (Там же). И в этой связи показательно еще одно значение, отмечаемое для *стерво* в Словаре Срезневского, – 'гибель' (Іов. XV. 23; Библ. 1499 (Бусл. 170) (Срезневский III, 586). При условии принятия родства **stьrvo* с **terti*, **tьrą* следует допустить возможность существования в славянских языках разновидности этого глагола с начальным *s-mobile* **(s)terti*. Это предположение относительно слов **na(s)terti*, **na(s)torъ*, **na(s)torьnъjь* было выдвинуто Ж.Ж. Варбот[2]. Согласно принятой нами интерпретации, **stьrvo* образовано на славянской почве от **(s)tьrą* (презентной основы от **(s)ter-ti*) с помощью суф. *-v-*. Сходным образованием является, по-видимому, слав. **mьrva* от **mer-* 'тереть, дробить'. Причем семантика лексем гнезд **stьrv-* и **mьrv-* достаточно близка друг другу, см., в частности: болг. *мрьва* 'кусок мяса; мелкая пыль...', *мрѣва* 'кусок мяса', макед. *мрва* 'крошка; кусочек мяса', с.-хорв. *mȑva* 'крошка, кусочек', словен. *mŕva* то же и 'корм', *mrve* 'сенная труха', чеш. *mrva* 'нечто мелкое, дробное; сор, мусор, навоз, соломенная труха', польск. *mierzwa* 'старая, раскиданная солома; навоз, удобрение', словин. устар. *ńěřva* 'непорядок', др.-рус. *мерва* 'мелкие

отходы при обработке льна, зерновых культур’, рус. диал. *мерва* ‘мелкие отходы при трепании льна’ и т.п. (ЭССЯ 21, 151–153), чеш. *mrvina* ‘нечто хрупкое, рассыпающееся, навоз’, диал. *mrvine* ‘обмолоток, нечистоты...’ (Там же, 155). Семантически близки также континуанты гнезд **stьrv-* и **dьr-*(**der-*), см., напр., рус. *драть* ‘рвать, раздирать на части, отрывать, вырывать, отделять, срезать что-л., измельчать, дробить’, *дрань* ‘сало, отрезанное от туш или выдранное из туш’, *дрянь* ‘кал (человека), навоз, гной, гнойные выделения; негодная вещь, хлам’, слвц. диал. *draňa* ‘падаль, дохлятина’, ст.-чеш. *drt* ‘крошки, опилки’, чеш. *drt* ‘труха, крошево’ (ЭССЯ 5, 218; 217; 227), а также с.-хорв. *дртина* ‘труп животного, падаль’ (РСА IV, 741).

От **stьrvo* образован целый ряд производных. Это прежде всего глаголы: цслав. **стръвити сѧ** ‘поедать падаль’ (Miklosich LP 893), с.-хорв. *стр̑вити* ‘пачкать, грязнить’ (Толстой[1] 916), *остр̑вити се* ‘запачкаться кровью’ (Там же, 361), *ostŕviti* ‘испачкать кровью’ (Benešić 9, 1906), диал. *застр̑вити* ‘завалить (засыпать) отбросами, отходами, загадить, загрязнить’, а также ‘просыпать, разбросать навоз по ниве, сено, солому’ (РСА VI, 434), *остр̑вити се* ‘повадиться, привыкнуть есть падаль’ (М. Вујичић. Рјечник Прошћења 85), *ostŕviti* ‘испачкать (особенно кровью)’ и *ostŕviti se* ‘наскочить (натолкнуться) на падаль и пожирать ее (о собаках)’ (RJA LI, 284 с примечанием, что основным, однако не зафиксированным, значением является ‘испачкаться падалью’), рус. диал. *застерви́ть* ‘загрязнить, загадить падалью’ (Филин 11, 60: ворон.). Значение ‘остервениться, одичать, озлобиться’ развивается, очевидно, на основе ‘дичать от пролитой крови, убийства’ или ‘неистово желать мяса, стремиться его добыть’ – см.: *остр̑вити* ‘сделать одичавшим, взбесившимся’, ‘испачкать (особенно кровью)’ и *остр̑вити се* ‘соблазниться, полакомиться, приманиться’, ‘испачкаться кровью, одичать, прийти в неистовство (от пролитой крови, убийства)’ (РСКЈ 4, 231), *на̀стрвити* и *настр̑вити* ‘сделать кровожадным и желающим мяса’ (РСА XIII, 460), см. также значения ‘найти, увидеть малейший знак, след чего-л. или кого-л.’ и ‘просыпать, разбрасывать (крошки, солому и т.п.)’ (Там же). См. далее макед. *стрви се* ‘остервенеть’ (И-С 486), *настрви* ‘ожесточить, озлобить’ (Там же, 296), с.-хорв. *остр̑вити се* ‘остервенеть’ (Толстой[1] 561), диал. *остр̑вити се* ‘обрушиться, взъесться (на кого-л.)’ (М. Чешљар. Из лексике Иванде, 128), рус. диал. *остерве́ть* ‘озлобиться, остервенеть’, *осте́рви́ться = остервени́ться* ‘прийти в ярость, рассвирепеть, остервенеть; ожесточиться’ (Филин 24, 66: псков., смол., орл., вят., сибир., владим., вят., новосиб., иркут.), *осте́рви́ться* ‘рассердиться, разъяриться’ (Сл. Среднего Урала III, 73), блр. *осте́рвиться* ‘дойти до сильного озлобления’ (Носович 944), *не стярвись* – ‘не упорствуй, не спорь’ (Там же, 376); болг. *стръвя́* ‘приманивать’ (Бернштейн 379), *настървя́* ‘ожесточить, озлобить; натравить (на кого-л.)’, *настървя́ се* ‘прийти в ярость, остер-

венеть' (Бернштейн[2] 356), *настървя́* 'науськивать, натравливать; подстрекать, побуждать' (Бернштейн[1] 202), *настървя́* 'побуждать, приучать делать что-л. (обычно плохое)' (БТР[3] 516) и др. примеры. Далее от **stьrviti* через ступень **stьrven-* (страд. прич. прош. вр.) образовались глаголы **stьrveniti (sę)*, **stьrvenĕti*: см. рус. псков. субстантивированное причастие *стервéнь* 'бешеный сорванец, неистовый буян' (Даль[2] IV, 323), *стервенéть, стервени́ться* 'стать, приходить в остервененье, в бешенство, неистовство, ярость, зверство; начать остервеняться' (Там же), *застервенéть* 'остервенеть' (Филин 11, 60 олон.), *остервени́ться* 'разозлиться (о животных), оскалиться' (Там же 24, 66: волог.), блр. *стервянеть* 'озлобляться, ожесточаться' (Носович 376). Что касается значений существительных 'подлая, мерзкая, стерва' или 'наглец, стервец', то они являются переносными, связанными с 'падаль': ср. нем. *Aas* 'отруби', 'падаль' и 'стерва' (ругат.).

В ряде случаев относительно этимологии какого-л. слова существуют разные точки зрения. Так, с.-хорв. *rastŕviti* 'беспорядочно что-л. разбросать' объясняется в Загребском словаре как *raz-stŕviti* с замечанием: "kao *strv* razbacati?" (RJA XIII, 331), тогда как Миклошич специально подчеркивает, что этот глагол должен рассматриваться в составе гнезда *ter-*, а не *sterv-*, предполагая для него ступень *trŭ-*, к которой он возводит и с.-хорв. *trvenik* 'via trita' (Miklosich 322; 353), т.е. **orz-trъviti*, **trъvenikъ*. Скок же, выделяя ступень **trv-* в составе гнезда **ter-*, вообще не уточняет характер вокализации (**tьrv-*? **trъv-*?) (Skok III, 512). В некоторых случаях формальных отличий у континуант **(s)tьrv-* и **trъv-* нет, особенно в префиксальных (*s-*, *is-*, *ras-*) образованиях, см. напр.; кроме *rastŕviti*, с.-хорв. диал. *стр́вим* 'рассыпать, просыпать, раскидать', *истр́вим* 'потерять' (Н. Живковић. Речник пиротског говора 150), *ѝстрвити* 'просыпать, рассыпать' (РСА VI, 381), болг. *изтърва* 'ронять, выпускать из рук, выпускать добычу' (Бернштейн[1] 135), приведенные выше с.-хорв. диал. *стр̑в* 'мусор, беспорядок' (**sъ-trъvъ или *stьrvъ?*), с.-хорв. *истрвак* 'обмылок'. Существенно отметить, что в ряде слов, по-видимому, представлена основа **tьrъ-* (без *s*-mobile или приставки *sъ-*) – это *за̀-трвити* 'затерять' и *за-тр̀вен* 'уничтоженный, истребленный' (РСА VI, 483; Толстой[1] 227). И последнее замечание. Существование четырех форм – **stьrvo*, **stьrvъ*, **stьrvь*, **stьrva* по-видимому, дает основание предполагать, что они могут восходить не непосредственно к презентной основе **(s)tьr-* глагола **(s)ter-ti*, а к отглагольному прилагательному, являясь результатом его субстантивации. Семантическую же эволюцию 'падаль', очевидно, можно представить себе как 'куски мяса, клочки, остатки р а с т е р з а н н о г о животного' → 'падаль' (первоначально только по отношению к такому животному).

Примечания

[1] *Потебня А.А.* Этимологические заметки // РФВ. Т. IV, 1880, 212.

[2] *Варбот Ж.Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984, 104. См. еще о вероятности присутствия *s*-mobile в праслав. **starati(sę)* при возведении последнего к **ter-* 'тереть': *Она же.* Об этимологии глагола *стара́ться.* // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). М., 1995, 81–82.

В.Э. Орел*

ПРАСЛАВЯНСКИЕ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Памяти моего учителя
Леонида Гиндина

Слав. **mirъ*

Общеславянское слово **mirъ*, пережившее достаточно типичную для этого круга понятий семантическую эволюцию от значений типа 'дружба, согласие, спокойствие' к социально и концептуально насыщенным понятиям 'мир, свет' и 'община, общество', 'народ, люди' (последние – исключительно в восточнославянском, см. СРНГ 18, 170; Гринченко II, 426)[1], едва ли может вызвать какие-либо сомнения в том, что касается его принадлежности к и.-е. **mēi-* 'связывать' (Pokorny I, 711 – 712)[2]. Однако наличие – пусть даже верной – корневой этимологии еще не влечет за собой ясности в деталях и не характеризует слово **mirъ* с точки зрения его деривационной истории и, в особенности, его положения в кругу близких индоевропейских форм. В этом смысле существенно то обстоятельство, что у слав. **mirъ* отсутствуют или, по крайней мере, не фигурируют в явном виде точные цельнолексемные соответствия в других индоевропейских языках, прежде всего, в балтийском, поскольку ст.-лит. *mieras* 'мир, покой' (в Катехизисе 1547 г.) и лтш. *miêrs* то же все-таки должны рассматриваться как старые славянские заимствования[3].

Выводя за рамки этимологии как таковой указанные балтийские формы, мы сразу же резко сокращаем весь объем сопоставления. При этом основным и ближайшим соответствием слав. **mirъ* оказывается славянская же форма **milъ* 'милый, любимый' (ЭССЯ 19, 56), которая как раз в отличие от **mirъ* имеет совершенно очевидные балтийские связи – лит. *míelas* 'милый', лтш. *mīlš* то же, др.-прус. *mijls* то же. Однако, обнаруживая несомненное родство с **mirъ* и близость к нему в семантическом плане (притом, в самом архаичном значении **mirъ*),

форма **milъ*, будучи вполне несомненным отглагольным прилагательным на *-*lo*-, по-прежнему оставляет интересующее нас слово в полной словообразовательной изоляции[4].

Корневой характер имеет и родство **mirъ* с др.-инд. *mitrá*- ‘друг; договор’[5], авест. *miϑra* ‘дружба; договор; божество договора’. Однако высказывалось и предположение о другом характере связи между славянским и иранским словами: некоторые исследователи допускали здесь заимствование из иранского в славянский через стадии постепенного упрощения на иранской почве консонантной группы -*ϑr*- > -*hr*- > -*r*-[6]. Развитие этого типа характерно для северо-западной группы иранских языков, в отличие от юго-западного иранского, где -*ϑr*- дало бы -*s*-, и от восточноиранского, где -*ϑr*- либо сохранялось, либо подвергалось метатезе (а на значительно более поздней стадии упрощалось в -*r*-)[7]. Однако, как уже справедливо отмечалось (ЭССЯ 19, 57), славянский усваивал иранизмы как раз из той восточноиранской (а именно, скифо-сарматской) ветви, где сочетание -*ϑr*- или -*tr*- должно было бы сохраниться[8]. Таким образом, для принятия версии о заимствованном характере слав. **mirъ* нет достаточных оснований. Следовательно, слав. **mirъ* имеет лишь корневые, но не словообразовательные связи.

В этимологической литературе изредка, в ряду иных корневых соответствий (таких, например, как ирл. *móith* ‘нежный’), упоминается и алб. *mirë* ‘хороший’[9]. Нередко, ввиду значения и морфологической характеристики, оно рассматривается как корневая параллель к слав. **milъ* (ЭССЯ 19, 47). Между тем, для слав. **mirъ*, не имеющего никаких сколько-нибудь серьезных словообразовательных соответствий, албанское прилагательное исключительно важно, поскольку оно, будучи точным аналогом **mirъ* в деривационном смысле, отражает редкую по конфигурации славяно-албанскую изоглоссу **без** участия балтийского и, в то же время, проливает свет на словообразовательную модель, лежащую в основе слав. **mirъ*.

В отличие от подавляющего большинства албанских прилагательных, в которых было проведено обобщение одной из праалбанских акцентных моделей, алб. *mirë* представляет собой архаизм, восходящий в праалбанском к незасвидетельствованному у существительных подвижному типу (типу *C*): ед.ч. **mirá* ~ мн.ч. **mírō*[10]. Как было показано в другом месте[11], этот тип подвижности у прилагательных взаимно дополнителен с неподвижным акцентным типом *A* у праалбанских существительных, который, в свою очередь, регулярно соответствует индоевропейским основам с окситонезой. Таким образом, соответствие алб. *mirë* < **mirá* ~ слав. **mirъ* (а.п. *c*)[12] безукоризненно и в акцентологическом плане.

Сопоставление славянского слова с албанским существенно и еще в одном отношении: оно так или иначе требует от нас отказаться от понимания формы **mirъ* как исходного существительного с архаичным

суффиксальным *-*r*- того же характера, что и в слав. **darъ* ~ греч. δῶρον[13]. Скорее, ввиду грамматического статуса алб. *mirë,* естественно было бы видеть в славянском субстантивированное прилагательное на *-*ro*- типа **rъdrъ* 'красный' или **ostrъ* 'острый' – в соответствии с проницательным замечанием Мейе[14]. В таком случае, скорее всего не имеет прямого характера и семантическая деривация от значения корня **mēi-* 'связывать' к **mirъ* 'дружба, согласие, спокойствие' – развитие здесь должно было быть опосредовано адъективным значением 'милый, любимый'. В целом же, у нас есть достаточные основания, чтобы говорить о славяно-албанской изоглоссе, четко выделяющейся на фоне других корневых соответствий **mēi-*.

Слав. **paxъ*

Наряду с вынесенной в заголовок формой, обозначающей 'пах' (болг. *пах,* чеш. *pach,* рус. *пах*), могут с уверенностью реконструироваться и формы **paxa,* а также **paxy*, род. пад. **paxъve* со значением 'подмышка': польск. *pacha,* рус. *паха*, укр. *паха, пахва,* блр. *пахва* (Фасмер III, 220). Оставляя в стороне давно оставленные за некорректностью или необоснованностью сближения[15], убеждаемся в том, что и формально приемлемые этимологии слав. **paxъ* едва ли могут рассматриваться сегодня как правдоподобные. Вопреки Брюкнеру (Brückner, 389), случайный характер носит сходство нашего слова с чеш. *paže* 'плечо', словац. *podpažie*'подмышка' (к **pazъ*?). С другой стороны, не слишком привлекательна идея о родстве **paxъ* с др.-инд. *pakṣá* 'часть тела, сторона, бок' (Педерсен *apud* Фасмер III, 220), но также (и в первую очередь!) 'крыло, перо'.

Известные проблемы порождаются, собственно говоря, не только семантикой слова (о чем ниже), но и особенностями его звукового строения, прежде всего, наличием немотивированного в историко-фонетическом плане интервокального *-*x*-. Как и в других подобных случаях, этимолог вынужден либо искать вне славянского материала соответствия, содержащие срединное сочетание *-*ks*-, что в данном случае не сулит серьезных результатов, либо исходить, оставаясь в рамках славянского, из презумпции аналогического или суффиксального происхождения *-*x*-.

Само сочетание значений 'пах' и 'подмышка' в одном слове достаточно ясно указывает на то, какой могла быть его исходная семантическая структура. Несомненно, перед нами не старое название части тела, а инновация, направленная на то, чтобы создать анатомический термин, который восполнял бы лакуны старой, унаследованной от индоевропейского системы наименований; в этой системе, как известно, имелась лишь сравнительно скудная номенклатура конечностей и, в особенности, с г и б о в и с о е д и н е н и й конечностей. Видимо, и в нашем случае речь идет о создании термина типа *iūnctūra* или *iūnctus* (на основе *iungō* 'соединять'), а значит, можно было бы

предполагать и похожую мотивацию, лежащую в основе слав. **paxъ*.

Исходя из этого, кажется перспективным сопоставление слав. **paxъ*, **paxa* 'пах, подмышка' ← 'соединение' с **pojiti* ~ **pajati* 'связывать, соединять' (и далее – 'паять', если только **pajati* в этом значении не является омонимом, продолжающим **pojiti* 'поить', см. Фасмер III, 224; Machek[2] 468). Хотя большее распространение получило префиксальное образование **sъpojiti* ~ **sъpajati*, бесприставочная форма **pojiti* также сохранилась в западнославянском: чеш. *pojiti*, польск. *poić*. В таком случае **paxъ* так же относится к **pajati* ~ **pojiti*, как **maxъ* и **maxati* – к **majati*, **směxъ* – к **smьjati* (*sę*), **grěxъ* – к **grě(ja)ti* и **spěxъ* – к **spěti* (ср. ЭССЯ 7, 115), то есть представляет собой образование с суф. *-*x*- из старого *-*s*-. Существенной особенностью (применительно как к **paxъ*, так и к **maxъ*) является, правда, то, что эволюция *-*s*- > *-*x*- не обусловлена фонетическими факторами (в отличие от **směxъ*, **grěxъ* и **spěxъ*) и, видимо, осуществилась по аналогии, примерно так же, как подобный процесс протекал во флексии[16].

Рус. *парень*

Слово *парень* фиксируется, судя по последним данным, только в конце XVI в.[17] и исходно ограничивалось только великорусскими говорами, поскольку редкое укр. *парень* (Гринченко III, 96) следует, видимо, считать русским заимствованием[18]. Этимологически эта лексема остается совершенно неясной. Старое объяснение, видевшее в *парень* уменьшительное от *паробок* (Фасмер III, 206), неприемлемо в словообразовательном плане. Пришедшая ей на смену изобретательная версия В.Н. Топорова[19], толкующая слово *парень* как глубоко архаичный термин восточнославянской социальной организации, усвоенный из иранского *parna* < **xvarna*-, основывается на неверной интерпретации ряда иранских фактов и настолько преувеличивает место соответствующих значений в семантической иерарии иранского слова, что, в конечном счете, только отдаляет нас от этимологической интерпретации данного позднего славянского локализма.

Варианты слова *парень*, как оно фиксируется в словарях (Даль III, 18, 21; СРНГ 25, 223 и 250), особенно же *паря*, как будто бы, однозначно свидетельствуют о корректности реконструкции формы **parę*, род. пад. **paręte* (при всей принципиальной ее условности в данном случае), а значит, и об именном характере слова *парень*. Вместе с тем, вся совокупность употреблений этого слова позволяет рассматривать его не только как термин социально-возрастной классификации (*парни* как молодые неженатые мужчины), но и как более интимный термин добрачного деревенского флирта, входящий в синонимический ряд *миленок*, *дроля*[20] и т.п.

Указанные выше «граничные условия» практически не оставляют нам выбора: слово *парень* должно быть производным от существи-

тельного *пар* или *пара*, так чтобы это соотношение удовлетворяло одной из моделей образования любовных прозвищ. Как можно думать, этим требованиям удовлетворяет рус. *пар, пара* в специфическом значении 'душа, дух, жизнь, животная теплота' (Даль III, 20). Сходная в семантическом плане деривация известна достаточно широко, ср. *душка, душенька, жизненок* 'милый, любезный, желанный, жадобный, жизнь моя' (Даль I, 504, 541). Использование слова *парень* как социального термина приходится в таком случае рассматривать не как начальный, а как конечный результат семантической эволюции.

Примечания

[1] *Аксамітаў А.С.* Дыялектызмы і архаізмы у беларускім сірочым вяселлі // Народнае слова. Мінск, 1976, 190; *Крывіцкі А.А. и др.* Тураўскі слоунік. III. Мінск, 1985, 82.

[2] Едва ли приемлемо сопоставление этого слова, точнее, одного из предполагаемых омонимов (*mirъ 'дружба, согласие, спокойствие'), с лит. *rìmti* 'быть спокойным, успокоиться', что существенно осложняло бы формальную сторону этимологии допущением метатезы. См.: *Otrębski J.* Studia indoeuropeistyczne. Wilno, 1949, 80; *Machek*[2], 364.

[3] Так см. уже: *Буга К.* Lituanica // ИОРЯС XVII, 1, 1912, 16, несмотря на неоднократно высказывавшуюся противоположную точку зрения (ср., например: *Эндзелин И.* Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, 197; *Фасмер* II, 626). Мнение о заимствованном характере названных балтийских форм разделяется в самое последнее время и в ЭССЯ 19, 57, где, по-видимому, предполагается, что они восходят к форме с вторичной огласовкой – **mĕrъ*. Однако едва ли есть необходимость в этом допущении (мотивированном, вероятно, желанием дать корректное фонетическое толкование для лит. *-ie-* ~ лтш. *-ie-*), поскольку известны и другие случаи такой передачи слав. **-i-*, ср. например, лтш. *krìevs* 'русский'. Отмечая этот случай, Буга (Там же) трактует его как отражение диалектной дифтонгизации в древнерусском, что подтверждается, возможно, и рядом финских заимствований из восточнославянского.

[4] Это в известной степени признают и те, кто стремится по возможности свести этимологию **mirъ* к его сравнению с **milъ*: «Разница между **milъ* и **mirъ*, в сущности, носит суффиксальный [...] хотя и древний характер» (ЭССЯ 19, 47).

[5] О значениях этого слова см.: *Thieme P.* Mitra and Aryaman. Connecticut, 1957, *passim*.

[6] См.: *Топоров В.Н.* Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера. // Этимология 1967. М., 1969, 19, и, независимо от него, *Абаев В.И.* Несколько замечаний к славянским этимологиям // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1971, 11. Подробные, хотя и несколько туманные рассуждения относительно социальных категорий, стоящих за слав. **mirъ*, предлагаются – на основе этой этимологии В.Н. Топорова – в статье: *Иванов В.В.* Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен // Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975, 60–66.

[7] См.: Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979, 101–102.

[8] Впрочем, это бесспорно только *до* некоторого хронологического среза, после которого следует еще решить проблему разнобоя в рефлексах, ср. осет. *furt* 'сын' < **putr* при более фонетически продвинутом *xsar* 'власть' < **xsart*.

[9] См.: *Vasmer M.* Studien zur albanesischen Wortforschung. Dorpat, 1921, 43 f, откуда оно впоследствии перекочевывает и в некоторые другие словари. Интересно, что в «Этимологическом словаре славянских языков» оно, s.v. **mirъ*/**mira* отсутствует. Слово *mirë* лексикографически описывается в Kristoforidhi 213–214; *Buchholz O. et al.* Wörterbuch Albanisch–Deutsch. Leipzig, 1977, 325.

[10] О реконструкции праалбанского ударения и его связи с индоевропейским см.: *Орел В.Э.* К реконструкции древнеалбанских акцентных отношений (в сопоставлении со славян-

скими и другими индоевропейскими языками) // Советское славяноведение, 1982, 5, 83–90; *Orel V.E.* Albanian nominal inflexion: Problems of origin. // Zeitschrift für Balkanologie, 1983, XIX, 2, 121–130; *Idem.* Der indogermanische Akzent im Albanischen // Zeitschrift für Balkanologie, 1987, XXIII, 2, 140–150.

[11] См.: *Orel V.E.* Fragen der vergleichenden und historischen Grammatik des Albanischen // Zeitschrift für Balkanologie, 1986, XXII, 1, 86–87.

[12] О принадлежности **mirъ* к акцентной парадигме *c* см., например: *Дыбо В.А.* Славянская акцентология. М., 1981, 93 (относительно производного **mirьnъ*); *Зализняк А.А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985, 137.

[13] Ср.: *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, 36.

[14] См.: *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951, 282.

[15] Как, например, предполагавшаяся связь **paxъ* с **paxnǫti* (*Преображенский* II, 30). Впрочем, заслуживает внимания любопытная семантическая интерпретация, лежащая в основе этой этимологии и ориентированная на внутреннюю реконструкцию значения '(тяжело) дышать' для **paxnǫti*, что позволяет автору далее использовать речения типа *водить пахами* (о лошади), то есть 'тяжело дышать, двигая подреберной частью боков'.

[16] Предложенная выше внутренняя реконструкция **paxъ* как 'соединения', 'сочленения' заставляет задуматься и об этимологическом статусе **paxati* 'пахать, копать', строго говоря, представленного только в польск. *pachać* и рус. *пахать* (отношение к ним чеш. *páchati* и словац. *páchat'* 'делать, совершать, учинять', вообще говоря, не столь очевидно). Не исключено, что перед нами отыменное образование, образованное от того же **paxъ* как обозначения сохи, зрительно напоминающей раздвоенные сочленения паха и подмышки.

[17] По данным Картотеки «Словаря русского языка XI – XVII вв.», согласно указанию в кн.: Из истории русских слов. М., 1993, 129.

[18] Едва ли сюда относится чеш. *párák* 'халтурщик' (ср. *Преображенский* II, 18; *Фасмер* III, 206 – в обоих словарях форма приводится неточно), которое более или менее бесспорно может быть увязано с *párati se*.

[19] См.: *Топоров В.Н.* О происхождении нескольких русских слов: (К связям с индоиранскими источниками) // Этимология 1970. М., 1972, 23–37. Впервые эта этимология вскользь была упомянута в работе: *Тревер К.В.* Древнеиранский термин *parna* (К вопросу о социально-возрастных группах) // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии, 1947, 1, 84.

[20] О последнем см.: *Варбот Ж.Ж.* Заметки по славянской этимологии. // Этимология 1970. М., 1972, 78–81.

А.А. Калашников*

ПОЛЬСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ. I

Pusło и *puślisko*

Существительное *pusło* приводится в Варшавском словаре в значении 'ремень, соединяющий стремя с седлом' (Варшавский словарь V, 438). Там же приведены и формы *puślisko* и *poślisko* (последняя охарактеризована как старая), в том же значении. Какие-либо контексты или ссылки на источники отсутствуют. Авторы Варшавского словаря не предложили объяснения для данных слов. С.Б. Линде

приводит в своем словаре существительные *puślisko* и *poślisko* ср. р. 'стременной ремень; путы, оковы (также перен.)', сопровождая их рядом контекстов, ср.: Dziś ieśli komu urwie się *puślisko* Bardzo słabo na koniu, bardzo siedzi ślisko (W. Potocki. Poczet herbów. 1696); On na grzbiet drżący przyiął *pośliski* Byle od śmierci uniknąć blizkiey (Гораций: "lora sensit", в переводе Ф.Д. Княжнина), также puśliska мн. ч. 'путы' (Linde II, 1278, s. v. *puścić,* правда, с выделением в скобках). Ср. и диал. (окрестности Тыкоцина, совр. Белостоцкое воеводство) *puśliska* мн. ч. 'ремешки, на которых стремена подвешены к седлу' (Karłowicz IV, 456). Наконец, сюда же можно присоединить и вариант *puszlisko*. Эта форма, охарактеризованная как старая, помещена в Варшавском словаре отдельно от предшествующих и определяется как 'часть конской сбруи': Półszle, *puszliska,* nagłówki, cugle tak przedawać, jakośmy ustawili (M. Bielski) (Варшавский словарь V, 442).

А. Брюкнер, рассматривая слово *puślisko* 'ремень у седла', отмеченное с XVI в., вместе с вариантом *puszlisko* (слова *pusło* не приводит), предположил (в осторожной форме), что речь может идти о заимствовании и привел в качестве возможной параллели тур. *pusat* 'конское снаряжение, вооружение' (Brückner 449). На наш взгляд, существует возможность иного объяснения приведенных польских слов. Соотносительные в плане семантики формы находим в русском диалектном материале. Ср. сев.-рус. *пульце* ср. р. 'кожаная мочка, стремя на лыжах для ноги' (Даль[2] III, 538), а также *путло́* ср. р., *путлище* 'путо, пута, чем путают коней; ремень, на котором привешено к седлу стремя; три нити от верхних углов и середины бумажного змея, сходящиеся в одну точку, где привязывается возжица для спуска змея', *пу́тло, пу́тли* мн. ч. 'путлище бумажного змея' (Даль[2] III, 543, без указ. места). Приведенные русские формы в целом убедительно интерпретировал Я. Калима, реконструировав праформу **pǫtlo*; тогда рус. *пульце* продолжает производное от этой формы с суф. *-ьce,* а для рус. *пу́тло́* восстанавливается праформа с суф. *-ъlo* или *-ьlo*[1]. В форме последнего типа можно было бы видеть и результат вторичного воспроизведения более старого имени с расширенным суффиксом, в духе тенденции к тематизации суффиксальных образований. Обратимся теперь к древнерусскому (старорусскому) материалу, не учтенному (как и возможные инославянские соответствия) Я. Калимой. В "Словаре русского языка XI–XVII вв." находим не только *путло* ср.р. 'ремень, на котором привешено к седлу стремя' и *путлище* ср.р. то же (СлРЯ XI–XVII вв. 21, 62, с примерами XVII в.), но и *пуслище* (с вариантом *пустлище*), с тем же значением, ср.: Снасть седел⟨ь⟩ную, подпруги и *пуслища* и пристуги (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 1028, 113 об. 1576 г.) (СлРЯ XI–XVII вв. 21, 49). Ср. и прилагательное *пуслишный* (*пустлишный*): Куплено тритцать пряжокъ *пустлишных*, дано три алтына (Кн. расх. Болд. м. 134. 1599 г.) (СлРЯ XI–XVII вв. 21, 48). Вернемся теперь к польск. *pusło* 'стременной ремень', для которого мы

предполагаем заимствование из слабо засвидетельствованного вост.-слав. *пусло* (производящего для ст.-рус. *пуслище*), восходящего, в свою очередь, к праслав. **pǫtslo*. Семантическая сторона данного сближения очевидна, вплоть до полного совпадения значений. На вост.-слав. почве соответствующий круг значений представлен у образований разной степени древности, явно исконных. Реконструируемое здесь праслав. **pǫtslo* правомерно рассматривать как соотносительное с упомянутым выше **pǫtlo*. Речь идет об одном из случаев вариантности суффиксальной структуры праславянских имен с суф. *-lo* и *-slo*. Преимущественно к корням с конечным зубным согласным присоединяется суф. *-slo*[2], но известны случаи, подобные данному, ср. **prędlo*: **prędslo*[3].

Таким образом, источником польск. (ст.-польск.) *pusło* 'стременной ремень', *puślisko* 'стременной ремень; путы, оковы' стали восточнославянские формы, восходящие, в конечном счете, к праслав. **pǫtslo*, производному от глагола **pǫtati*.

Sczybry

В польских диалектах (в окрестностях Кракова) отмечено существительное *sczybry* 'валежник, сухие ветки в лесу' (Karłowicz V, 111; Варшавский словарь VI, 54). Уже авторы Варшавского словаря выделили в этом слове корень *szczyb-*. Позднée польское слово не привлекало к себе внимания этимологов, даже при разборе явно родственной лексики. Так, В. Махек, рассматривая чеш. (морав.) и словац. глагол *štibrati* 'обгрызать, обламывать края' и вост.-чеш. *štibra* 'обломок камня, кирпича', отрицает наличие соответствий в других слав. языках и объясняет *štibrati* как итератив от *ščrbiti*, т.е. **ščrbjati*, с переходом *r* → *ir* и перемещением *r* на место *j* (Machek[2] 625). Наиболее убедительное и полное на сегодняшний день исследование соответствующего круга образований принадлежит Л.В. Куркиной[4], которая обосновала существование производных с суффиксальным *-r-* от глаголов **ščebati* и **ščibati*[5]; среди таких производных с отражением ступени удлинения редукции в корне ею рассматриваются приведенные выше чеш. и словац. формы, а также блр. диал. *шчы́бер* 'вьюшка в дымоходе' (Бялькевіч 503) и прилагательные *шчы́бры* и *шчыбра́ву* 'щуплый' (Тураўскі слоўнік 5, 345)[6].

Представляется логичным присоединить сюда же и польск. диал. *sczybry*, поскольку валежник – это хворост, обломанный ветром, ср. значения 'крошить, ломать, драть', реконструируемые для **ščebati* (: укр. *щеба́ти* 'отщипывать, обрывать' (Гринченко IV, 523), рус. *щéбень* 'битый, измельченный камень; природный мелкий камень, галька' (Даль[2] IV, 651) и т.д.). Далее, в чешских диалектах находим не только *štibra* 'осколок камня' и *štibr* 'откушенный щипцами кусок железа' (Kott III, 960), но и ляш. (около Опавы) *štibr* и *štiber* 'щавель' (там же). Кажется возможным включить в число продолжений праслав.

**šč*ibrъ* и эти последние формы: щавель – растение с кислым, едким, острым соком, поэтому названием этого растения может быть производное от глагола со значением 'драть, скрести и под.'.

В заключение остановимся на ст.-польск. существительном *szczebrzuch, szczebrzuchy* 'домашняя утварь' (1423, 1426...; Sł. stpol. VIII, 537–538), также 'имущество; приданое невесты', *szczebrzuch, szczebrzucha* бот. 'кервель листовой, Anthriscus cerefolium Hoffm., овощное растение' (Варшавский словарь VI, 578). Это слово считается производным от слабо засвидетельствованного *szczebry* и сближается с рус. *щебень* (Brückner 543). В таком случае значение 'домашняя утварь, пожитки' логично объяснялось бы как результат развития значения 'мелочь, мелкие вещи'. То же верно и для значения 'овощи, зелень'. Согласно другой версии, ст.-польск. слово представляет собой сложение двух элементов и находит параллель в рус. *стрень-брень* и *стрынь-брынь* 'пожитки'[7]. Решающим аргументом в пользу объяснения А. Брюкнера может считаться фиксация польск. *szczebrzuch* еще в одном значении, на которое при анализе этого слова прежде не обращали внимания, а именно – 'обломок, осколок', ср. цитату из Г. Сенкевича: Żeleźce mi się między żebrami rozszczepiło, i *szczebrzuch* ostał we mnie (Варшавский словарь VI, 578). Недостававшее (предполагавшееся) семантическое звено восстановлено, связь с праслав. **ščebati* может считаться доказанной.

Примечания

[1] *Kalima J.* Zur slavischen Etymologie // ZfslPh. Bd. XX, 1950, 414–415. Ср. также *Фасмер* III, 405, s. v. *пу́льце*, с реконструкцией **pǫtьlьce*, точнее было бы **pǫtlьce*; о рус. *путло́*: *Преображенский* II, 156; *Фасмер* III, 412.

[2] *Meillet A.* Études sur l' étymologie et le vocabulaire du vieux slave. II. Paris, 1905. 415.

[3] *Варбот Ж.Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984. 216–217.

[4] *Куркина Л.В.* Щебра́. Ряжь. Загы́знуть. Про́стень // Современные русские говоры. М., 1991. 175–176.

[5] Специально о праслав. **ščebati* (**ščьbati*) и соотносительном итеративе с удлинением корневого гласного см.: *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. I // Этимология. 1971. М., 1973. 3–4.

[6] *Куркина Л.В.* Указ. соч.

[7] *Otrębski J.* Życie wyrazów w języku polskim (= Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk. Prace komisji filologicznej. T. XII. Zesz. 2). Poznań, 1948. 105 (351). Даль приводит эти слова в значении 'хлам, скарбишка, всякая ветошь, ничтожные пожитки' (*Даль*[2] IV, 339).

Э.П. Хэмп*

ЧИТАЯ "ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ", ВЫП. 17, 18 (**mazati*, **maslo*; Расширения **medъ*: **medovarъ*, **medo-*)

**mazati*, **maslo*

1. С.-хорв. *ма̏зати*, словен. *mázati*, рус. *мáзать*, укр. *мáзати* вкупе с лит. *mė̃žti* 'унавоживать', в соответствии с широко распространенным мнением, свидетельствуют об основе на **g'*. Это правдоподобно, если учесть хорошо обоснованное наблюдение В. Винтера о продлении слогового вокализма в балто-славянском перед индоевропейскими звонкими. Таким образом, мы получаем и.-е. **meg'-*/**mog'-*, и поэтому нет надобности вслед за Покорным (Pokorny I, 696–697) и Безлаем (Bezlaj II, 173) связывать эту балто-славянскую основу с греч. μαγίς и μάγμα или с нем. *machen* и англ. *make*.

Кроме того, мы не можем связывать слав. **mazati* с арм. *aucanem*, поскольку известно, что в армянском все индоевропейские задненебные нейтрализуются после **u* и выступают в виде рефлексов индоевропейских палатальных и что смычный в *aucanem* должен был быть лабиовелярным в позиции после носового, имеющего тенденцию смениться гласным *u*. Эти соображения подтверждаются др.-ирл. *imb*, валл. *(y)m-enyn*, брет. *am-anenn* 'сливочное масло' < **n̥g^w-*, а также формами *unguito* у Катона и *unguere* у Горация; латинские формы без *u* берут начало из *unctum* и под. Таким образом, **meg'-*/**mog'-* остается изолированной формой.

2. В случаях **maslo*, **veslo* и под. предпочтительно избегать допущения избыточного также и в других отношениях индоевропейского суф. **-slo-* и принимать вместо него **-tlo-*. В таком случае, в **maštlo*[1] или **mastlo-* средний согласный закономерно утрачен.

Расширения **medъ*: **medovarъ*, **medo-*

1. В ЭССЯ 18, 56 это имя деятеля рассматривается как именное сложение, возникшее на базе словосочетания **medъ variti*. Нет сомнения в естественности такой сегментации и в том, что такая интерпретация с готовностью принимается носителями языка.

Но при этом остается необъясненным *-o-*, ср. **medvědь* (ЭССЯ 18, 65–66) и *-u-*основу в **medъ* (Там же, 68–62)[1].

---

[1] Реконструкция явно нуждается в авторском комментарии. – Прим. перев.

С другой стороны, такая огласовка *-ov-* < **-eu̯-* совершенно регулярна в производных от **medъ* (см. ЭССЯ 18, 56–59), в частности – в **medovъ* (там же, 58–59). Поэтому предпочтительно членение **medov-* *-ar-*. Загребский вариант *medvar* свидетельствует о новой интерпретации этого сложения, но более старая форма с *-o-* требует иной первичной структуры. Может быть, в засвидетельствованном производном на *-*arьcь* можно видеть остаток агентивной *ь*-основы (*-arь*)?

Стоит отметить, что огласовка, констатированная выше для производных от славянской *-u*-основы, точно соответствует огласовке, представленной для тех же самых основ в древнекельтском[2]. Это ценное свидетельство о правилах индоевропейского словообразования.

2. Теперь можно перейти к следующему полезному замечанию. В ЭССЯ 18, 54–56 на достаточно убедительных основаниях ряд реконструкций отмечен как инновационные или книжные образования: **medoberъ*, **medojědъ*, **medokyšь*, **medonosъ*, **medotočьnъ*. Я склонен добавить к ним также **medolazъ* и **medostavъ*. Иными словами, в действительности подлинно древние сложения с **medo-* отсутствуют, что как раз и следовало ожидать с точки зрения индоевропейского. Это значит, что перед вторым компонентом с начальным неслогообразующим звуком (оставляя в стороне, во всяком случае, **medojědъ* vs. **medvědь*) ожидается *ъ, но не **o*.

Но если рассматриваемые случаи **medo-* (с *-o-*) были инновациями, мы должны задаться вопросом, как такие формы развились – что послужило моделью для аналогии, потому что мы не вправе предполагать, будто новые формы возникают *ex nihilo*. Я предлагаю считать, что источником явилась последовательность *-*ou̯-* > *-*ov-*, рассмотренная выше, так что в результате появился как будто второй компонент на *-*(o)u*, как мы видели в случае **medovarъ*. Это и есть мостик к рассматриваемым формам.

Перевел с английского *О.Н. Трубачев*

Примечания

[1] Дальнейшие индоевропейские сравнения см.: *Hamp E.P.* The need to know the answer before starting a comparison // CLS. 26. 1990, 9–24.

[2] *Hamp E.P.* // Bulletin of the Board of Celtic Studies 30, 1983, 288–289; *Idem.* // Studia Celtica 26–27, 1991–1992, 18.

В.В. Сырочкин[*]

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. II[**]

9. Праслав. **bara* ‘лужа’ (реабилитация старой этимологии)

Давно была выдвинута формально безупречная гипотеза о родстве между праслав. **borъ* ‘бор, сосна’ и праслав. **bara* ‘лужа, болото’. Как указал О.Н. Трубачев, праслав. **borъ* "помимо основных значений... выступает в первую очередь как обозначение сухих, песчаных, возвышенных мест..." (ЭССЯ 2, 217). На основании указанного факта в ЭССЯ отвергается возможность сближения праслав. **borъ* с праслав. **bara*. Однако при этом не учитывается возможность того, что именно семантика праслав. **bara* может быть вторичной по отношению к семантике праслав. **borъ*. Как мы убедимся, признание вторичности семантики праслав. **bara* дает ключ к решению проблемы. Прежде всего, может быть, стоит указать на укр. диал. *бари́ло* ‘возвышенность (в общем значении)’, которое связано с праслав. **bara* (ЭССЯ 1, 153) и допускает прямое сближение с рус. диал. *бор* ‘возвышенное место’ (ЭССЯ 2, 216). Далее, обратим внимание на значение ‘вереск’, встречающееся в семантике континуант праслав. **borъ*, **borovina*, **borovika* (ЭССЯ 2, 209, 210, 216). Может возникнуть сомнение: связаны ли друг с другом значения ‘бор’ и ‘вереск’? Точную семантическую аналогию представляют лит. *šĩlas* ‘бор (хвойный лес); вереск’, *šilaĩnė* ‘боровые пески’, *šilỹnė* то же, *šilýnas* ‘вересковые заросли’, *šilìnis* ‘боровой; вересковый’, *šìlžemis* ‘боровые пески’, лтш. *sils* ‘бор (сосновый)’. Приведенная аналогия доказывает, что отнесение авторами ЭССЯ рус. диал. *бор* ‘вереск’ к праслав. **bъrъ* (ЭССЯ 3, 135) – явный просмотр (возникает и противоречие с материалом статьи **borъ* в ЭССЯ 2). Далее, отметим, что праслав. **bara* ‘болото’ прекрасно сопоставляется с праслав. **borъ* ‘вереск’. Ср. как параллель англ. *heath* ‘пустошь, болотистая местность, поросшая вереском, (бот.) вереск’, *heathery* ‘поросший вереском’, *heather* ‘вереск; болото, покрытое вереском, вересковая пустошь’, *heathy* ‘вересковый’, нем. *Heide* ‘пустошь; поле, луг’, *Heidekraut* ‘вереск’ (нем. *Kraut* означает ‘трава’), гот. *haiþi* ‘степь; невозделанное поле, выгон’. Следует обратить внимание на семантическую близость между вышеприведенными нем. *Heide* ‘поле, луг’, гот. *haiþi* ‘невозделанное поле, выгон’ и с.-хорв. *ба̏ра* ‘луг’, *bâpje* ‘поле под водой’, восходящими соответственно к праслав.

---

[*] © В.В. Сырочкин

[**] Предшествующая статья этой серии помещена в томе Этимология. 1991—1993. М., 1994.

**bara*, **barьje* (см. ЭССЯ 1, 153, 160). Стоит обратить внимание и на семантику блр. диал. *баравiнá* 'вереск с другими травами в хвойном лесу, служит пастбищем', продолжающего праслав. **borovina* (ЭССЯ 2, 210). Вообще, как мы увидим, семантика континуант праслав. **borovina* весьма примечательна. Во-первых, надо обратить внимание на элемент значения 'болото' в семантике рус. диал. *боровúна* 'возвышенное, покрытое лесом место – остров среди болота', восходящего к праслав. **borovina* (ЭССЯ 2, 210). Ср. описание Блудова болота в сказке М.М. Пришвина: "...И в болотах бывают холмы. У нас... эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Борина с лесом сосновым и звонким на суходоле..."[1]; "торфа хватит для работы большой фабрики лет на сто"[2]. Становится понятной семантика польск. *borowina* 'торф', также восходящего к праслав. **borovina* (ЭССЯ 2, 210). Надо сказать, что связь между значениями 'болото', 'сосна' и 'торф' – устойчивая закономерность. Ср. как параллель взаимно родственные с.-хорв. диал. *čret* 'болотистый лес, торф', словен. *črêt* 'болотистая местность; горная сосна Pinus pumilio' (ЭССЯ 4, 80). Ясно, что словац. *bor* 'торф' (ЭССЯ 2, 218) нельзя отрывать от польск. *borowina* 'торф' (см. выше), а значит – и от словац. *bor, bôr* 'сосна, сосновый бор' (ЭССЯ 2, 216). Отнесение словац. *bor* 'торф' к праслав. **borъ* 'сбор, выбор, отбор' (см. так ЭССЯ 2, 218) – явный просмотр авторов ЭССЯ (ведь польск. *borowina* 'торф' может быть связано только с **borъ* 'сосновый бор'). Точно так же и рус. диал. *бор* 'глина', которое в ЭССЯ относят к праслав. **borъ* 'сбор, выбор' (ЭССЯ 2, 218), на самом деле, очевидно, нельзя отрывать от рус. диал. *бор* 'участок пашни с песчаной или глинистой землей', восходящего к праслав. **borъ* 'сосновый бор' (см. ЭССЯ 2, 216); причем существенно, что оба диалектизма – из одной и той же Калининской области (ЭССЯ 2, 216, 218). То, что рус. диал. *бор* 'глина' (см. выше) никак нельзя отрывать от словин. *bŏ́r* 'сухая, неплодородная почва', восходящего к праслав. **borъ* 'сосновый бор' (см. ЭССЯ 2, 216), вполне доказывается аналогией со взаимно родственными болг. диал. *йéлọвица* 'глинистая почва', *éлуицъ* 'глинистая неплодородная почва, трудно обрабатываемая' и макед. *јаловица* 'бесплодная земля', словен. *jálovica* то же, которые восходят к праслав. **alovica*, производному от праслав. **alova(ja)* 'бесплодная' (ЭССЯ 1, 66–67). Далее, отметим, что болг. *бáра* 'стоячая вода, лужа', восходящее к праслав. **bara* (ЭССЯ 1, 153), прекрасно сопоставляется с польск. *borowina* 'торф', рус. диал. *бор* то же (см. ЭССЯ 2, 210, 218). Точную параллель представляют собой взаимно родственные лит. *kū́dra* 'пруд', *kū́drinis* 'прудовый' и лтш. *kūdra* 'торф', *kūdrājs* 'торфяник, торфяное болото'. Процитируем вновь Пришвина: "...Всё Блудово болото, со всеми своими огромными запасами горючего, торфа... Тут был... пласт торфа..."[3]. Особенное внимание обратим на значение 'место, где был

сосновый бор' в семантике польск. *borowina* (ЭССЯ 2, 210), а также на польск. *borowina* в знач. '(мед.) г р я з и'[4]. Ясно, что польск. *borowina* 'грязи', *borowinowy* 'г р я з е в о й' можно напрямую сопоставить со словен. *bára* 'болото, топь', чеш. диал. *bara* 'большое болото', полаб. *poro* 'болото, грязь', восходящими к праслав. **bara* (см. ЭССЯ 1, 153), ц.-слав. *бара* 'болото'[5]. Данное сопоставление – весьма убедительный аргумент в пользу сближения праслав. **bara* с праслав. **borъ*. Рассмотрим, далее, польск. диал. *borowina* 'раскорчеванный участок, раскорчеванное поле', *borowisko* то же (из **boroviščе*)[6]. С указанными лексемами прекрасно сопоставляется праслав. **bara* 'лужа; болото; луг' (см. ЭССЯ 1, 153). Точную семантическую параллель имеем во взаимно родственных макед. *лéдина* 'хорошо увлажненный луг', рус. диал. *ляди́на* 'поле на месте раскорчеванного леса, кустарника; лесная вырубка; трясина, топь; болото; лужа', укр. *лядина* 'с о с н а, р а с т у щ а я н а л я д е' (ср. праслав. **borъ*), которые восходят к праслав. **lędina* (см. ЭССЯ 15, 41–43), рус. диал. *ляди́на* 'болотистое место' (Донск. словарь[2] 1, 292), а также рус. диал. *ля́до, лядá* 'поле на месте раскорчеванного леса, кустарника; луг; болото; озеро', укр. *ля́до* 'в о з в ы ш е н н о е м е с т о в л е с у, з а р о с ш е е с т р о е в о й с о с н о й', *ládo* 'с о с н о в ы й л е с н а с у х о й п о ч в е' (ср. праслав. **borъ*), которые восходят к праслав. **lędo*/**lęda* (ЭССЯ 15, 44–45). В заключение еще раз подчеркнем, что польск. *borowina* '(мед.) грязи', *borowinowy* 'грязевой' (см. выше) можно н а п р я м у ю сопоставить с праслав. **bara* 'болото'. В следующем этюде будет углублено исследование праслав. **borъ*, **bara*.

10. Праслав. **borъ* 'сосна' (новый подход)

Праслав. **borъ* 'сосна, сосновый бор', как и праслав. **borvъ* 'кастрированное животное', восходит к дослав. **bhoru-* (ЭССЯ 2, 215–216). Такая формальная близость наводит на мысль о возможности глубокой связи и общего происхождения указанных лексем. Словин. *bőr* 'сухая, неплодородная земля', рус. диал. *бор* 'участок пашни с песчаной или глинистой землей; глина' (ЭССЯ 2, 216, 218), восходящие к праслав. **borъ*, допустимо напрямую сопоставить со словен. *brâv* 'кладеный баран', рус. диал. *бóров* 'кастрированный бык', которые продолжают праслав. **borvъ* (см. ЭССЯ 2, 214–215). Точную семантическую параллель имеем во взаимно родственных болг. диал. *йéлọвица* 'глинистая почва', *éлуицъ* 'глинистая неплодородная земля, трудно обрабатываемая', макед. *јаловица* 'бесплодная земля' и *јаловак* 'кастрированное животное (бык, коньˇ)', с.-хорв. *јалòвац* 'кладеный баран', которые связаны с праслав. **alovъjъ* 'бесплодный' (см. ЭССЯ 1,

66–69). Подобная связь значений закономерна. Сравните как аналогию взаимно родственные лат. *sterilis* 'неплодородный (о земельном участке); бесплодный (о животных и человеке); пустой (о руке)', *vir sterilis* 'евнух', *sterilitās* 'неплодородие (земли); бесплодие (женщины)', греч. στεῖρος 'яловый, бесплодный', στεῖρα 'яловка (о корове); бесплодная женщина', др.-инд. *starī́-* 'неплодовитая корова; телка'[7]. Особое внимание обратим на семантику лат. *sterilis* 'бесплодный; пустой (о руке); безлюдный, пустынный (о виде); лишенный чего-л.' По аналогии, мы можем приписать раннепраслав. **borъ* исходное значение 'пустошь'. При этом праслав. **borъ* оказывается семантически близким (первоначально) к праслав. **lędo* 'лядо, пустошь, плохая земля'. Прекрасную аналогию имеем в рус. диал. *яловина* 'лядо, запущенная, плохая земля', восходящем к праслав. **alovina*, производному от праслав. **alovъjь* 'яловый, бесплодный' (см. ЭССЯ 1, 67), родственного лтш. *ālava* 'яловая корова', лит. диал. *olaus* 'холостой' (ЭССЯ 1, 68). Из древнего значения 'лядо, пустошь' можно объяснить семантику и праслав. **borъ* 'сосна, бор', и праслав. **bara* 'болото, лужа; луг' (см. ЭССЯ 1, 153), и польск. диал. *borowina* 'раскорчеванный участок, раскорчеванное поле', *borowisko* (из **borovišče*) то же[8], и рус. диал. *боровúна* 'возвышенное, покрытое лесом место – остров среди болота' (см. ЭССЯ 2, 210), и чеш. диал. *bařena* 'трещина, щель' (см. ЭССЯ 1, 160). Точную параллель имеем во взаимно родственных макед. *ледина* 'хорошо увлажненный луг', с.-хорв. *lèdina* 'пустошь, необработанная земля', рус. диал. *ля́дúна* 'вырубленное и выжженное под пашню или сенокос место в лесу, росчисть; поле на месте выкорчеванного леса, кустарника; голое, пустое место среди посевов (где ничего не родится); залежь, пустошь; лесная вырубка; сухой холм среди болота; трясина, топь; болото; лужа; рытвина, яма' (ср. чеш. *bařena*), укр. *лядина* 'сосна, растущая на ляде', которые восходят к праслав. **lędina*, производному от **lędo* (см. ЭССЯ 15, 41–42). Особенно показательна семантика укр. диал. *ládo* 'сосновый лес на сухой почве', продолжающего праслав. **lędo* 'пустошь, пустынная местность; пустырь; раскорчеванный участок' (ЭССЯ 15, 44–45). Важно отметить, что связь между значениями 'раскорчеванный участок' и 'сосна' – устойчивая семантическая закономерность. Ср. как аналогию взаимно родственные ст.-чеш. *klučě, kluče* 'раскорчеванное место', чеш. диал. *kl'č* 'лес, раскорчеванный под пашню', польск. диал. *kiełcz, kiołcz* 'сосна, ветка сосны', чеш. *klučiti* 'корчевать' (ЭССЯ 13, 184). Далее, значение 'песчаное место' в семантике некоторых континуант праслав. **borъ* (ЭССЯ 2, 216) возникло, видимо, из более древнего значения 'бесплодная земля'. Сравните как параллель лит. *kiaurãžemis* 'бесплодная почва; пески' при лтш. *caurs* 'пустой, бесплодный'. Герм. *baru-* 'лес', видимо, заимствовано из славянского.

11. Лит. *galė́ti* (новый подход)

Иногда лит. *galė́ti, galiù* 'мочь, быть в состоянии, иметь возможность', *galià* 'сила, мощь' сравнивают с ирл. *gal* 'храбрость' (см. Фасмер I, 434). Обратим внимание, что лит. *nugalė́ti* 'победить; побороть; осилить; одолеть, возобладать', *nugalė́jimas* 'победа; преодоление' можно напрямую сблизить с лит. *gãlas* 'конец; кусок; смерть, кончина'. Ср. как параллель словац. диал. *konat'* 'одолевать', польск. стар. *konać* 'побеждать, одолевать', ст.-укр. *конати* 'одолевать', которые восходят к праслав. **konati*, связанному с праслав. **konъ* 'конец' (см. ЭССЯ 10, 181–182). Обратим, далее, внимание на семантику сербохорв. *ко̑нати* 'терпеть, переносить', продолжающего праслав. **konati* (ЭССЯ 10, 181). Значение 'терпеть' тесно связано со значением 'преодолевать'. Сравните др.-инд. *sáhate* 'переносит, терпит', *saha-* 'претерпевающий, преодолевающий; сильный, могучий', *sáhas-* 'победа; сила, мощь', *sā́ha-* 'могучий; преодолевающий', *utsáhate* 'выносит, выдерживает', (inf.) 'быть в состоянии, мочь' (ср. лит. *galė́ti*). С др.-инд. *sáhas-* 'победа; сила, мощь' (см. выше) сравните лит. *galià* 'сила, мощь'. Заметим, что др.-инд. *sáhas-* родственно гот. *sigis* 'победа'[9]. Далее, лит. *galė́ti* родственно лтш. *galēt* 'одолевать; убивать, умерщвлять', которое напрямую можно связать с лтш. *gals* 'конец; смерть'. Ср. рус. диал. *доконáть* 'убить' (ЭССЯ 5, 58), ст.-укр. *конати* 'одолевать' (ЭССЯ 10, 182), связанные с праслав. **konъ* 'конец; смерть'. Далее, лит. *galúoti* 'мучить, изнурять, убивать' нельзя отделять от лит. *gãlas* 'конец'. Сравните лит. *baĩgti* 'кончить, кончать; мучить, изнурять', *baigà* 'окончание, завершение'. А теперь приведем главный пример. Семантическое расхождение между лит. *galià* 'сила, мощь; сила (закона, документа)', *galìnis* 'концевой, конечный; крайний', *galúoti* 'убивать', *gãlas* 'конец; смерть' в точности такое же, как и между взаимно родственными греч. ἐπι-τελεστικός 'завершающий; крепкий, сильный', τελεῖν 'кончать, оканчивать; умерщвлять, убивать' (ср. лтш. *galināt* 'убивать'), τελευταῖος 'конечный, крайний; задний' (ср. лит. *ùžgalis* 'задок (например, телеги)'), τελευτή 'конец; окраина, край, оконечность; смерть', τέλος, -εος 'конец; смерть; законная сила, полномочия' (ср. лит. *galià* в том же значении), τέλσον 'конец, предел, край', ἐν-τελής 'возмужалый, сильный'. См. следующий этюд.

12. Праслав. **golěmъ* < **golěti*

Обратим внимание, что семантическое расхождение между болг. *голѣ́мый* 'взрослый' (ЭССЯ 6, 202), лит. *galià* 'сила', *gãlas* 'конец; смерть' в точности такое же, как и между взаимно родственными греч. ἐν-τελής 'взрослый; сильный', ἐπι-τελεστιχός 'завершающий; крепкий, сильный', τελειοῦν 'заканчивать;

достигать зрелости, созревать', συν-τέλεια 'завершение, окончание; зрелость', τέλος, -εος 'конец; смерть', τελευτή 'конец; окраина, край, оконечность', τέλσον 'конец, предел, край', ἐκ-τελής 'законченный, совершенный; зрелый, взрослый; созревший, спелый'. По аналогии, можно предположить, что первоначально праслав. **golětъ* имело значение 'взрослый; зрелый; спелый', которое вполне соответствовало семантике лит. *galià* 'сила, мощь', *galė́ti* 'мочь, быть в состоянии; иметь возможность'. Сравните как аналогию взаимно родственные чеш. *dospělý* 'спелый, зрелый; совершеннолетний', с.-хорв. *дȍспјети* 'созреть', диал. 'кончить' (ср. лит. *gãlas*, лтш. *gals*), польск. *dośpieć*, *dośpiać* 'поспеть, созреть; развиться', рус.-цслав. *доспѣти* 'окончить, соорудить' (ЭССЯ 5, 83), 'завершить, покончить'[10] и лтш. *spēt* 'мочь, быть в состоянии', *spēcīgs* 'сильный, крепкий', *spēks* 'сила, мощь, энергия; власть' (ср. лит. *galià*), *spēkoties* 'бороться' (ср. лит. *galynė́tis* то же), *pārspēt* 'одолеть, осилить, превзойти' (ср. лит. *nugalė́ti* то же). Весьма замечательно сочетание значений 'созреть' и 'кончить' в семантике вышеприведенного с.-хорв. *дȍспјети*. Это хорошее подтверждение правильности излагаемой реконструкции. Значения 'большой, крупный' в семантике праслав. **golětъ* (ЭССЯ 6, 202–203), видимо, произошли из более древних значений 'спелый, зрелый, взрослый'. В качестве параллели приведем греч. ἁδρός 'спелый, созревший; крупный, большой, массивный, рослый, крепкий', ἁδροσύνη 'спелость', ἁδροτής, -ῆτος 'зрелость; сила, крепость'. К древнему значению 'зрелый', видимо, восходит семантика болг. *голѣ́мый* 'взрослый, старший', *голя́м* 'сильный, буйный, стремительный' (см. ЭССЯ 6, 202). Совершенно точную параллель имеем в др.-инд. *jaraṭha-* 'старый; сильный, крепкий; бурный, стремительный', родственном праслав. **zьrěti* 'зреть, созревать, спеть'. Далее, приведём как аналогию болг. *ма́тор* 'крепкий, здоровый; зрелый; старый' (Фасмер II, 581), рус. диал. *матёрый* 'большой, плотный, здоровый; возмужалый; взрослый' (Преображенский II, 515), ц.-слав. *матерый* 'зрелый, пожилой'[11]. Итак, суперлативные значения в семантике праслав. **golětъ*, по-видимому, вторичны. Более древние значения уцелели в семантике болг. *голѣмый* 'взрослый, старший' (см. выше). Правильна, видимо, реконструкция **golě-tъ*, трактующая эту лексему как прич. страд. наст. от исчезнувшего слав. ***golěti*, родственного лит. *galė́ti* (ср. иначе ЭССЯ 6, 203). Раннепраслав. ***golěti* 'зреть, спеть' относилось бы к лит. *galė́ti* 'мочь, быть в состоянии' как праслав. **spěti* 'спеть, зреть' к лтш. *spēt* 'мочь, быть в состоянии'. В следующем этюде будут приведены другие аргументы в пользу изложенной реконструкции. Сравните еще как аналогию греч. ἀκμή 'край, кончик, остриё; сила, мощь', ἀκμαῖος 'созревший', ἀκμάζειν 'достигать зрелости'.

13. Праслав. **golъ* ‘голый’ (принципиально новый подход)

Напомним, что в предыдущем этюде была доказана возможность реконструкции для праслав. **golěmъ* древнейших значений ‘в з р о с л ы й, з р е л ы й, с п е л ы й, м а т ё р ы й, с т а р ы й’. Основанием для такой реконструкции послужила, в частности, семантика болг. *голѣмый* ‘взрослый, старший’ (см. ЭССЯ 6, 202). Покажем, что, как это ни удивительно, с раннепраслав. **golěmъ* *‘зрелый, спелый, матёрый, крепкий’ допустимо сблизить блр. диал. *го́лы* ‘ч и с т ы й’ (см. ЭССЯ 7, 15), реконструируя для праслав. **golъ* древнее значение ‘ч и с т ы й, с в е т л ы й, я р к и й, я с н ы й’. В самом деле, во-первых, ср. как параллель лат. *pūrus* ‘чистый; пустой, открытый; б е з в о л о с ы й; г о л ы й; я с н ы й, с в е т л ы й’. Во-вторых, прекрасную аналогию имеем во взаимно родственных н.-луж. диал. *jedyrny, jědyrny* ‘р а н н и й, с п е л ы й’, рус. диал. *ядрёный* ‘крупный’ (ср. праслав. **golěmъ* в том же значении), ‘к р е п к и й, м а т ё р ы й, з д о р о в ы й’, *ядрино*, нареч. ‘с в е т л о, я р к о’ (см. ЭССЯ 6, 67). Эта великолепная аналогия позволяет напрямую сблизить раннепраслав. **golъ* *‘чистый, светлый, яркий’ с праслав. **golěmъ* ‘крупный; взрослый; старший’ (см. ЭССЯ 6, 202). Здесь мы сталкиваемся с устойчивой семантической закономерностью. Сравните лат. *mātūrus* ‘зрелый, спелый; в з р о сл ы й’ (ср. болг. *голѣмый*), ‘старый; я р к и й (например, о с в е т е, с о л н ц е)’. Далее, обратим внимание, что рус. диал. *ядрёный*, рассматривавшееся нами выше, имеет еще значение ‘свежий’ (ЭССЯ 6, 67). По аналогии, для раннепраслав. **golъ* можно реконструировать исчезнувшее значение ‘свежий’. При такой реконструкции появляется возможность сблизить блр. диал. *го́лы* ‘чистый’ (ЭССЯ 7, 15) с лит. *gẽlas* ‘пресный (о воде)’, *gẽlinti* ‘опреснять (воду)’. Ср. англ. *fresh* ‘свежий; я р к и й (о к р а с к а х); ч и с т ы й (о р у б а ш к е)’ (ср. праслав. **golъ*), ‘п р е с н ы й (о в о д е)’, *to freshen* ‘о п р е с н я т ь (в о д у)’ (ср. лит. *gẽlas*), нем. *frisch* ‘свежий, бодрый, здоровый’. Заметим, далее, что с блр. диал. *го́лы* ‘чистый’ (см. выше) семантически согласуются рус. диал. *го́лый* ‘весь, целый’ (Донск. словарь[2] 1, 113), с.-хорв. диал. *gȍji* ‘сплошной’, словац. *holý* ‘сплошной, ч и с т ы й’, в.-луж. *hoły* ‘сплошной’ (см. ЭССЯ, 7, 14), лтш. *gāle* ‘ледяная кора (на чем-л.)’. Во-первых, сравните англ. *clear* ‘ясный, светлый; чистый, прозрачный; п о л н ы й, ц е л ы й; в е с ь’, *to clear* ‘очищать’. Далее, ср. взаимно родственные словен. *čist* ‘бритый, безбородый’ (ср. праслав. **goliti* ‘брить’), н.-луж. *cysty* ‘чистый, ясный; светлый, простой’, др.-рус. *чистый* ‘открытый; свободный; с п л о ш н о й’, чеш. диал. *čistec* ‘н а л е д ь’ (ср. лтш. *gāle*) (см. ЭССЯ 4, 120–121). Рассмотрим также болг. *чи́тав* ‘ц е л ы й, н е в р е д и м ы й’, (диал.) ‘чистый’ (ЭССЯ 4, 123). Итак, семантика праслав. **golъ*, лтш. *gāle* убедительно объясняется как вторичная по отношению к

семантике лит. *galė́ti, gãlas*, лтш. *galēt, gals*, праслав. **golěmъ*. Поэтому прямолинейное возведение праслав. **golъ(jь)* к и.-е. **ghel-* представляется иллюзорным. В то же время лит. *gãlas* 'конец', *galū̃nė* 'верхушка (например, дерева); кончик' лтш. *gals* 'конец', *galotne* 'макушка, верхушка (дерева), (мат.) вершина (угла, фигуры)' едва ли можно отрывать от лит. *galvà* 'голова', лтш. *galva*, праслав. **golva*, **žely*, и.-е. **ghelu-*. Ср. лат. *caput* 'голова; к р а й, к о н е ц; в е р ш и н а, в е р х у ш к а'. Ср. также ц.-слав. *верхъ* 'вершина, голова'[12]. Что касается нем. *kahl* 'голый, лысый', то, как правильно отмечено в ЭССЯ, это слово лучше оставить в стороне (ЭССЯ 7, 15). Что касается праслав. **guliti*, **žuliti*, то эти лексемы можно связать с праслав. **golъ*, если допустить, что речь идет о ложноапофонических рядах. Ср. огласовку лит. *gẽlas* 'пресный (о воде)', которое, как показано выше, можно сблизить с праслав **golъ* в древнем значении 'чистый'.

14. Праслав. **krъtъ* 'крот' (новый подход)

Семантическое расхождение между болг. диал. *кртúца* 'к у ч к а з е м л и, к о ч к а', континуантой праслав. **krъtica* (ЭССЯ 13, 55), и лит. *krūtìs* 'грудь', лтш. *krūtis* то же, *krūts* '(женская) грудь' совпадает с различием в семантике между взаимно родственными болг. *грýда* 'к о ч к а', *грждá* 'грудь', укр. *грýдá* 'к о ч к и', рус. диал. *грýда* 'грудь; к о м з е м л и; к у ч а; н а с ы п н а я г о р к а' (см. ЭССЯ 7, 146–147). Данная аналогия показывает, что лит. *krūtìs* 'грудь' нельзя отрывать от лит. *krū́tis* 'куча', родственного праслав. **kryti* 'оберегать, защищать, покрывать' (см. ЭССЯ 13, 71). Заметим, далее, что болг. диал. *кртúца* 'кучка земли, кочка' прекрасно сближается не только с лит. *krūtìs* 'грудь', *krū́tis* 'куча', но и с лит. *krūvà* 'куча, г р у д а', лтш. *kruva* 'куча', *kruveši* 'замерзшая грязь', *kruvešains* 'покрытый замерзшей грязью; бугорчатый', тоже родственными праслав. **kryti* (см. ЭССЯ 13, 72). Совершенно точную семантическую аналогию имеем во взаимно родственных болг. *грýда* 'кочка', *гръдá* 'грудь', укр. *грýдá* 'з а м е р з ш а я к о м к а м и з е м л я; к о ч к и', *грудóк* 'б у г о р', рус. диал. *грýда* 'з а м е р з ш а я г р я з ь н а у л и ц е, н а д о р о г е; грудь', *груд* 'куча, груда' (см. ЭССЯ 7, 146–147). Итак, можно предположить, что первоначально праслав. **krъtъ* имело значения 'к у ч а, г р у д а, б у г о р, н а с ы п ь, к о ч к а'. Из подобных значений хорошо объясняется семантика с.-хорв. диал. *кр̏т* 'кротовая кочка', восходящего к праслав. **krъtъ* (см. ЭССЯ 13, 57). Точную аналогию находим во взаимно родственных чеш. *kupa* 'куча, груда', в.-луж. *kupa* 'бугор; куча', польск. *kupa* 'куча, груда', укр. *кýпа* 'куча, груда', (диал.) 'насыпь; с в е ж а я к у ч к а в ы р ы т о й к р о т о м з е м л и', блр. диал. *кýпа* 'куча, груда; к р о т о в а я к о ч к а; (собир.) болотные кочки' (см. ЭССЯ 13, 107–108). Можно предположить, что семан-

тика праслав. **krъtъ* развивалась по следующей схеме: 'куча, груда' → → 'кротовая кочка' → 'крот'. Итак, можно предполагать, что праслав. **krъtъ* 'крот', будучи родственным праслав. **kryti* 'покрывать', сохранило архаичную семантику, первоначально близкую к семантике лит. *krūtis* 'куча'.

15. Праслав. **dьržati* 'держать'

В ЭССЯ праслав. **dьržati* 'держать; владеть; хранить' совершенно напрасно отделяется от праслав. **dьrgati* 'дергать; т я н у т ь, т а щ и т ь; завязывать' (ЭССЯ 6, 221, 230–231), нем. *zergen* 'т а щ и т ь; теребить; злить, мучить'. Полную семантическую аналогию имеем во взаимно родственных нем. *dehnen* 'растягивать', лат. *tendere* 'тянуть', *tenāx* 'к р е п к о д е р ж а щ и й; к р е п к и й', *tenēre* 'д е р ж а т ь; владеть, обладать, иметь, овладевать; запирать', франц. *tenir* 'д е р ж а т ь; иметь в своей власти; соблюдать; сохранять' (ср. Фасмер IV, 42). Дополнительные аргументы в пользу данной реконструкции приводятся в следующем этюде. Заметим, что праслав. **dьržьlь* 'пояс' (ЭССЯ 5, 232) никак нельзя отрывать от праслав. **dьržati* 'держать'. Точную параллель имеем в лат. *habēna* 'р е м е н ь; власть', связанном с лат. *habēre* 'держать'. Что касается лит. *dir̃žas* 'ремень, пояс, кушак' (см. ЭССЯ 5, 232), то эта лексема, вероятно, заимствована из славянского.

16. Праслав. **dorgъ* 'дорогой' (по Трубачеву)

Напомним, что в предыдущем этюде излагались аргументы в пользу идеи родства между праслав. **dьrgati* и праслав. **dьržati*. Покажем, что, как это ни поразительно, рус. *дорожи́ть* 'ценить дорого, высоко, дорожить; скупиться, сберегать' (ЭССЯ 5, 80) можно напрямую сблизить с праслав. **dьržati* 'держать'. Идеально точную аналогию имеем во взаимно родственных франц. *tenir* 'держать; д о р о ж и т ь, п р и д а в а т ь б о л ь ш о е з н а ч е н и е, с ч и т а т ь в а ж н ы м, н е о б х о д и м ы м', лат. *tenēre* 'держать', *tenāx, -ācis* 'крепко держащий; с к у п о й, с к а р е д н ы й'. Заметим,что лат. *tenēre* означает также 'п р о д о л ж а т ь с я, д л и т ь с я', сравните и лат. *tenāx* в значении 'д л и т е л ь н ы й'. Данная аналогия позволяет связать с праслав. **dьržati* также и чеш. *drahný* 'продолжительный'. Далее, с праслав. **dьržati* 'держать' можно напрямую сопоставить и с.-хорв. стар. *drȁgińa* 'стоимость, ценность', континуанту праслав. **dorgyni* (см. ЭССЯ 5, 78). Совершенно точную параллель имеем во взаимно родственных греч. ἔχειν 'держать; владеть, обладать', ἴσχειν 'задерживать, удерживать; и м е т ь ц е н у, с т о и т ь (например, с т о л ь к о-т о з о л о т ы х т а л а н т о в)'. Данная аналогия служит решающим подтверждением удачности излагаемой здесь реконструкции. Возможность перехода 'цена, стоимость' → 'дорогой, дорого-

стоящий, ценный' очевидна. Сравните лат. *pretium* 'цена, стоимость; ценность (в деньгах)', *pretiōsus* 'д о р о г о й, ц е н н ы й, д р а г о ц е н н ы й, д о р о г о с т о я щ и й'. Заметим, что лат. *pretiōsus* еще значит и 'б о г а т ы й, и з о б и л у ю щ и й'. Эта аналогия позволяет объяснить семантику ст.-чеш. *drahný* 'хороший, большой, б о г а т ы й', чеш. *drahně* 'много' (ср. ЭССЯ 5, 78). Итак, сближение праслав. **dorgъ(jъ)* 'дорогой' с праслав. **dьržati*, по-видимому, правильно. Процитируем О.Н. Трубачева: "Слово **dorgъ* явилось праслав. новообразованием, поэтому целесообразно искать исходный для него гл. среди слав. лексики – возм., **dorgъ* < **dьržati*..." (ЭССЯ 5, 77). Заметим, что сближение **dьržati* с **dorgъ* подразумевает реконструкцию ***dьrgěti* для глагола **dьržati* (ср. предыдущий этюд).

Примечания

[1] *Пришвин М.М.* Кладовая солнца. М., 1983. 14–15.
[2] Там же, 63.
[3] Там же, 36.
[4] *Гессен Д., Стыпула Р.* Большой польско-русский словарь. М., Варшава, 1967. 76.
[5] *Дьяченко Г.* Полный церковнославянский словарь. М., 1899. 32.
[6] *Гессен Д., Стыпула Р.* Указ. соч. 76.
[7] *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976. 181.
[8] *Гессен Д., Стыпула Р.* Указ. соч. 76.
[9] *Барроу Т.* Указ. соч. 150.
[10] *Дьяченко Г.* Указ. соч. 152.
[11] Там же, 300.
[12] Там же, 72.

М. Рачева (София)*

К ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НАЗВАНИЯ *ВАМПИРА* В БОЛГАРСКОМ И СЕРБОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ

Название злого духа *вампир* является собственно болгарским словом, несмотря на распространенное мнение, что это – "получивший интернациональный характер сербский булгаризм"[1]. Это название мертвеца, который превращается в злого ночного духа, пьющего кровь человека и животного, по современным данным, распространено во всех диалектах на всей исторической территории болгарского языка (см. Приложение). Но формы типа *вампи́р, ва́мпир, въмпи́р, фампир* – только часть из более чем двадцати известных в настоящее время болгарских фонетических вариантов засвидетельствованного в большинстве сла-

вянских языков многовариантного названия демона, этимология которого остается проблематичной. Для сравнения приведем с.-хорв. *упир*(*ина*), *вáмпӣр*, *лапир*, *лампир*, рус. *упы́рь*, *упи́рь*, *обы́рь*, *опы́рь*, др.-рус. *оупиръ*, личное имя *Упирь* (XI в.), укр. *óпирь*, *упи́рь*, *вепир*, *вопир*, *впир*, *упер*, блр. *вупор*, *упырь*, чеш. *upír*, польск. *upior*, *wapierz*, кашуб. *upôr*, *opî*, (*u̯opî*)[2]. В этимологический анализ включены и следующие формы из балканских языков: н.-греч. βόμπυρας, βόμπιρας, βαμπύρας, βάμπυρας, рум. *vampir*, алб. *vampir*, *dhampir*, *vapir*, ср. цыг. *ipiri*. Слово проникло в европейские языки: ср. франц. *vampire*, нем. *Vampir*, *Vampyr*, итальян. *vampiro*.

Науке известны следующие опыты этимологического истолкования слова на славянской почве:

из основы * *pyrь*, ср. с.-хорв. *пирац* и рус. *не́топы́рь* 'летучая мышь' (Brückner 594)[3];

из * *ą-pirь*, связанного с праслав. * *pariti*, ср. ст.-болг. *парити* = = πέτεσται[4];

из * *vъ-pěrъ*, результат метатезы праслав. * *rěpiti*, ср. словац. *repit' sa* 'приклеиваться, прилипать' (Machek[1] 549, 433).

Все эти разнонаправленные опыты не согласуются с реальной семантической и мифологической характеристикой демона.

Один из новых опытов истолкования по существу в том же направлении – это предложенная Лукиновой[5] реконструкция исходной праславянской формы * *ą-pyrь* с первоначальным значением 'не преданный огню (о мертвеце)' с культурно-исторической опорой на дохристианскую традицию трупосожжения у славян, а также старую веру в очистительную силу огня. Предполагаемый праславянский корень * *pyr-* находит продолжение в укр. *пирити* 'краснеть (от гнева)', рус. диал. *пы́рей* 'загнетка в русской печи', чеш. *pýř* 'раскаленная зола, жар', *pýřiti* 'краснеть', словац. *pýrit' sa* то же и др., однако, вопреки Фасмеру (Фасмер III, 419), сюда не относится с.-хорв. *пи́рјâн* 'тушеное мясо', поскольку сербохорватское слово является заимствованием из османо-тур. *pirjân* 'ягненок, жаренный на вертеле' < перс. *biryān* (Skok II, 662: там же литература). Отмечая очевидное несоответствие между реконструируемой исходной формой * *ą-pyrь* и частью засвидетельствованных в славянских языках вариантов названия демонического существа, Лукинова видит истоки различий в "фонетической разнооформленности"*.

Комментируя эту версию в своих дополнениях ко второму изданию словаря Фасмера, О.Н. Трубачев отдает предпочтение реконструкции праславянской формы * *ąpirь*, соответствующей засвидетельствованной в древнерусском форме *упирь*. Основным аргументом в пользу этой версии служит приписываемая вампирам способность выходить из

---

* Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность ответственному редактору академику О.Н. Трубачеву, обратившему мое внимание на работы Т.Б. Лукиновой.

гроба с тем, чтобы вредить людям. Автор рассматривает *ǫ*- в реконструкции *ǫpirь* не как отрицание, а как вариант праслав. * *vъnъ*, продолжающего скорее и.-е. * *an*(*a*) 'на, наверх', и восстанавливает первоначальное значение названия – 'наверх вылетающий'. Аргументом в пользу этой версии служит с.-хорв. *ва̏мпӣр*, понимаемое как * *ван-пир* (Фасмер[2] IV, 858–859: Дополнения О.Н. Трубачева). Это истолкование сопряжено с фонетическими трудностями. Проблематичной представляется первичность вост-слав. формы типа др.-рус. *упирь* по отношению к *упырь* из-за вполне реальной возможности влияния со стороны продолжений праслав. * *perti, pьrǫ*. Пример формального изменения на сходной семантической основе, но в обратном направлении, дает рус. диал. *упы́рь* 'упрямец' (Фасмер IV, 166), ср. первоначальный смысл болг. диал. *о́пир* 'вампир', 'человек, который всегда находит недостатки в работе других' (см. Приложение), *опи́рам се* 'противиться, возражать'.

Существующая тюркская этимология, предложенная Миклошичем (Miklosich 375) и поддержанная Горяевым (Горяев 388), Преображенским (Преображенский 64), Дени[6], Дмитриевым[7], Севортяном (Севортян), Добродомовым[8], а в болгарском языкознании – Ст. Младеновым (Младенов 57), Боевым[9], Дуковой[10], объясняет название как раннее тюркское заимствование, глагольное имя на *-r* от о.-тюрк. * *ор-* (* *о:р-*) 'всасывать (в себя), пожирать', в реконструкции Севортяна * *opur* или * *upyr*.

Часть вариантов, засвидетельствованных в отдельных славянских языках, представляет в начальном слоге слова гласный, совпадающий с закономерным рефлексом праславянского носового заднего ряда, продолжением которого является ст.-болг. ѫ. Это обстоятельство является одним из оснований для собственно славянских опытов реконструкции * *ǫpyrь* и * *ǫpirь*. С этим, очевидно, связан вопрос о неясном по своему происхождению назальном элементе в праславянской форме названия, предположительно определяемого как раннее тюркское заимствование в славянских языках, так как подобный назальный элемент не находит подтверждения в иначе отмеченном соотносимом по форме, семантике и мифологическим характеристикам тюркском лексическом материале, привлекаемом для объяснения этого названия. Эта идея получила противоречивое отражение у разных авторов.

В словаре Ст. Младенова реконструирована праславянская форма * *ompyr-* с "корнем арио-алтайским (севернотюркск. *ubyr, ybyrly*)" и приведена не засвидетельствованная в памятниках староболгарская форма вѫпърь в соответствии с единственным современным общеболгарским вариантом *вампир*.

В не столь категоричной форме высказывается БЕР (I, 117): "Вероятно, исходной является праслав. форма * *ǫpirъ*, объясняющая не только болг. *въпи́р, вапи́р*, но и формы с начальным *ир-* в сербохорватском, русском, белорусском, украинском и чешском". Отмечая болгарские

диалектные формы, в которых часто не находят отражения результаты правильного фонетического развития, БЕР также приводит староболгарскую форму с носовым и, принимая реконструкцию * *вѫпиръ*, считает, что она была заимствована в греч. βαμπύρος (так!) и потом оттуда вернулась в болгарский и сербохорватский. Однако в этом истолковании отсутствует какое-либо объяснение происхождения приведенной праформы * *ǫpirь*: что это – собственно славянское слово или заимствование? Отрицательное отношение Фасмера к существующей тюркской этимологии, определяемой им как "сомнительное в фонетическом отношении популярное толкование" (Фасмер IV, 165), находит своеобразное отражение в БЕР в совершенно неверном утверждении: "По причине отсутствия параллелей за пределами славянских языков первоначальное значение слова остается не совсем выясненным".

Безотносительно к происхождению, из праславянской реконструкции * *ąpirь* исходит и Дукова в своем исследовании славянского пласта мифологической лексики в славянских языках[11]. Гласный *ą* вместо *ǫ* в этой реконструкции соответствует идее В. Георгиева о первоначально широком характере праславянского носового гласного заднего ряда[12]. В соответствии с таким пониманием Дукова характеризует приводимую БЕР новогреческую форму βαμπύρος как более архаичную по отношению к βόμπιρας. В более позднем исследовании тот же автор, отдавая предпочтение существующей тюркской этимологии, приводит формы βάμπυρας и βόμπιρας, а ранний тезис о наличии более старых и более новых форм в составе новогреческого заимствования, подкрепляющий идею Георгиева о корреляции *ă* – *ā* в праславянском, уточнен допущением: βάμπυρας может быть и книжным заимствованием из какого-то западноевропейского языка[13].

Определяя предполагаемый тюркский источник как булгарское * *възпър* (в соответствии с чуваш. *вăпăр*) от исходного * *опър* (так!), совпадающего и с "некоторыми диалектными формами", Боев полагает, что приведенная в БЕР праславянская форма * *ǫpirъ* (ошибочно цитируется как * *opirь*) стоит ближе к представленной булгарской реконструкции, чем реконструкция * *отруг-* Ст. Младенова. Говоря о возникновении общеболгарской формы *вампи́р* из булг. * *възпър*, этот автор своеобразно определяет эти отношения: "передача булгарского ъ через носовой ѫ (так!)[14].

Других взглядов придерживается Менгес в рецензии на первый выпуск БЕР[15]. Внимание автора привлекает прежде всего неопределенность приводимой в БЕР нов.-греч. формы βαμπύρος: где засвидетельствована эта форма? Разделяя недоверие Фасмера к новогреческому материалу при этимологизации * *ǫpyrь* или * *ǫpirь* в славянских языках, Менгес говорит о славянском происхождении казах. *ubyr* 'колдунья, ведьма', османо-тур. *obur* то же и т.д., для которых он допускает более позднее народноэтимологическое сближение с тюрк. *op-*, *up-* 'всасывать (в себя), пожирать'. Такого же мнения придерживаются Тице[16] и Мемова-Сюлейманова[17].

Сейчас вполне очевидно, что предполагаемый рядом авторов назальный элемент неясного происхождения в праформе сохраняет основополагающее значение для продолжающегося более столетия этимологического изучения названия и его вариантов в отдельных славянских языках. В сербохорватском и особенно в болгарском языке, где название связано с центральным демоническим образом в болгарских народных поверьях, проблема приобретает, в сущности, качественно новое значение: она выполняет роль важного критерия при оценке методов исследования и фактологической основы этимологических опытов. В этой связи особое значение приобретают попытки истолкования этимологических связей между удивительно многообразными исконно славянскими фонетическими вариантами и вариантами, засвидетельствованными в соседних неславянских языках на Балканском полуострове.

Так, возникший у Менгеса вопрос: когда засвидетельствована греческая форма βαμπύρος, определяемая в БЕР как заимствование из ст.-болг. **вѫпиръ** и как прототип современного болгарского *вампи́р*, получает косвенный ответ в признании Дуковой того факта, что βάμπυρας и βόμπυρας не засвидетельствованы в среднегреческом[18].

Нет ответа и на другой закономерно возникающий вопрос: где в действительности засвидетельствованы формы: βάμπιρας, которую ввел в специальную литературу Брюкнер[19], βαμπύρος в БЕР (I, 117), βάμπυρας в исследовании Дуковой[20]? Существование приведенных выше форм не подтверждено документально в известном исследовании М. Фасмера "Die Slaven in Griechenland"[21], как и в цитируемой выше Дуковой монографии В. Георгиева, в которой тезис о возможно большей архаичности славянских заимствований в новогреческом языке с отражением праславянского носового заднего ряда в виде αν и αμ < < * *ǫ* > ст.-болг. ѫ, полностью основан на материале Фасмера.

Необычайная неопределенность, бездоказательность утверждения, будто бы болг. *вампи́р, ва́мпир*, с.-хорв. *ва̀мпӣр* представляют собой обратное заимствование из н.-греч. βάμπιρας или βαμπύρος, как и недоказанность предположения, будто βάμπυρας – более старая форма с отражением аканья по отношению к βόμπιρας, βόμπυρας[22], могли бы быть нейтрализованы только путем обязательной для любого научного исследования конкретного указания неизвестных пока источников новогреческих форм с отражением аканья, введенных в специальную литературу названными выше авторами. Загадочные и даже сомнительные как языковые реальности, на которые возложена важная функция обобщения и которые сами по себе не отвечают требованиям достоверности, введенные в научное обращение формы с α – βάμπιρας, βαμπύρος, βάμπυρας, до последнего времени не вполне оправданно привлекают к себе внимание исследователей в отличие от многочисленных широко и достоверно засвидетельствованных новогреческих диалектных форм с ο или ου в первом слоге, основная часть которых осталась до сих пор за пределами исследований, посвященных названию и его вариантам в болгарском и сербохорватском языках.

По доступным в настоящий момент данным, содержащимся в изданном Афинской Академией Историческом словаре новогреческого языка, в новогреческом засвидетельствованы следующие варианты слова: βόμπιρας (остров Эвбея; Македония – Солун; Средняя Греция – Арахова, Нафпакос, Парнас и др.; Пелопонес – Коринф), βόμπ'ρας (остров Эвбея; Македония; Средняя Греция), βόμπερας (Средняя Греция – Арахова), βούμπερας (остров Эвбея), βούμβαρος (остров Кипр), μβόμβιρας, bóbιρας (остров Эвбея – Авлонарион; остров Кефалиния), μπόμπορας (остров Пакси), γόμουρας (письменный источник), βομπίρα (Пелопонес – Коринф), βουμπίρα (Средняя Греция – Нафпакос и др.), μπουμπιρῦ (письменный источник). А засвидетельствованные значения распределяются следующим образом: 1. синоним названия демона βρικόλακας, который, по поверьям, ест человеческую плоть, пьет кровь человека и причиняет вред обитателям дома; 'сирота, которого считают виновным в смерти родителей (т.е. он "съел" своих родителей)'; 2. 'маленький, тощий, безобразный и злой человек; ребенок озорной и непослушный; упрямый человек'; 3. синоним названия демона καλικάντζαρος.

Как видим, среди представленных в словаре вариантов слова отсутствует вариант с α в начальном слоге. Существенно отличается от всех других засвидетельствованный в письменном источнике вариант γόμουρας. Сопоставляя остальные варианты, два из которых, βόμπιρας и βομπίρα, отличаются только оформлением второго варианта как существительного ж. р., можно отметить следующее.

1. В семи из десяти форм начальный согласный β = *в*. В трех случаях – μπόμπιρας / bóbιρας, μπόμπορας и μπομπιροῦ – начальное μπ = *б* является результатом регрессивной ассимиляции *в* – *б* > *б* – *б*.

2. В тех же семи формах представлен гласный о в первом слоге, а в трех случаях – βούμπερας, βούμπαρος и βουμπίρα – налицо ου = *у* в неударном слоге, а также под ударением, что отражает известный новогреческим диалектам переход о > ου в соседстве с гуттуральными и лабиальными согласными как в неударном слоге, так и под ударением.

3. В девяти из всех десяти форм в середине слова согласный μπ = *ᵐб*. Форма βούμβαρος с μβ = *ᵐв* – результат прогрессивной ассимиляции β – μπ > β – μβ.

4. В пяти из десяти форм гласная второго слога ι = *и*. В двух других случаях βόμπερας и βούμπερας – ε = *е*, в случае βουμβαρας – α = *а*, в βόμπ'ρας гласный э лидировал, в μπόμπορας гласный о – результат ассимиляции. Как видим, наибольшая вариативность характеризует гласный второго слога. Однако не находит подтверждения гласный второго слога *и*, графически передаваемый как υ в формах βαμπύρας, βάμπυρας, βόμπυρας, источник которых не указан в БЕР и в работах Дуковой. Не подтверждается и ударение гласного второго слога в форме βαμπύρας, представленной в БЕР.

5. Во всех засвидетельствованных формах, включая и форму γόμουρας, согласный ρ = *p*.

В своем подавляющем большинстве звуковые реализации и ясные по своему характеру звуковые изменения, с большой уверенностью определяемые как вторичные (диалектный переход о > ου, ассимиляция гласных и согласных и др.), дают основание думать, что основной вариант заимствования в новогреческом имеет форму βόμπιρας, за ним следуют βόμπερας и βούμπερας. Первый из двух вариантов находит отражение в *vompir*, заимствованном в арумынский язык, а второй с дополнительной ассимиляцией *v* – *b* > *b* – *b* – в итальян. диал. *bombero* 'маленький человек', которое Андриотис неубедительно определяет как источник н.-греч. μπόμπιρας[23], а Девото толкует как результат развития гипотетической вульгарнолатинской формы * *vomer* (!?)[24].

Как можно видеть из приведенного материала, единственная засвидетельствованная в южнославянских языках диалектная форма, которой точно соответствует одна реально засвидетельствованная форма в новогреческом, это – *вóпер* из Охрида (СбНУ 12, 3, 246), сопоставимое с н.-греч. βόμπερας (Средняя Греция – Арахова), а в охридском говоре, как известно, рефлекс ст.-болг. ѫ тот же, что и в литературном болгарском языке, т.е. ѫ > ъ.

Здесь следует напомнить об одном давно известном и весьма важном обстоятельстве, которым пренебрегали при анализе новогреческих форм заимствования. Речь идет о появлении согласных *н* или *м* с эпентезой перед согласным в заимствованных словах как явлении, характерном для среднегреческого и новогреческого языков. Это явление подробно рассмотрено на большом материале в исследовании А. Триандафилидеса[25]: ср. для примера καμίσιον и καμίνσιον, λαγοῦτο и λαγούντο, λιβέλλος и λιμβέλλος и др.[26]. Поэтому новогреческая диалектная форма βόμπερας, хотя и не засвидетельствована в среднегреческих источниках, может быть объяснена как отражение характерной для народного среднегреческого и новогреческого языков фонетической адаптации охридской формы *вóпер*. В свете всего сказанного выше представляется неубедительным сведение этих двух конкретных, документально подтвержденных форм к гипотетической праславянской форме заимствования, содержащей в начальном слоге праславянский гласный заднего ряда > ст.-болг. ѫ.

Существовал ли вообще праславянский носовой гласный заднего ряда (> ст.-болг. ѫ) в самой старой форме, несомненно, рано заимствованного нехристианского названия демона в болгарском и сербохорватском языках?

К утвердительному ответу на этот вопрос подводит сербохорватская форма *упир*(*ина*), болгарские формы *въ́пер* (Валовищко), *въпи́р* (Геров), *въ́пир* (Корешчата, Костурско), *вáмпир* (Желегоже, Костурско; Светиниколско), *вапи́р* (Разложко, Кюстендилско, Ихтиманско, Софийско, Самоковско и др.), *япир* (Цързко, Битолско), условно – *випи́р, вепи́р*

(Ботевградско, Пирдопско и др.) как возможный результат ассимилятивного изменения гласных *а – и > и – и* в *вапи́р* – в отличие от формы *вампи́р*, развившейся тем же способом из новой общеболгарской формы *вампи́р*. К отрицательному ответу подводят *во́пер* (Охридско), *о́пир* (Никополско, Плевенско), *упи́р* (Силистренско), *лепи́р*(*ин*), *липи́р*(*ин*), *л'ъпи́р, лепар* (центральные балканские говоры), *ле́мпир* (Геров), *лемпти́р* (Великотърновско), *лампи́р*(*ин*) (Благоевградско, Пазарджишко), даже *мупир* (Гюмюрджинско) и сербохорватские формы *ва̀мпӣр, лампир, лапир*, которые явно отступают от закономерного отражения праславянского носового гласного заднего ряда в словах исконного происхождения. Аналогичные соответствия, а также и отклонения в заимствованных формах засвидетельствованы в других славянских языках (ср. приведенные выше формы).

Рутинная проекция части вариантов с начальным *в* перед нелабиальным гласным первого слога в историю праславянского носового гласного заднего ряда > ѫ (ср. болг. *ва́мпи́р, ва́мпир*, с.-хорв. *ва̀мпӣр*, болг. *вапи́р*(*ин*), *въпи́р, въ́пер, въ́пир*) наталкивается на сложную проблему так называемой протезы *v* в тюркских языках (ср. чуваш. *вупар, вапар* 'злой дух, упырь; кошмар; оборотень'[27]). Вытекающее из одностороннего чисто славистического осмысления фактов определение части засвидетельствованных вариантов названия как таких, которые "часто не являются результатом закономерного фонетического развития" (ср. БЕР), подлежит переосмыслению при обязательном сопоставлении с тюркскими исходными формами предполагаемого заимствования, реконструируемого в виде * *опыг* или * *ипуг*. По существу являясь ревизией сомнительного в фактологическом отношении положения о существовании более старой "акающей" праславянской формы заимствования – * *ąругь* или * *ąрігь*, такое сопоставление позволяет допустить прямую связь между продолжениями указанных тюркских исходных форм и некоторыми "неправильными" вариантами типа болг. диал. *о́пир, во́пер, упи́р* (ср. еще укр. *о́пирь*, русск. *опы́рь*).

Едва ли может быть оставлена без внимания принадлежащая Менгесу идея о гетерогенном происхождении названия. Не вызывающее доверия предположение того же автора о славянском происхождении тюркского демонического названия с исходным значением 'ненасытный обжора; пожиратель', мироед', возможность гетерогенного происхождения проблематичного демонического названия в славянских языках (и далее оттуда и в балканские языки) должны быть согласованы и конкретно истолкованы при помощи гипотезы о смешении формальном и семантическом, взаимопроникновении языческого праславянского термина * *ǫ-ругь* 'не преданный огню (о мертвеце)' и проникшего из тюркских языков демонического названия * *ор-ыг*, * *ир-уг* 'ненасытный обжора', 'злой дух'. Подобное понимание имеет то преимущество, что снимает непримиримые противоречия формального характера в этимологическом анализе, обеспечивает высокую степень семантической

совместимости между предполагаемыми исходными формами различного происхождения, позволяет выявить четкие следы наложения реально засвидетельствованного тюркского исходного значения 'ненасытный обжора; пожиратель' на одно, очевидно, по-разному, но также демонизированное значение языческого праславянского термина. Особенно существенной представляется связь реконструируемого значения 'не преданный огню' с одной глубоко архаичной, широко распространенной и повсеместно оставленной в послеязыческую эпоху традицией, какой является традиция трупосожжения; последнее обстоятельство, очевидно, является основной предпосылкой наблюдаемого впоследствии угасания исходного значения и деградации формы.

Вариантность форм, характерная особенно для народных говоров, дает наглядные примеры так называемой народной этимологии во взаимодействии с другими, собственно фонетическими изменениями в эволюции ряда форм. Через такую народноэтимологическую связь с с.-хорв. *лапати* 'трескать, лопать', болг. *лáпам* 'лопать, быстро уплетать' могут быть истолкованы необъясненные до сих пор (и не объяснимые чисто фонетическим путем) с.-хорв. *лапир* и *лампир*, болг. *лампúр*, тогда как представленная у Лукиновой польская диалектная форма *lupiór* (вместо *łupiór*?) указывает на возможность влияния со стороны польск. *łupić* 'грабить', диал. 'рвать' – действия, бесспорно, совместимого с представлением 'злой дух, злая сила' и частично близкого засвидетельствованным значениям тюрк. *o:p-* 'увести, разграбить, захватить' (Севортян). Замечательно отражаясь в устойчивом и живом по сей день представлении демона в образе кровопийцы и пожирателя, связь с исходной тюркской семантикой 'ненасытный обжора' = 'Fresser' сохраняет свое значение и при истолковании болгарских вариантов *липúр*(*ин*) и *лепúр, лéмпир, лемптúр*, которые могли возникнуть не только как результат изменения гласного первого слога по ассимиляции *а – и* > *и – и* в словах *лапир, лампúр*, но и как результат народноэтимологической связи с глаголами тайных болгарских говоров *лúпам* 'есть', *лю́пам* 'есть (о животных)', связываемых в БЕР (III, 414, 580) с алб. *llyp* 'жадно есть', *llup* 'лопать, уплетать' (ср. соответствующий сербохорватский глагол *љỳпати* 'есть, лопать', возводимый к праслав. * *l'upati* в ЭССЯ (15, 215).

* * *

Заимствованная в европейские языки, а оттуда в балканские благодаря обсуждению в европейской прессе сенсационных вампирских афер в Сербии в 1725 и 1735 гг., утвердившаяся в современном болгарском языке форма *вампúр* – несомненно, новая, она получила распространение в народных говорах не без влияния книжных источников с неодинаковыми, но закономерными отражениями праславянского носового гласного заднего ряда > ст.-болг. ѫ.

Сербская аттрибуция формы, конечно, достаточна условна. Естест-

венной порождающей языковой основой формы *вампи́р* являются юго-западные болгарские говоры, сохраняющие многочисленные следы староболгарских носовых, представляя при этом примеры гиперкорректной назализации.

Являясь бесспорным источником с.-хорв. *ва̀мпӣр* и алб. *vampir*, *dhampir*, юго-западная болгарская диалектная форма *ва́мпир*, вероятно, оказала влияние на появление гиперкорректного *м* в народноэтимологических формах типа болг. *лампи́р*(*ин*), с.-хорв. *лампир* и *лапир*, болг. *ле́мпир, лемпти́р* от *лепи́р* < *липи́р*. Распространение этих вторичных форм на территории диалектов болгарского и сербохорватского языков при весьма правдоподобной связи части форм с алб. *llyp*, *llup* 'жадно есть, лопать' вполне объяснимо на основе межъязыковых контактов в диалектах крайнего юго-запада болгарской языковой территории.

Заимствованное в некоторые славянские языки тюркское название демона * *opır* или * *upyr* 'обжора', включившись в сложную историю преобразования праславянского носового заднего ряда в отдельных славянских языках, несомненно, связано с представленной в истории праславянского назализма гиперкорректной назализацией.

В историко-этимологическом изучении вариантов старого тюркского заимствования в болгарском и сербохорватском языках эта гиперкорректная назализация представляет особую специфически балканскую сложность и имеет, несомненно, более важное значение, чем предполагалось до сих пор.

Приложение

Отмечены только значения, не совпадающие с основным – 'вампир'.

вампир – Селистренско, Балчишко, Варненско, Генералтошевско, Никополско, Плевенско, Павликенско, Горнооряховско, Великотърновско, Севлиевско, Габровско, Врачанско, Софийско, Брезнишко, Тимошко, Благоевградско, Кюстендилско, Разложко, Велешко, Битолско, Леринско, Воден (Стойков–Младенов 162)[28].

ва́мпир – Желегоже, Костурско, информация получена от родителей мужа (Пенка и Сотир Гелеви), носителей этого диалекта, переселенцев после 1943 г., 'вид цветка' (Светиниколско) // MJ 3, 1952, 68.

въмпи́р – Русаля, Великотърновско (ДА),

фампи́р – Разградско (Стойков–Младенов 162).

вапи́р – Бобошево (СбНУ 42, 100), Банско (СбНУ 48, 356), Кюстендилско (БД I, 216), Ихтиманско (БД III, 44), Доброславци, Софийско (БД II, 62), Самоков (БД III, 205), Брезнишко, Врачанско (Стойков–Младенов 162), *вапирин* – Якоруда, Разложко (СбНУ 50, 329), Кавакли, Лозенградско (ТрСб 6, 2, 120), Дупнишко (СбНУ 10, 141), *вапир* – Прилепско (СбНУ 1, 2, 17), *вапирите* – Софийско (СбНУ 16 и 17, 3, 215).

врапи́рин – Чанакча, Чаталджанско (БД IX, 344).

въпи́р (Геров), *въ́пир* (с результатом элизии *м*) – Корешчата, Костурско[29].

въ́пер – Валовищко (СбНУ 4, 3, 110; СбНУ 28, 1, 216).

во́пер – Охрид (СбНУ 12, 3, 216).

вепи́р(*ин*) (Геров) – Смолско, Пирдопско (БД IV, 92), Ботевградско (БД I, 187; СбНУ 44, 541), Радовене, Врачанско (БД IX, 232), *вепирин* – Копривщица (Родна реч 12, 16, 14).

випи́р – Реброво, Софийско (СбНУ 44, 512), *випи́ре* мн. ч. – Лъжане, Благоевградско (СбНУ 44, 514), *випи́рь* 'некрасивая женщина' – Енина, Казанлъшко (БД V, 111).

вимпи́р – Троян (БД IV, 194).

влепи́р(ин) – Тетевен (СбНУ 31, 246).

йепи́р – Едоарце, Тетовско (ДА).

лампи́р – Слащен, Гоцеделчевско[30], *лампи́р'ен* – Паталеница, Пазарджишко (ДА).

лепи́р – Великотърновско (СбНУ 3, 167; СбНУ 28, 1, 216).

ле́мпир (Геров).

лемпти́р – Великотърновско[31].

липир(ин) – Лазарци, Еленско (СбНУ 27, 175; БД V, 29), Кръвеник, Севлиевско (БД V, 250), Бракница, Поповско (Родна реч 14, 94), Кесарево, Горнооряховско (ДА), Никополско (Стойков–Младенов 162), Русаля, Великотърновско (СбНУ 16 и 17, 402), Велико Търново (СбНУ 26, 256), Шумен (ДА), Сухиндол, Великотърновско (ДА), *липи́рь* – Златарица, Еленско (СбНУ 27, 175), *л'ъпи́р* – Градище, Севлиевско (ДА).

мупи́р – Гюмюрджинско (АИР).

о́пир – Никополско, Плевенско (АИР), 'человек, который всегда находит недостатки в работе других' (Тръстеник, Плевенско (БД VI, 203).

упи́р – Силистренско (Сб. Добруджа 289).

япери 'злые духи' в тексте: *Нити от япери, нито от гяол го беше страф* – Църско, Битолско (СбНУ 19, 107; ср. Панчев).

Примечания

[1] *Добродомов И.Г.* Тюркизмы славянских языков как источник сведений по исторической фонетике тюркских языков // Советская тюркология 1974. 2, 34–43.

[2] *Dukova U.* Die Bezeichnung der Dämonen in Bulgarischen. III. Entlehnungen // Балканско езикознание 28. 2. 1985, 1.

[3] *Ильинский Г.* Славянские этимологии // РФВ 65, 1911, 212–231; *Brückner A.* Etymologien // Slavia 13. 1934–1935, 280.

[4] *Соболевский А.* Из истории словарного материала // РФВ 65. 1911, 417; *Vaillant A.* Slave commun *upirĭ*, s.-cr. *vàmpīr* // Slavia 10, 1931, 673, 667; *Idem.* Grammaire comparée des langues slaves. V. 2. Lyon; Paris, 1958, 157.

[5] *Лукінова Т.Б.* Давньослов'янскі вірування в дзеркалі лексики слов'янських мов // Мовознавство 6. 1989, 61–64; *Она же.* Лексика слов'янських мов як джерело вивчення духовної культури давніх слов'ян // IX Міжнародний з'їзд славістів. Слов'янське мовознавство. Київ, 1983, 87–115.

[6] *Deny J.* Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). Paris, 1921, 281.

[7] *Дмитриев Н.* Строй тюркских языков. М., 1962, 548.

[8] *Добродомов И.Г.* Указ. соч.

[9] *Боев Е.* Казахски и български речникови успоредици // ИИБЕз 19, 1970, 905–906.

[10] *Dukova U.* Op. cit., 8–12.

[11] *Dukova U.* Zur slavischen Schicht in der Lexik des Volksglaubens und Brauchtums in den Balkansprachen // Балканско езикознание 20. 1–2. 1977, 108.

[12] *Георгиев В.* Вокалната система в развоя на славянските езици. С., 1964, 60–64.

[13] *Dukova U.* Die Bezeichnung der Dämonen im Bulgarischen, 10.

[14] *Боев Е.* Указ. соч., 905–906.

[15] *Menges K.* Zum neuen Български етимологичен речник und den türkschen Elementen im Bulgarischen // Zeitschrift für Balkanologie 7. 1–2. 1969–1970, 79.

[16] *Tietze A.* Slavische Lehnwörter in der türkischen Volkssprache // Oriens 10. 1. 1957, 31.

[17] *Мемова-Сюлейманова Х.* Лексикални заемки в турския език от българския и другите славянски езици // Съпоставително езикознание 6. 1981, 127.

[18] *Dukova U.* Die Bezeichnung der Dämonen im Bulgarischen 10.

[19] *Brückner A.* Op. cit., 280.

[20] *Dukova U.* Zur slavischen Schicht in der Lexik 108; Idem. Die Bezeichnung der Dämonen im Bulgarischen 10.

[21] *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland. Berlin, 1941.

[22] *Dukova U.* Op. cit.

[23] 'Ανδριώτης Ν. Ἐτυμολογικο λεξικο τῆς Κοινῆς Νεοελληνικῆς. Θεσσαλονίκη. 1971, 220.

[24] *Devoto G.* Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico. Firence, 1968, 51.

[25] *Triandaphilides A.* Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur. Strassburg, 1911, 44–53.

[26] О так называемом "иррациональном назальном согласном" в истории греческого языка см.: Κουκουλές Φ. Περὶ 'άνπτύξεως 'επτίνου 'ευ τῇ νεωτέρα Ἑλληνικῇ // 'Αθῆνα 49, 1939, 79–143.

[27] *Щербак А.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. 179–181; *Добродомов И.Г.* Указ. соч.

[28] См. еще: *Dukova U.* Die Bezeichnung der Dämonen im Bulgarischen 9.

[29] *Шклифов Бл.* Костурският говор. С., 1973, 47.

[30] Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. С., 1980, 469.

[31] *Попов Р.* Вампирът в българските народни вярвания // Векове 1, 36.

Перевела с болгарского *Л.В. Куркина*

Принятые сокращения

АИР –	Архив на Идеографския речник на българския език. Катедра по български език на ФСФ – СУ. София.
ДА –	Диалектен архив на Института за български език при БАН. София.
Стойков–Младенов –	Стойков Ст., Младенов М. Проект за "Идеографски диалектен речник на българския език" // БЕз 19, 155–170.
ТрСб –	Тракийски сборник 1–6, 1928–1936. София.

А.А. Кретов*

МЕДВЕЖАТА, ВЕРБЛЮЖАТА, ЦЫПЛЯТА И СВИНЬЯ: СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

"Неясно образование *медвежóнок*, где *ž* указывает как будто на то, что уменьшительная форма образована не непосредственно от *медвѣдь* (ср. *лебеденок, лисёнок*)."

В.И. Борковский, П.С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963. С. 193.

Слова *медвежата, верблюжата, цыплята* – сколь бы привычными они нам ни казались – в свете известных фонетических закономерностей представляются неожиданными ("нормальны" были бы формы **медведята*, **верблюдята*, **цыпята*) и требуют своего объяснения. Чтобы разобраться в этой "неправильности", слова *медвежата*,

верблюжата, цыплята следует рассмотреть вместе со словом *свинья*. Причем уместнее начать именно с последнего.

Как известно[1], и.-е. **su-s* 'свинья' (ср. лат. *sus*, др.-в.-нем. *su*) дало, еще на индоевропейской почве, прилагательное **su-in-* (ср. лат. *su-in-us*, гот. *sw-ein* ср.р. 'свинья', слав. **sv-in-ъ*). В морфемном и словообразовательном отношении здесь имеет место полное подобие. В семантическом отношении следует отметить в готском *swein* значение 'свинья', вместо ожидаемого 'свиной': гот. *swein* является субстантивированным прилагательным. Таким же субстантивированным прилагательным являлось и славянское **sv-in-ъ* (ср. раннее полное прилагательное *свиной*). После того, как процесс субстантивации краткого прилагательного завершился, от – уже существительного – *свинъ* было образовано притяжательное прилагательное с суф. *-ьj-*: *свин-ьj-* (*сви́ний, сви́нья, сві́нье*), а затем вновь произошла субстантивация адъективной формы женского рода: *свинья матка – свинья* (ср. *свиноматка*). Форма притяжательного прилагательного была переосмыслена как форма существительного типа *семья́, земля́*, что привело к аналогическому перенесению ударения с основы на флексию: *сви́нья* > *свинья́* (весьма показательно в этом отношении сохранение в этом слове ударения на *и* в сербохорватском и словенском языках при ударении на *а* в болгарском языке).

Таким образом, мы имеем дело с двукратной субстантивацией прилагательного. О том, что *свинья* является производным от *свин*, писали А. Мейе и М. Фасмер[2]. Но подробности этого процесса были не совсем ясны не только им, но и О.Н. Трубачеву: "...в своей полной форме слав. *svinьja* представляется сугубо славянской инновацией не совсем ясного морфологического характера: и.-е. **suinos*, слав. **svinъ*, ср. рус. *свиной* + суффикс *-ьja-*"[3].

Косвенным аргументом в пользу двукратной адъективности слова *свинья* может служить невозможность образования от него прилагательного: *семья* > *семейный, земля* > *земельный, земляной*, при невозможности *свинья* > **свиньяной*, **свинейный*.

Итак, мы зафиксировали, что название животного может быть субстантивированным прилагательным. Этот пример не единичен: ср., например, *сохатый* 'лось', *носорог* букв. 'носорогий', *лебеди́н* (?) 'лебедь самец' (кубан., урал., перм., новгор., СРНГ 16, 301).

Если рассматривать слово *свинья* как субстантивированное прилагательное, то морфологический характер славянской инновации абсолютно ясен: и.-е. **su-s* > и.-е. **su* + *in-(os)* > и.-е. **svin(ъ)* > слав. **svin* + *ьj-* (*ь, а, е*) > рус. *свинья́*. При этом *-ьj-* – унаследованный из общеиндоевропейской эпохи суффикс, соответствующий и.-е. **-jo-*, **-ijo-*. "В древности суффикс был продуктивным и дал много новых образований. Он остался продуктивным и далее, поскольку представляет прилагательные с значением принадлежности, равнозначные

греческому родительному падежу. ⟨...⟩ В форме на *-ьјь* прилагательное часто имеет более широкое значение: *рабии* от *рабъ* обозначает "принадлежащий рабу", а также "рабский" (свойство);..."[4]. "Суффикс *-j-*, продуктивный при образовании притяжательных прилагательных еще на праславянской почве, в древнерусском языке уже не выделялся как суффикс, прилагательное отличалось от существительного ступенью конечного согласного морфемы, непосредственно предшествующей бывшему суффиксу, ср. *володимирь* или *володимерь* (от *Володимиръ* или *Володимеръ*), *вьсеволожь* (от *Вьсеволодъ*); *княжь* от *князь*, и т.д.; но родственный этому суффиксу более редкий суффикс *-ьj-* (< *ij*) выступал как таковой и в эпоху памятников в таких образованиях, как *вълчии* от *вълкъ*, например, *волъчья хвоста* (Лавр. лет., л. 27); впоследствии так же образовывалось и прилагательное *медвѣжии* (от *медвѣдь*), но в древности оно шло по типу *Вьсеволодъ – Вьсеволожь,* ср.: *въ образѣ медвѣжи* (Лавр. лет., л. 66). ⟨...⟩ Суффиксы – одни и те же – могли появляться в составе как именных, так и местоименных прилагательных. ⟨...⟩ Местоименные формы обычны в женском роде (при именных в мужском)..."[5].

Отметим, что в Лаврентьевской летописи зафиксировано притяжательное прилагательное *медвежь*, образованное посредством суф. *-j-*.

На примере слова *свинья* мы видели, что притяжательное прилагательное могло субстантивироваться и, следовательно, из *медвежь* 'медвежий' могло получиться *медвежь* 'медвежий самец, медведь'. На то, что эта субстантивация состоялась, указывают прилагательные же, образованные от данной основы: *медвеж-н(ое) плясание* (XVI в.) (СлРЯ XI–XVII вв.), *медвеж-н(а)* 'медвежья шкура' (нижегор., субстантивированное прилагательное), *медвеж-ин(ый)* 'медвежий' (ряз.) (СРНГ 18, 68–69). Еще более убедительно об этом говорит параллелизм производных с основами *медвед-* и *медвеж-* (слова с пометами см. в СРНГ 18, 64–69; слова без помет см. в БАС): *медведий* (том., тобол, вят., новгор.) – *медвежий; медведёнок* (вят.) – *медвежонок; медведята* (смол., перм.) – *медвежата; медвединый* (ряз.) – *медвежиный* (ряз.); *медведина* ('мясо, шкура, большой зверь') – *медвежина* ('мясо, шкура') (краснояр., вост-казах., сиб., свердл., самар.); *медведятина* 'медвежатина' (вят.) – *медвежатина; медведиха* (ряз.) – *медвежиха* (Ср. Урал, свердл., вят., киров., том., сиб., хабар.); *медведица – медвежица* (краснояр., амур., том., сахалин., псков., твер., приангар.); *медведка* (раст.) (уфим.) – *медвежка* (раст.) (новосиб., свердл.); *медведна* ('шкура, постель') – *медвежна* ('шкура') (сиб, камч., псков., нижегор.); *медведник* (зап., смол.) – *медвежник* (южн.-урал., псков., калуж.).

Наличие обоих рядов практически на одних и тех же территориях исключает объяснение их генезиса теми или иными диалектными

особенностями. Ср. также пары *верблюдина* (Слов. Акад. 1847) – *верблюжина* (Соколов, Слов, 1834, доп. – БАС 2, 169), *верблюдина* 'трава' – *верблюжина* 'мясо' (Даль), *верблюдник* 'упряжь' – *верблюжник* 'погонщик' (СРНГ 4, 121–122). Форма же *медведий* образована суф. *-ьj-*, родственным и синонимичным суф. *-j-*, отраженному в прилагательном *медвежий* (ср. суф. *-ьj-* в паре *лис(а)* > *лисий* и *-j-* в паре *лес* > > *леший*).

О производных на**ent* со значением 'невзрослое живое существо' известно, что они, как правило, образовывались от существительных, обозначающих взрослую особь: *лис(а)* > *лис-ят(а), волк* > *волчат(а), гусь* > *гус-ят(а), кот* > *кот-ят(а)* и т.п. Однако известны случаи, когда этот суффикс прибавлялся и к основе прилагательного: *лебедь* > **лебед-н(ые)* (птенцы) > *лебед-н-ят(а)* (Филин 16, 301), об этом же процессе свидетельствует, на наш взгляд, и форма *медвенёнок* 'медвежонок' (Ах, и что в поле зачернелося: Ти медведица с *медвенятами.* смол., 1890, Филин 18, 69). Форму *медвенята* можно понять как производную от *медвед-н-ят(а)* в результате диссимилятивного упрощения группы согласных: *дн* > *н*; в таком случае имеется полная аналогия рассмотренному выше процессу: *медведь* > *медвед-н(ы)* (детёныши) > **медвед-н-ят(а).* Промежуточное звено этой цепи зафиксировано в диалектах и памятниках языка: *медведна шкура* (СлРЯ XI–XVII вв.) или *медведна* 'шкура медведя' (СлРЯ XI–XVII вв. и СРНГ 18 65) как прилагательное и как субтантивированное прилагательное. Поэтому форма *медвежата* могла образоваться и независимо от процесса субстантивации: *медведь* > *медвед-j(ь)* 'медвежий' > *медвежи* (детёныши) > *медвеж-ат(а).* Ряд *верблюд* > *верблюж(ий)* > *верблюж-ат(а)* образован по этой модели. Тут надо учесть, что форма *верблюдъ* зафиксирована не ранее XIV в. Более ранние формы *вельбудъ* и *вельблудъ* зафиксированы в X–XI вв. В это же время зафиксированы прилагательные *вельбужь* и *вельблюжь* (Срезневский; СлРЯ XI–XVII вв.; СлДРЯ XI–XIV вв.). Эти же прилагательные есть в старославянских текстах и зафиксированы они едва ли не ранее, чем прилагательное *медвѣжь.* С верблюдами (по крайней мере заочно) славяне познакомились уже по первым славянским переводам Евангелия, описывающим реалии Ближнего Востока. Форма *верблюжий,* зафиксированная в русских текстах не ранее XVI в., является лишь трансформом др.-рус. *вельблужь,* ст.-сл. **вельблѫждь,** зафиксированных в X–XI вв. Образование такого прилагательного в X в. могло опираться на четкое осознание словообразовательного значения чередования *д/ж* в конце слова, которое фактически выполняло функцию материально отсутствующего суф. *-j-*; как сказал бы И.А. Бодуэн де Куртэнэ, произошла "семасиологизация" (в терминологии Н.С. Трубецкого – "морфонологизация") первоначально чисто фонетического чередования. И прилагательные *володимерь, ярославль, радонежь,* образованные

явно после завершения процесса преобразования согласных перед *-j-*, – несомненное тому подтверждение.

На существование субстантивированного прилагательного *вельблужь* (*верблюжь*) 'верблюд' указывают его производные в литературном языке и диалектах: *верблюжиха, верблюжник* ('погонщик', наряду с *верблюдник* 'упряжь'), но самым красноречивым аргументом в пользу существования субстантивированного прилагательного **верблюжь* 'верблюд', является прилагательное *верблюжи́ный, -ая, -ое,* 'верблюжий': *Баз верблюжиный. Верблюжно сало* и мазь продают. (Теплов. оренб., 1951). *Азям,* сказать, *верблюжиный,* а зипун – овечья шерсть (Колпаш. том.) (СРНГ 4. 121–122). Это прилагательное, образованное с помощью суф. *-ин(ый).* А с помощью этого суффикса прилагательные образуются только от существительных, следовательно, данное слово могло образоваться только от существительного **верблюжь* 'самец верблюда; верблюд'.

Слово *цыплёнок (цыплята)* восходит к существительному *цыпа* 'курица', отмеченному (с разной, но близкой семантикой) в восточнославянских, словенском, словацком и латышском (лтш. *ciba* 'курица') языках (Фасмер IV, 307). Такая география наводит на мысль о принадлежности слов **cipa* 'курица' и **cip-cip* общеславянскому словарю. Засвидетельствованность слова *цыплёнок-цыплята* только в русском языке привела Вал.Вас. Иванова к выводу о собственно русском происхождении этого слова, что, однако, вовсе не обязательно: вполне могут открыться новые источники, фиксирующие это слово в древнерусском языке или украинских, белорусских или каких-либо других славянских диалектах. Статью *цыплёнок* в Этимологическом словаре стоит привести целиком: "*Цыплёнок.* Собственно русское. Образовано с помощью суф. *-енок* от *цыпля,* сохранившегося в диалектах и являющегося, вероятно, производным с суф. *-j-* от *цыпа*; сочетание *п* с последующим *j* изменилось в *пл*'. *Цыпа* представляет собой образование от звукоподражательного *цып-цып.*"[6].

Цып(а) + j, по В.В. Иванову, дает *цыпл(я),* а *цыпл(я) + енок* дает *цыплёнок.* Но ведь слово *цыпля* в диалектах отмечено только в значении 'цыплёнок' (Даль IV, 576)! Если к слову *цыпля* со значением 'цыплёнок' прибавляется суф. *-ёнок* со значением 'невзрослое живое существо', то получается что-то вроде 'птенец цыплёнка', а на шаге *цып(а)* 'курица' > *цып + j(а) = цыпля* 'цыплёнок' суф. *-j-* приписывается несвойственное ему значение 'невзрослое живое существо'.

В.В. Иванов, однако, прав в том, что образование с суф. *-j-* имело место. *Цыплята* образованы по той же модели, что и *медвежата, верблюжата* – от прилагательного: *цыпа* 'курица' > **цып-j(ь)* = **цыпл(ий)* 'куриный; свойственный курице' > *цыпл-ят(а).* Форму же *цыпля* 'цыплёнок' естественнее сблизить с формами ед.ч. на **-ent*: *порося, теля* и т.п., замещенными позднее формами на *-енок.*

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существительные на *-*ent* со значением 'невзрослое живое существо' могли образовываться как непосредственно от названий взрослых животных, так и опосредованно – через ступень прилагательного, образованного от последних с помощью суф. -*j*- или -*n*-.

Примечания

[1] См. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951, 396; *Фасмер* III, 579.
[2] Там же.
[3] *Трубачев О.Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (Этимологические исследования). М., 1960, 62.
[4] *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951, 286–287.
[5] *Борковский В.И., Кузнецов П.С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1963, 226.
[6] *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В.* Краткий этимологический словарь русского языка / Под ред. С.Г. Бархударова. М., 1961, 367.

Р. Мароевич*

ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ. 5–7**

5. Славянские антропонимы типа *Томашь*

На научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения В.М. Истрина (Одесса, 11 апреля 1990 г.), украинский лингвист и ономаст Ю.А. Карпенко попытался фонетическим путем объяснить "загадочное" изменение *z* > *ž* в топониме *Париж* и апеллативе *папеж* и *s* > *š* в ряде славянских антропонимов, заимствованных посредством западноевропейских языков (личные имена типа *Томаш*). Эти изменения ученый толкует как отражение живого произношения в Моравии в IX столетии, которое западнославянская и южнославянская литературные традиции только продолжили, и связывает их с неразличением согласных *с* – *ш*, *з* – *ж* в псковских говорах и памятниках письменности (уже в древнейших, в XIV столетии). "Уместно поставить вопрос о связи двух описанных явлений. Напрашивается заключение, что праславянскому языку была присуща диалектная черта, выражавшаяся в неразличении либо менее свистящих и шипящих (после их возникновения). Черта эта дольше всего сохранялась в двух периферийных регионах – Моравии (где получила литературную традицию, но вышла из живого употребления) и у кривичей (где устойчивой литературной традиции не получила, хотя и проникала в письменные тексты, но зато

**Предшествующие статьи этой серии см.: Этимология 1981. М., 1983; Этимология 1983. М., 1985.

живет в устном употреблении и ныне)"[1]. В дискуссии по докладу Ю.А. Карпенко мы отметили, что фонетическая трактовка указанных славянских форм в докладе предельно обоснована, но нельзя считать, что ею научный вопрос решен: она остается в рамках гипотезы. Указывая, что данные "загадочные" формы возможно объяснить и по-другому, мы там же впервые выдвинули свою трактовку, согласно которой все эти слова толкуются как результат словообразовательной адаптации. Эту точку зрения хотелось бы подробнее обосновать в настоящей серии заметок.

В праславянском языке от сокращенной основы полного (двуосновного) личного имени *Miloslavъ* с помощью гипокористического суф. *-jь* был образован гипокористик *Milošь* < **Milos-jь*. Наше толкование происхождения личных имен типа *Milošь* подтверждают некоторые факты древнерусской антропонимии: личное имя (первоначально ласкательная форма личного имени) *Domašь: Домашь* Твердиславичь [ЛН 1/2 XIV, л. 129 (1242)] образовано от сокращенной основы личного имени *Domaslavъ*: пояле дѣвъку у *Домаслава* [ГрБ 1/2 XIV, № 155] с помощью гипокористического суф. *-jь* (*Domas-* + *-jь*)[2].

Словообразование гипокористических форм типа *Milošь, Domašь, Borišь, Bogušь, Bol'ešь* от полных, двуосновных имен типа *Miloslavъ, Domaslavъ, Borislavъ, Boguslavъ, *Bol'eslavъ* имело, в деривационном аспекте, двойное значение. С одной стороны, словообразовательный процесс проходил в виде двух звеньев: а) сокращение основы таким образом, чтобы основа оканчивалась согласным s-; б) присоединение к такой основе гипокористического суф. *-jь*, который на стыке с финальным *s-* основы после йотации проявлялся в форме йотированного члена чередования согласных (*s* – *š*). С другой стороны, стали обычными ласкательные имена с фонетическим исходом *-ošь, -ašь, -išь, -ušь, -ešь* (после утраты редуцированного: *-oš, -aš, -iš, -uš, -eš*). Латинские (и латинизированные) личные имена, независимо от того, как они осуществляли контакт со славянскими диалектами – непосредственно или посредством романских и германских языков (диалектов), подвергались процессу словообразовательной адаптации. Личное имя *Tomas* (гр. Θωμᾶς воспринимается как словообразующая основа на *s-*, которая, по аналогии с имеющимися славянскими формами типа *Domašь*, деривационно адаптируется как гипокористическое производное на *-jь Tomašь*. Таким образом, на наш взгляд, возникли сербские личные имена *Томаш, Матијаш, Иваниш* и др., чешские христианские имена типа *Tomáš* (ср. *nevěřící Tomáš* ('Фома неверный'), польские личные имена *Tomasz, Mateusz, Tadeusz* и др. В польском языке этим же способом адаптировались и имена героев римской истории и культуры на *-ius: Owidiusz, Wergiliusz*.

Словообразовательная адаптация неславянских антропонимов на *-s* была ограничена, с одной стороны, языковыми (западные и южные славянские диалекты), с другой стороны, культурными ареалами (сла-

вяне, находящиеся под непосредственным влиянием латинского языка и западного христианства). Оба эти ограничения имеют и свое лингвистическое объяснение. В древнерусском языке гипокористические имена типа *Домашь, Ярошь(ко)* не имели широкого распространения. Это первый, языковой фактор ограничения указанной словообразовательной адаптации (*s* → *š*). Но имел место и второй, культурный фактор, препятствующий распространению личных имен типа серб. *Томаш*: среди православных славян христианство внедрялось на славянском языке, причем греческие (и грецизированные) личные имена подвергались морфологической адаптации: заимствовалась основа имени, а греческие окончания, как правило, отбрасывались. На западе навязывали богослужение на латинском языке, поэтому личные имена с латинскими окончаниями входили в славянские диалекты и в них, согласно славянскому языковому самосознанию (языковому чутью), подвергались адаптации, при этом они адаптировались не только фонетически и морфологически, но и словообразовательно, приспосабливаясь к продуктивным славянским словообразовательным типам.

Словообразовательная трансформация личных имен типа *Tomas* в славянские формы типа *Tomašь* (после утраты редуцированного: *Tomaš*) была обусловлена также тем, что в позднюю эпоху общеславянского языка (а это время, когда славяне принимают христианство и создают письменность на своем языке) образование гипокористических имен типа *Domašь* от двутематических имен типа *Domaslavъ* было живым и продуктивным.

Специального рассмотрения заслуживают сербские фамилии типа *Маркуш, Николиш*. Они могли возникнуть в результате одного из двух словообразовательных процессов. С одной стороны, они могли возникнуть в результате словообразовательной адаптации с помощью гипокористического суф. *-jь* (обозначим его условно как *-jь*^{I}): неславянское (немецкое) личное имя *Markus* адаптируется в форме *Markuš(ь)*, позднее эта форма получает фамильное значение. Таким же способом (семантической транспозицией) были созданы также сербские фамилии *Милош, Угљеша* и др., омонимичные соответствующим личным именам. С другой стороны, форма *Маркуш* может восходить к посессивам с суф. *-jь* (обозначим его условно как *-jь*^{II}), имеющим (в сочетании с личным именем) патронимическое значение. Согласно такой трактовке, в сложном антропониме типа *Јован Маркуш* второй компонент не что иное, как посессив (притяжательное прилагательное), образованный с помощью суф. *-jь*^{II} от неадаптированного личного имени отца *Маркус* ('Йован Маркусов сын'). Когда в языковом сознании перестали существовать посессивы на *-jь*^{II} от личных имен на *-sъ*, форма *Маркуш* стала восприниматься как фамильное прозвище, переходящее в такой же форме на следующие поколения потомков Маркуса.

Словообразовательная адаптация иноязычных личных имен в славянской языковой среде осуществлялась не только с помощью гипокористического суф. *-jь*^{I}. Несклоняемые греческие (и грецизиро-

ванные) nomina propria типа Σαλα включались в славянское склонение с помощью сонанта *n*, являвшегося "мостиком" для перевода указанных имен в славянское словообразование (в адаптированной форме *Salanъ* стал выделяться, в результате редеривации, суф. *-anъ*, отождествляемый с суф. *-anъ* славянских личных имен типа *Milanъ*) и в славянское словоизменение (склонение по типу древних основ на *-ŏ-*). Сложность идентификации этих имен состояла в том, что они засвидетельствованы не в форме собственно существительного, а в форме посессива (притяжательного прилагательного) типа *Salańь*. Объяснению этих посессивных форм в старославянском языке мы посвятили отдельную статью настоящей серии[3].

6. Ст.-слав. папежь

Современное чеш. *papež* 'папа римский' (ср. *být papežštější než papež* 'быть лучшим католиком, чем папа') заимствовано в IX столетии в Моравии посредством миссионеров из Регенсбурга (др.-в.-нем. *pabes*, др.-франц. *papes* из греч. πάππας 'отец')[4]. В старославянских (канонических) памятниках, помимо слова *папа* (одна фиксация в Супрасльской рукописи), засвидетельствовано слово папежь (три фиксации в Ассеманиевом евангелии и по одной в Киевских листках и Енинском апостоле) (Ст.-слав. словарь 442). В польском языке апеллатив имеет форму *papież* (ср. *być w Rzymie i nie widzieć papieża* 'быть в Риме и не видеть папы').

Хотя слово папежь (*papež, papież*) – апеллатив и по происхождению и по своей актуальной семантике, оно обладает некоторыми признаками, которые его сближают (связывают) с категорией nomina propria (неповторимость номинации в пространстве, индивидуальность, персональность). Поэтому не удивляет тот факт, что оно в славянской среде подверглось словообразовательной адаптации с помощью гипокористического суф. *-jь*, который включил его в словообразовательный тип ласкательных имен на *-žь*. Этот словообразовательный тип охватывал, с одной стороны, формы, возникшие в результате йотации сокращенных основ на *z-*, которые слабо засвидетельствованы, с другой стороны, формы, возникшие в результате йотации сокращенных основ на *g-* типа серб. *Блажо, Дража,* которые засвидетельствованы лучше. Кроме того, на адаптацию основы *papez-* в форме *papežь* повлиял параллелизм в словообразовании гипокористических форм типа *Bol'ešь* от сокращенных основ типа *Bol'eslavъ*.

7. Славянская форма топонима *Парижь*

История третьего вопроса – о западнославянских и восточнославянских формах ойконима *Париж* (ср. серб. *Париз*) – в сжатой форме изложена в упомянутой работе Ю.А. Карпенко: "Меня давно интригует

слово *Париж*. Речь идет о совершенно загадочном конечном звонком шипящем. Ведь по-французски этот ойконим пишется *Paris* (конечный глухой свистящий), а произносится вообще [Pari], без какого-либо финального согласного. Правда, источник названия – этноним *паризии* ('корабельники': из кельт. *par* 'корабль') – содержит звонкий свистящий, и это указывает на исходную точку процесса, но не объясняет сам процесс, т.е. переход *з* → *ж*. В.А. Никонов ограничивается в этом случае констатацией факта: "Привычное рус. написание не соответствует ни произношению, ни написанию подлинника". Е.М. Поспелов уточняет: "Принятая в русском языке форма *Париж* усвоена в искаженном виде через польск. посредство". Отмеченный ученым "искаженный вид" имеется уже в польском источнике – *Paryż*, а также и в чеш. *Paříž*, откуда эта форма и пришла в польский язык вместе со множеством других слов культурной и религиозной сферы[5].

Картину языковых контактов на славянской территории можно было бы несколько скорректировать. Хотя влияние чешского языка на польский в отношении внедрения культурной лексики и терминологии было весьма значительным, нельзя объяснить все ономастические формы этим влиянием. В чешском языке ойконим имел палатальное *ŕ*, которое позднее перешло в депалатализованное *ř* (*Paříš*). В польском же языке представлено велярное *r* (*Paryż*), что говорит в пользу какого-то другого, параллельного языкового влияния (посредничества). И русская форма *Париж* не может быть до конца истолкована как отражение одного польского влияния (влияние польской формы *Paryż* наблюдается в финальном согласном *ж*, в то время как палатализованное *р'* явилось результатом какого-то другого языкового влияния (напр., Сербской Александриды).

Формы *Парижь* Сербской Александриды, болг. *Париж,* рус. *Париж*, чеш. *Paříž*, польск. *Paryż* появились, на наш взгляд, в результате словообразовательной адаптации, опирающейся на продуктивный словообразовательный тип славянских топонимов (названий городов), субстантивированных форм муж. рода ед.ч. посессивов на *-jь*. Название города с основой, оканчивающейся на согласный *z-*, было чуждо славянскому языковому сознанию (чутью), поэтому оно и было адаптировано как посессивное производное с исходом *-žь* < **-z-jь*. Славянские личные имена на *-zъ* были, наверное, крайне редкими, поэтому и их посессивные производные с суф. *-jь*[II] засвидетельствованы слабо (в древнерусских источниках нами не обнаружено ни одного подобного примера[6]). На словообразовательную адаптацию французского ойконима в славянской форме *Парижь* несомненно влияли многочисленные славянские топонимы типа др.-рус. *Радонѣжь*, образованные при помощи суф. *-jь*[II] от личных имен с основой на *-gъ*. Топонимы с фонетическим исходом *-žь*, несмотря на то, образованы ли они от личных имен на *-gъ* или от личных имен на *-dъ*, выражали в языковом сознании восточных славян значение посессивных производных на *-jь*. В

языковом сознании западных и южных славян форма *Париж* ассоциировалась с посессивными производными от личных имен на *-zъ*, по аналогии с которыми и происходила словообразовательная адаптация иноязычного топонима.

Словообразовательная адаптация славянами неславянских ойконимов в форме посессивных производных с суф. *-jь* может быть подтверждена убедительным примером: романизированная форма *Anagastum* (античное название сербского города *Никшич*) как топоним называемый в древних дубровницких письменных памятниках на латинском языке, в славянской среде адаптируется в формах *Onogošťь*, т.е. 'Оногостев (город)', и *Onogošte*, т.е. 'Оногостево (село)'. Если бы не происходила словообразовательная адаптация с помощью посессивного суф. *-jь*, на славянской почве топоним *Anagastum* получил бы фонетическое "прочтение" **Onogostъ*[7].

Наше толкование одной отдельной категории (антропонимов типа *Томашь*) и двух единичных форм (апеллатива *папежь* и ойконима *Парижь*) наглядно показывает, что в процессе словообразовательной адаптации иноязычных имен участвовали два омонимичных славянских суффикса: а) гипокористический суф. *-jь* (условно мы его назвали суф. *-jь*^{I}); б) посессивный суф. *-jь* (условно мы его обозначили как суф. *-jь*^{II}). И эти два суффикса в конкретном анализе методологически следует четко различать.

Примечания

[1] *Карпенко Ю.А. С – ш, з – ж* // Академик Василий Михайлович Истрин. Тезисы докладов областных научных чтений, посвященных 125-летию со дня рождения ученого филолога. 11–12 апреля 1990 г. Одесса, 1990, 30–32.

[2] *Маројевић Р.* Посесивне изведенице у староруском језику: Антропонимски систем. Топонимија. "Слово о полку Игореве". Београд, 1985, 8.

[3] *Мароевич Р.* Старославянские притяжательные прилагательные типа *Salańь* // Этимология 1981. М., 1983, 46–49.

[4] *Карпенко Ю.А.* Ука. соч., 31.

[5] Там же, 30.

[6] *Маројевић Р.* Посесивне категорије у руском језику (у своме историјском развитку и данас). Београд, 1983, 23.

[7] Подробнее см.: *Маројевић Р.* Методолошка питања ономастичких истраживања // Црногорски говори. Резултати досадашњих испитивања и даљи рад на њиховом проучавању. Радови са научног скупа (12 и 13 мај 1983). Титоград, 1984, 237–238.

В.И. Дегтярев*

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Грамматический строй праславянского языка к настоящему времени в основном реконструирован, но задача состоит в том, чтобы эта реконструкция содержала не застывшую схему праформ, парадигм и конструкций, а динамичную систему в ее формировании и развитии. Только в этом случае праформы наполнятся действительным содержанием. Цель ее – познание смысла, уровня абстрагирования мысли, определение факторов, влияющих на развитие языкового сознания. Это осуществимо, если сравнительно-историческое исследование древнейшего состояния индоевропейских языков, в том числе и славянского, дополняется типологическими аналогиями или параллелями в иноструктурных языках. Сравнительно-типологический метод – важное достижение языкознания нашего времени, определяющее его перспективы на будущее.

Формирование и развитие грамматических категорий является показателем абстрагирующей деятельности мышления, развития и последовательного совершенствования логических форм отражения, генетической связи и взаимодействия языковых и мыслительных категорий.

В плане взаимоотношений языка и мышления, грамматики и логики и – шире – речевой деятельности и языкового сознания по-прежнему особый интерес для исследования представляет грамматическая категория числа. В историческом движении форм, в перестройке парадигм, в изменении самой структуры и характера числовых оппозиций правомерно ожидать отражение глубинных процессов развития грамматической семантики, закономерностей языкового абстрагирования мысли в силу очевидной мотивированности этой категории количественными отношениями в действительности, в силу ее семантической прозрачности.

Есть еще существенный момент, указывающий на актуальность темы. В развитии лексико-грамматической системы языка активную роль играют внутренние, противоположно направленные, но взаимосвязанные и взаимодействующие процессы – лексикализация грамматических форм и грамматикализация слов и словообразовательных типов. Эти процессы имеют фундаментальное значение для развития языка. Они могут быть определены даже как механизмы его развития.

История категории числа, с одной стороны, служит яркой иллюстрацией этих процессов, поскольку грамматизация является магистральной линией ее развития и парадигматизации, а с другой – познание их раскрывает закономерности формирования и функционирования грамматической категории числа.

Современный характер универсальной и облигаторной категории словоизменения категория числа сформировала на индоевропейской основе вместе с оформлением флексии, да и то не сразу, а лишь тогда, когда флексия была приспособлена для выражения количественных отношений наряду с выражением падежных отношений и родовых значений. Но к этому состоянию ее привел долгий и сложный путь развития. Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание установило, что развитие грамматического строя индоевропейских языков шло от древнейшего, дофлективного к флективному состоянию. Так, И.М. Тронский в работе "Общеиндоевропейское языковое состояние" писал: "Мы имеем все основания доводить дальнюю реконструкцию до эпохи, предшествующей возникновению флексии"[1]. Действительно, флексия не является врожденным свойством грамматического строя протоиндоевропейского языка-основы. Реконструкция индоевропейской именной и глагольной парадигм показывает, что именные флексии образовывались на основе взаимодействия детерминантов (основообразующих суффиксов) и местоименных форм, как в именительном падеже множественного числа у имен на **-ŏ-* окончание **-oi* в примерах типа греч. λύκοι, лат. *lupī* (из более древнего *lupoi*), лит. *vilkai,* ст.-слав. влъци – по местоименному склонению типа греч. дорич. τοι, др.-инд. *te* (<*tai*), слав. *ти,* лит. *te* – из *tai,* с участием местоименных или наречных частиц и послелогов в формах косвенных, конкретных, особенно местных падежей; равным образом флексии лично-временных форм глаголов также зачастую имеют местоименное происхождение, как первое лицо настоящего времени. Если обратиться к частным случаям, то можно вспомнить, что известное окончание *-а* в формах множественного числа среднего рода и, отчасти, в формах единственного числа женского рода, причем не только в славянских, но и в ряде других индоевропейских языков, восходит к индоевропейскому основообразующему суффиксу, а его первоначальное удлинение связано с падением ларингала: **ā* < **aH.*

Праиндоевропейское языковое состояние на его древнейшем этапе характеризовалось отсутствием собственно грамматических форм множественного числа. До флексии количественные значения должны были выражаться лексически или с помощью словообразовательных суффиксов. Характерно в этой связи признание И.М. Тронского: "Множественность, выражаемая в индоевропейских языках одной лишь флексией, – сравнительно молодая категория, которой в дофлективном состоянии индоевропейских языков могла предшествовать только собирательность"[2]. Слово в своей неизменяемой форме, равной основе, совмещало значения обоих чисел – и единичности, и множественности, поскольку эти значения осознавались. Но и флексия не сразу была приспособлена к выражению количественных значений, а применялась сначала для оформления связи слов в предложении и для выражения субъективно-объективных отношений. Известно, что праиндоевропейские окончания именительного падежа множественного числа **-es* и

единственного числа *-*s* восходят к общему первоначальному архетипу, окончание ед.ч. *-*s* могло образоваться из окончания мн.ч. *-*es* путем выпадения -*е*-. Это свидетельствует о том, что сначала формы на *-*es*/*-*s* числового значения не имели, т.е. не различались в числе. Устанавливается, далее, что эти окончания имеют общее происхождение с окончанием генитива ед.ч. *-*es*/*-*os*. Значит, исконно они выражали значение субъекта действия, активно действующего лица или предмета и не различались по числам. В хеттском языке индоевропейские окончания родительного падежа единственного числа *-*es*/*-*os* и множественного числа *-*om* выражали свои значения без различия в числе; закрепилось как норма первое из них в виде -*as*, а второе, в виде -*an*, встречается в древнейших памятниках и тоже в значениях как единственного, так и множественного числа[3]. Несомненно, это явление достаточно архаичное, восходящее к праязыковому состоянию.

Тем более в косвенных падежах формы единственного и множественного числа сначала не различались. На это указывает, например, общность окончаний генитива, аблатива и инструменталя единственного и множественного числа в хеттском языке, несомненно отражающая праязыковое состояние. Равным образом древнегреческие, отмеченные у Гомера, формы на -φι в значениях датива, инструменталя и локатива совмещали значения обоих чисел. По происхождению это были наречные формы (индоевропейские на *-*bhi*), и для них различение чисел не существенно, ср.: ὄρεσφι 'в горах' и ϑύρηφι 'за дверью'[4]. Их славяно-балто-германские соответствия на *-*mi* (инструменталь ед.ч.: слав. -*мь* и лит. -*mi*) и на *-*mis* (инструменталь мн.ч.: слав. -*ми* и лит. *mis*), тоже наречные, сначала также были индифферентны к числу.

В сравнительной грамматике известно, что дифференциация падежных форм множественного числа происходила в праиндоевропейском позже единственного, следовательно, падежные формы совмещали в себе оба числовых значения. Следовательно, дальняя реконструкция общеиндоевропейского языкового состояния может обнаружить в нем некое подобие общему числу, типологически свойственному языкам корневого и агглютинативного типов.

Праславянский язык, как он реконструируется на основе сравнительных данных и истории письменности, отражает новое состояние грамматического строя индоевропейских языков. Это вполне сложившийся флективный строй, более близкий современному, чем древнейшему, дофлективному состоянию, однако в нем просматриваются некоторые следы далекого прошлого и, в частности, реконструируются праформы со значением общего числа. Правда, сюда относятся лишь отдельные примеры индоевропейского происхождения. Обратимся к реконструкциям. Слав. мн.ч. *děti* во всех древних славянских языках соотносится с ед.ч. *dětę*, но это соотношение не исконно: форма единственного числа *dětę* образована хотя и в общеславянский период, но позже формы

множественного числа по образцу славянских названий детенышей или молодых животных на *-ent типа *prasę, telę, gǫsę*. Исконная форма единственного числа – праслав. **dětь* 'питающееся' или 'вскармливаемое' – от и.-е. основы **dhēi(t)-/dhoi(t)-* 'вскармливать, питать', оформленной причастным суффиксом *-t-*. Это форма совмещала значения единичности и множественности, мыслимой собирательно. Собир. *дѣть* 'дети' отмечено в сербско-славянских текстах евангелия, от него производна уменьшительно-ласкательная форма *дѣтьца,* давшая современное *dèca,* функционирующее на месте формы множественного числа и по существу ставшее множественным числом к ед.ч. *déte*. В современных говорах сербского языка известно собир. *di˝jet* 'дети'. Ср. также болг. и макед. *деца,* словен. *dęca* при ед.ч. *déte*. Вместе с тем слав. **dětь* обозначало и единичность – 'дитя, ребенок'. В этом значении оно сохранилось в чешском и польском языках: польск. силез. *dzieć,* чеш. морав. *dět'*, м.р. 'ребенок, мальчик'.

Слав. мн.ч. **l'udьje* образовано от ед.ч. **l'udь* с общим числовым значением 'народ/люди – человек'. Основа слова **leud-* – индоевропейская с первоначальным значением 'народившиеся, растущие', та же, что в готском глаголе *liudan* 'расти'. Праформа **lēudis* имеет соответствия в литовском собир. ед.ч. *liáudis* 'народ, люди', ср. также др.-в.-нем. *liuti* 'народ', ср.-в.-нем. *Liute*, заменившее форму ед.ч. *liut,* современное мн.ч. *die Leute* 'люди'. В латышском языке это форма мн.ч. *ļáudis* 'народ'. Но в прусском языке ей соответствует форма со значением единичности *ludis* 'человек, хозяин (зажиточный крестьянин)', ср. также бургундское ед.ч. *leudis* 'свободный человек; муж'. Ясно, что праславянская форма **l'udь* имела общее значение числа, совмещавшее единичность и множественность. Современное мн.ч. *люди,* известное в том или ином оформлении во всех современных славянских языках, праславянское по происхождению, образовано от первоначального ед.ч. **l'udь,* которое не сохранилось. Но от нее образована форма единичности *людинъ,* широко известная в древнерусском языке.

Полагаем, что значения единичности и множественности совмещали древние этнонимы, оформленные – независимо от происхождения основ – как древнеславянские словообразовательные типы на *-ь* и *-а,* например, др.-рус. *ливь* собир. 'ливы', ср. соответствие в латышском *lĩbis* ед.ч. в единичном значении 'лив' и подобные имена собирательные в древнерусском языке: *весь, донь* 'датчане', *русь, чюдь, корсь* или *морава, печера, угра, свѣя, мѣря* и под. Сингулятивы типа *русинъ, угринъ* вторичного и более позднего образования. Видимо, такая двойственность семантики, явно неудобная для говорящих, объясняет применение форм мн.ч. от этнонимов в равноценных с формами ед.ч. значениях: ед.ч. *русь* и мн.ч. *руси* 'русичи', аналогично – *ливь* и *ливы, весь* и *веси, угра* и *угри, прусь* и *пруси, корѣла – корѣлы, сѣверъ – сѣвери* и под., что обильно представлено в старорусских летописях.

Совмещение значений единичности и множественности в этнонимах – явление вовсе не только древнеславянское. Д.Н. Кудрявский отметил это в древнегреческом: "Единственное число обыкновенно обозначает что-либо как единицу, причем эта единица сама может быть и собирательной, напр., ὁ Πέρσης может значить не только '(один) перс', но и в собирательном смысле 'перс, персы'[5].

Можно заметить, что имена с общими значениями числа образуются нередко от вербальных и адъективных основ, выражающих общие понятия. Слав. **tьstь*, как полагает О.Н. Трубачев, имело первоначально собирательное значение 'родившие' и образовано от индоевропейского глагольного корня **tek-* 'рождать' (Трубачев. Слав. терм. родства 126). Но наряду с этим оно, очевидно, могло выражать и единичность, ибо относилось к лицам как мужского, так и женского рода, ср. рус. *тесть* 'тесть' и др.-польск. *teść* 'теща', словин. *čiesc* то же. Др.-рус. *теща,* видимо, более позднее. Этот пример стоит в одном ряду с ранее отмеченными праславянскими **dětь* и **l'udь*. Но все же формы, совмещающие единичность и множественность, не замыкаются этими типами. Укажем на примеры более позднего происхождения, в частности, с суф. *-ин-а*: др.-рус. *дружина* – собирательное 'товарищи, спутники, соратники' (отсюда и *дружина* как 'войско') и единичное – 'друг, товарищ, спутник; дружинник; супруг или супруга'. Поэтому в Повести временных лет по Лаврентьевскому списку XIV в. слово *дружина* употребляется и во множественном числе: *поимши ма̑лы дружины* (Л 16, 946 г.); *се идеть вы Ст҃ославъ... съ малыми дружины* (Л 23, 971 г.).

Таким образом, есть основания предположить, что словообразовательному отношению единичность–собирательность генетически предшествовало так называемое общее число, совмещавшее в единой форме выражения, по-видимому, равной основе, противоположные значения единичности и множественности. Следует, однако, оговориться, что речь идет лишь о следах значения общего числа. Нельзя ставить знак равенства между формами общего числа, обладающими, скажем, в адыгских языках согласованием глаголов в обоих числах в зависимости от значения подлежащего единственного или множественного числа[6], и тем, что дали нам вышеперечисленные факты: в них – лишь указание на то, что слово могло совмещать значения единичности и множественности в общей форме, пока язык не выработал для их выражения специальные средства. Но такое состояние можно представить как исходное для праиндоевропейского языкового единства в его дальней реконструкции.

Праславянский язык характеризовался развитой флексией, и в нем формы общего числа уже не функционировали. Они были вытеснены еще на индоевропейской основе морфологически выраженной оппозицией единственного и множественного числа, которая, по-видимому, имела деривационный характер. Ясно, что множественность, выраженная лексически, есть собирательность. На базе форм с общими значе-

ниями числа сформировались словообразовательные типы собирательной множественности. Имена собирательные – архаическое выражение идеи множества. Они генетически предшествуют в языках разных типов появлению грамматической парадигмы форм единственного и множественного числа, предшествуют оформлению флексии, с которой связана парадигматизация категории числа. Вместе с собирательной множественностью и единичность находит специальные средства для своего выражения – сингулятивы. Этот процесс совершался уже на общеславянской почве. Синкретизм выражения числовых значений сменился деривационной парадигмой форм единичности и собирательности; при этом собирательность, индифферентная в отношении форм своего выражения, в древних славянских языках, а, следовательно, и в праславянском, принимала как формы единственного, так и множественного числа. Так, общую форму **dětь* 'дитя/дети' сменили формы **dětę* (а также ст.-слав. **дѣтишть**, др.-рус. *дѣтичь* и *дѣтьць*) – ед.ч. и **děti* (мн.ч.); на месте общей формы **l'udь* 'человек/люди' образовались единичное **l'udinъ* и собирательно-множественное **l'udьje*.

Формы множественного числа *дѣти* и *людие* исконно имеют собирательное значение, на что указывает их сочетаемость с собирательными, а не количественными счетными словами (числительными), напр., др.-рус. *дъвои людие* или совр. *трое детей.*

Оппозиция единичности и множественности сначала оформилась только в классе активных существ. Так, форма единичности на *-инъ* типа *людинъ, русинъ, сѣминъ, шуринъ* применялась только в отношении лиц. Образования типа рус. *горошина, соломина, жемчужина,* тоже выражающие единичность, – поздние и иного происхождения. Это рефлекс того состояния праиндоевропейского языка, когда в нем существовала категория активности – инактивности, оказавшая существенное воздействие на грамматический строй, в частности, на формирование падежной системы, структуры предложения и типологию языка в целом.

Следует заметить, что современные словообразовательные типы имен собирательных представляют собой, по преимуществу, новообразования. Естественно, и функции у них иные – лексико-семантические, стилистические и т.д. Древние имена собирательные исконно выполняли роль выразителей множественности и в этой роли они включались в парадигмы грамматических форм множественного числа. Так, во всех древних славянских языках в парадигме слова *братъ* позицию формы множественного числа именительного падежа занимало собир. ед.ч. *братия/братрия,* которое само по себе склонялось в единственном числе. Морфологически правильная форма мн.ч. типа *brati* в древних славянских языках старшей письменной поры не обнаруживается (для именительного падежа!). Формы типа укр. *брати,* хорв. *brati* или чеш. *bratři* – поздние новообразования. Естественно, возникало противоречие между значением и функцией имени собирательного, с одной стороны, и грамматической формой выражения

единственного числа, – с другой. Разрешение этого противоречия – трансформация имен собирательных в подлинные формы множественного числа, т.е. плюрализация, составляющая одну из характерных закономерностей развития грамматического строя (грамматизацию) и общеязыковую универсалию. В результате в славянских, как и в других индоевропейских языках, были утрачены древнейшие индоевропейские словообразовательные типы имен собирательных. Преобразуясь в формы множественного числа, они дали новые форматы множественности. Но некоторые из них лексикализовались и утратили прежние структурные связи.

В праиндоевропейском языке продуктивным суффиксом собирательного значения в пассивном классе имен был суффикс **-a*(<**-aH*). Именно собирательные на *-a* в истории индоевропейских языков в большой массе были осмыслены как грамматические формы множественного числа среднего рода, который софрмировался на базе вещного или пассивного класса. Следовательно, славянские формы мн.ч. *врата, кола, дрова, уста* – исконные имена собирательные пассивного класса. Иные образования этого типа осмыслены как формы единственного числа женского рода, например, слав. *слама*, рус. *солома* – это исконная собирательная форма к единичному, представленному в латышском словом *salms* 'соломина' и в греческом κάλἄμος 'тростник'; слав. *зима*, лит. *žiema* и др.-греч. χεῖμα – собирательные к ед.ч. типа др.-инд. *himaḥ* 'холод'[7].

В связи с судьбой этого типа в истории индоевропейских языков удается, как кажется, по-новому объяснить происхождение праславянского имени собирательного *братия* (*bratria*), а вместе с тем и словообразовательной модели имен собирательных женского рода на *-ия*, обозначающих совокупные множества лиц мужского пола. О том, что собир. *братия* в славянских языках – древнейшее слово этого типа, свидетельствует прямое соответствие ему в древнегреческом φρατρία. Все другие образования на *-ия* (др.-рус. *сѣмия, шурия, дядия, дружия, кънязия, зятия*) – более поздние и образованы по типу первого. Слав. **brātii̯ā/*brātri̯ā* по происхождению аналогично форме множественного числа от др.-инд. *bhrātryam* (ед.ч. ср.р.) 'братство'. Типологически это форма множественного числа среднего рода, принятая на славянской почве за форму единственного числа женского рода, что вообще нередко в истории новых европейских языков, например, романских, в которых, как известно, латинские формы мн.ч. ср.р. восприняты как формы ед.ч. ж.р. С происхождением этого типа связано согласование глагольного сказуемого с собир. *братия* во множественном числе, что было нормой древнерусского синтаксиса. Если это составное именное сказуемое, то при согласовании с подлежащим *братия* связка получает форму множественного числа, а именная часть, выраженная прилагательным, – форму единственного. Такое нарушение согласования невозможно объяснить иначе, как тем, что именная часть сказуемого мыслилась сначала как форма множественного числа среднего рода, но

была переосмыслена в форму единственного числа женского рода, как и форма подлежащего, например: др.-рус. *Братья в бѣдахъ пособива бывають* (ПВЛ, Лавр. сп., л 68) и серб. *Браћа су здрава* 'братья здоровы'.

Начавшийся в праязыке процесс парадигматизации форм единственного и множественного числа продолжался в истории славянских языков и отражен в древней письменности и в диалектах. Он выражается в падении форм единичности на *-ин* в южных и западных славянских языках, в некотором сокращении их количества по сравнению с древними в современных восточнославянских языках[8]. Значение единичности абстрагируется в формах единственного числа. Вместе с тем имена собирательные преобразуются в грамматические формы множественного числа в соответствии с их древнейшей функцией. В целом категории единичности и собирательности растворяются в широкой грамматической парадигме форм единственного и множественного числа. Магистральная линия развития категории числа в истории славянских языков направлена от словообразования к словоизменению. Благодаря флективному выражению своих значений грамматическая категория числа стала универсальной, облигаторной категорией словоизменения.

Флективные формы единственного числа исконно являются формами номинации, поэтому наряду с обычным количественным значением единичности они характеризуются семантическим признаком единства, целостности и нерасчлененности выражаемых понятий. Соотносительные формы множественного числа выражали два типа значений множественности – количественную (простое множественное число) и собирательную (качественное множественное). Первое значение проявлялось сочетаемостью с количественными числительными, а второе – с собирательными. От имен собирательных возможно было образование форм множественного числа, но не в привычном сейчас значении множества однородных единиц, а в особом значении расчлененности, дискретности совокупного множества, например: слав. ед.ч. *камение* – мн.ч. *камения* (совр. мн.ч. *каменья*), ед.ч. *листие (листвие)* – мн.ч. *листия* (совр. мн.ч. *листья*), ед.ч. *трупие* – мн.ч. *трупия (трупья)* и под. Это семантическое отношение форм единственного и множественного числа имен собирательных в дальнейшем было преобразовано в абстрагированном количественном противопоставлении, формы множественного числа на *-ья* типа *каменья, листья, деревья* и т.п. вытеснили имена собирательные в функции выражения множественности: русск. *камень – каменья, дерево – деревья, лист – листья* и под. Переход функции выражения множественного числа от имен собирательных к грамматическим формам в истории славянских языков означал формализацию числовых оппозиций, определившую в дальнейшем словоизменительный, грамматический характер категории числа.

Категория двойственного числа, унаследованная из индоевропейского языкового состояния, в древних языках представлена весьма неравномерно – наиболее полно в ведийском и авестийском, в состоянии

разрушения – в диалектах древнегреческого языка, совсем отсутствует в хеттском, италийских и кельтских (в латинском языке удержались формы количественных слов с окончанием двойственного числа: *ambō* 'оба – тот и другой' и *duō* 'два'), из германских и балтийских формы двойственного числа есть только в готском (у местоимений и глаголов 1 и 2 лица), двойственное число отмечено в говорах литовского языка, но отсутствует в древнепрусском. На этом фоне славянская парадигма двойственного числа, сохраненная с поразительной целостностью в старославянской книжности, порой представляется как новая, искусственно возрожденная в целях архаизации сакрального языка[9]. Но такое представление безосновательно. В славянских языках старшей письменной поры наблюдается падение двойственного числа, особенно интенсивно с 13 по 15 век, а старославянская письменность вообще не содержит каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о более ранней утрате двойственного числа. Здесь нет отклонений от нормы. Древнеславянская письменность, включая и древнерусскую, сохранила ряд очень древних форм двойственного числа, подобных древнеиндийским. Пример 1: сочетание *братъсестра:* бѣаста ѾтолѢ яко *братъсестра* ωба (Жит. Авкс. 14 Мин. Чет. февр. 198) (Срезневский I, стб. 173), в форме дательного-творительного падежей: стра[с] Евлампа и Евлампия... присныма *братъсестрома* (Остр. ев. 228; Арх. ев. 192). Пример 2 (указан А.И. Соболевским[10]): перенесена быста *Бориса* и *Глѣба* (Новг. 1-я лет. по Син. сп. 14 в.), где каждое имя собственное самостоятельно принимает форму двойственного числа: *Бориса* вместо *Борисъ* и *Глѣба* вместо *Глѣбъ*. Это своеобразные типы эллиптического двойственного, архаический характер которого не вызывает сомнений.

Семантически двойственное число основывается на представлении о естественной двоичности, парности и, полагаем, в первую очередь – на осознании симметрии тела, взаимодействии двух одинаковых органов и далее – на двучастности мироздания (например: земля и небо) и т.п., но прежде всего – это естественная парность. В старославянской письменности в формах свободного двойственного числа последовательно употребляются следующие слова: *вѣжда – вѣждѣ (вѣжди), вѣко – вѣцѣ, глезно – глезнѣ, голѣнь – голѣни, исто – истесѣ, колѣно – колѣнѣ, крило – крилѣ, ланита – ланитѣ, нога – нозѣ, око – очи, пазуха – пазусѣ, плесна – плеснѣ, плеште – плешти, полъ – полы, рамо – рамѣ, рѫка – рѫцѣ, слухъ – слуха, стьгно – стьгнѣ, съсьць – съсьца, устьна – устьнѣ, ухо – уши* и т.п.

Нами тщательно изучены все случаи употребления этих слов в старославянских памятниках письменности. В результате выяснилось, что они имеют формы трех чисел – единственного, двойственного и множественного. Формы двойственного числа соотносятся с одним лицом, формы множественного числа встретились в контекстах, где речь идет о множестве лиц или вообще живых существ. Однако не отмечено ни одного случая, чтобы множественным числом была обозначена пара органов или частей тела одного лица.

Условием функционирования форм двойственного числа в древних славянских языках была непременная, обязательная соотносительность их с формами единственного числа в значении одного лица или предмета. Формы двойственного числа не существовали отдельно от единственного. Поэтому в условиях живого функционирования форм двойственного числа невозможна была их лексикализация. Двойственное число выражало соединение или единство двух однородных, функционально связанных, взаимодействующих, соотнесенных друг с другом, но все же раздельных, самостоятельных предметов или частей целого. Двойственное и множественное различались по значению и выражению (формально), но они не занимали взаимно исключающих позиций. В старославянских текстах формы дистрибутивного двойственного и формы множественного у названий парных или двучастных предметов употреблялись в значениях, соответствующих одному и тому же действительному содержанию, замещая друг друга, ср. формы мн.ч. *ржкы* и дв.ч. *ржцѣ* в аналогичных контекстах: 1) двойственное число: на *ржкоу възмжтъ тѩ* (Мариин. ев., Мтф. IV, 5, 8, 12); въ *ржцѣ* чл҃вкомъ (60.8); възложишѧ *ржцѣ* (102.4); истираѭште *ржкама* (класы) (214.27); 2) множественное число: не оумываѭтъ бо *ржкъ* своихъ (Мтф. XV. 2, 51, 12); прѣдаатъ сѧ въ *ржкы* грѣшъникомъ (101.17); въ *р҃кахъ* змиѩ възъмжтъ (Мрк. 185.3); *ржкы...* възложѧтъ (185.6), на *ржкахъ* възъмжтъ тѧ (Лк. IV.11); възложѧтъ на вы *ржкы* своѩ (Лк. XXI.12).

Эти и подобные факты убедительно свидетельствуют, что двойственное и множественное находились по одну сторону оппозиции единственному числу. И в целом категория числа не представляла собой тройственной оппозиции форм, как обычно считается: формы единственного числа противопоставлялись формам двойственного и множественного, но формы двойственного числа не противопоставлялись формам множественного. Поэтому абстрагирование количественных понятий и формирование абстрактного числового ряда, грамматической парадигмы, поглотившей конкретные множества, нашло свое выражение во взаимодействии форм двойственного и множественного числа, в историческом переосмыслении и преобразовании форм двойственного числа в формы множественного и, наконец, в поглощении категории двойственности обобщенной и абстрагированной множественностью.

Примечания

[1] *Тронский И.М.* Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967, 50.

[2] *Он же.* К семантике множественного числа в греческом и латинском языках // Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук. Вып. 10, 1946, 62.

[3] См.: *Савченко А.Н.* Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 1974, 16.

[4] См.: *Шантрен П.* Историческая морфология греческого языка. М., 1953, 97.

[5] *Кудрявский Д.Н.* Грамматика древнегреческого языка. Тарту, 1964, 269.
[6] См.: *Кумахов М.А.* Число и грамматика // ВЯ. 1969. № 4, 67.
[7] См. об этом: *Schmidt I.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889; *Трубачев О.Н.* Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1968. М., 1971, 24–67; *Дегтярев В.И.* Рефлексы индоевропейской формы собирательности на *-ā в балтийских и славянских языках // Baltistica, 1994, № 4. Priedas.
[8] См.: *Дегтярев В.И.* Плюрализация имен собирательных в истории славянских языков // ВЯ 1987, № 5, 59–73.
[9] См.: *Dostál A.* Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině. Praha, 1954, 17–24.
[10] См.: *Соболевский А.И.* Лекции по истории русского языка. Изд. 2. СПб., 1891, 187.

Н.В. Чурмаева*

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Нет никакого противоречия в том, что исторические словари, являющиеся основным источником исследований по исторической лексикологии, сами создаются в результате лексикологических исследований. Это положение в настоящее время так общеизвестно и бесспорно, что на нем нет необходимости настаивать.

Общеизвестно и другое: исторический словарь – это словарь текстов. Все данные о слове лексикограф должен соотнести с условиями текста и в конечном счете руководствоваться только им. Как писала Л.Л. Кутина в одной из своих работ, "показ уровня употребления является принципиальным требованием для исторического словаря". Это означает, что из всех своих знаний о слове лексикограф отразит в словарной статье лишь те, которые согласуются с текстом. Различие между методологией исследования лексики и методом ее описания в словаре нередко приводит к противоречиям семантического плана, снять которые могут только дальнейшие исследования.

Как и в любом другом исследовании, при определении значения слова в словаре важна доказательность. Отказ от нее, диктуемый традиционным типом исторического словаря, весьма осложняет работу лексикографа-историка и оставляет его труд в какой-то степени незаконченным. В данном случае речь идет не о таких словах как, например, *хлѣбъ*, значение которого со всей его бытовой и религиозно-отвлеченной символикой является устойчивым и хорошо изученным. Речь идет о редких словах, для которых текст является основным источником сведений о значении для лексикографа и основным доказательством правильности толкования для читателя словаря. Степень же информативности текстов, как известно, бывает разной.

Встречаются "прозрачные" тексты, не только иллюстрирующие, но и доказывающие правильность определения. Например, для слова *епископосъ* 'наблюдатель': скопосъ холмъ высокъ наричетсѧ. на

немже стражь бываеть. і кто на немь верху стоꙗ стережеть. *і* смотрить сѣмо і овамо. *епископосъ* нарицаетьсѧ. Кормчая рязанская 1284, 45г, см. греч. ἐπίσκοπος.

Бывают тексты "глухие", из которых значение слова невыводимо. Именно для таких случаев традиционная форма словарной статьи предстает как неудовлетворительная. Приведем один пример. В "Материалах для Словаря древнерусского языка" И.И. Срезневского глагол *съчувати* определен как 'узнать', в "Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)" – как 'увещевать' при одинаковом для обоих словарей тексте. Отсутствие в словарной статье каких-либо доводов в пользу предлагаемого толкования приводит к тому, что исследователь, пользующийся словарем, вынужден вновь искать его обоснование, т.е. делать работу, уже сделанную автором словарной статьи.

В ряде случаев лексикограф может показать обоснованность своего определения самим толкованием, например, к толкованию существительного *десньць* 'печень' дать пояснение "орган, расположенный с десной ('правой') стороны". См. также в "Словаре русского языка XI–XVII вв." определение одного из значений прилагательного *наметочный*: 'предназначенный для изготовления особого рода ткани (ср. польское *namiotka* ~ 'род полотна')?' Широко используется этот метод в "Материалах" Срезневского, например, в статье *засобь* 'опять' приводится указание на чеш. *zas, zase* и польск. *zaś*. В случае, если такое соответствие является ошибочным и ошибочно толкование слова (что нельзя исключить в лексикографической работе), читателю будет ясен ход рассуждения автора, а это дает возможность лексикологу отрабатывать другую линию в поисках места слова в структурно-семантической системе языка.

Однако не все исторические словари пользуются этим способом. "Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)", наиболее полно представляющий лексику древнейшего периода русского языка, придерживается иных принципов толкования слов. Лексические соответствия последовательно приводятся только для заимствований из греческого языка. Авторское сомнение в правильности толкования традиционно обозначается знаком "?". Следует особо подчеркнуть, что большинство вопросов, поставленных и подразумеваемых, в действительности относится не столько к слову, сколько к тексту.

При лексикографическом описании древнерусской лексики решение лексикологических вопросов осложняется проблемами текстологическими, иногда прямо зависит от них. Для примера возьмем простейший случай, один из наиболее часто встречающихся в материале памятников, когда любое из возможных членений текста на слова (т.е. любое чтение текста) может быть поставлено под сомнение. Пример из Палеи по сп. 1406 г.: да и вы заповѣсте чадомъ вашимъ. иже *исказахъ* вамъ. (л. 102в). В т. IV Словаря XI–XIV вв. этот пример дан в словарной статье *изсъказати*, т.е. с начальным *и*. Решение правильное, хотя чтение *и сказахъ* тоже возможно, имея в виду распространенность

употребления союза *и* в роли усилительной частицы именно в препозиции к глаголу: он же... не хотѣ *и слышати* ласкы оца своего (ЛН XIII–XIV, 141, 1265 г.). Правильность решения подтверждается другим примером, случайно не попавшим в упомянутую статью, – из Жития Варлаама и Иоасафа XIV–XV вв., л. 9 г: тѣмже ꙗвѣ нѣкаꙗ и суетнаꙗ тщесловьꙗ *исъказалъ* ѥси. Здесь вопрос снимается наличием греческого текста, где нет союза καί, а только глагол διεξῆλθεσ (διεξῆλθον – аор. от διεξέρχομαι 'обстоятельно излагать, рассказывать'). Однако вопрос формы слова остается открытым: *изсъказати* или *изказати*? Семантические границы того и другого глагола неопределенны и помочь в решении не могут, т.е. очевидных смысловых преград для формы *изказати* нет.

Подобный случай находим в тексте изданного памятника – Ипатьевской летописи в записи под 1249 г.: Львови же. дѣтьску соущоу пороучи и Василкови. храброу соущоу боꙗриноу. и крѣпкоу. и да *и стрежеть* его во брани. (л. 269 об.). (Речь идет о Львс, юном сыне князя Даниила Романовича галицкого, и Васильке Гавриловиче, боярине галицком, товарище князя Даниила). Вопреки издателям летописи, есть основание читать последнюю строку приведенного текста иначе: да *истрежеть* его во брани – 'да сохранит, сбережет его в бою', т.е. видеть здесь глагол с приставкой: *изстрещи, -гоу, -жеть* – 'уберечь'. В качестве справки отметим, что в "Материалах" Срезневского нет глагола *изстрѣщи*, а в словарной статье *стрѣщи* нет интересующего нас примера из Ипатьевской летописи.

Ниже остановимся на более трудных случаях, требующих подробного разбора текста прежде всего потому, что эти слова уже представлены в словарях.

мѣстѣлица

Интерес к этому слову вызван его необычной формой: с точки зрения русского словообразования, она представляется странной.

Слово встретилось в Пандектах Антиоха по списку Троицкого сборника (Торжественника) XII/XIII вв. и имеет своего рода традицию лексикографического описания. *Мѣстѣлица* приводится в "Материалах для Словаря древнерусского языка" И.И. Срезневского в сопровождении следующего текста: Въ малѣ ѥтерѣ *мѣстѣлици* (in agello quopiam). Панд. Ант. XII–XIII в. 138. и с толкованием agellus. Соответственно слово представлено в обратном словаре "Indeks a tergo do Słownika staroruskiego I. Srezniewskiego" (Warszawa, 1968). Со ссылкой на Срезневского (знак "звездочка" в конце статьи) слово *мѣстѣлица* вошло в "Словарь русского языка XI–XVIII вв.", толкование слова сопровождается вопросом: *Мѣстѣлица*, ж. 'Небольшой участок земли /?/: Въ малѣ етерѣ *мѣстѣлици* (in agello quopiam). Панд. Ант. XII–XIII вв., 138*.

В настоящее время опубликованы оба памятника письменности, в которых есть это слово, – памятники изданы с разделением на слова: Троицкий сборник (Лейден, 1988. Публикаторы И. Поповский, Фр. Томсон, В.Р. Ведер) и Пандекты Антиоха XI в. (Лейден, 1989. Публикатор И. Поповский). Текст с интересующим нас словом по списку Троицкого сборника дословно повторяет текст Пандектов Антиоха XI в., различия есть только в графике и орфографии (*създавъи* XI в. – *създавыи* XII–XIII вв., *добрынѧ* XI в. – *добрынꙗ* XII–XIII вв., *съвръшаѫшта* XI в. – *съвьршающа* XII–XIII вв. и т.д.), поэтому в нашем изложении будет использоваться только текст Троицкого сборника по рукописи ГБЛ, ф. 304, № 12, входящей в число источников "Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)".

Приведем полный текст с этим словом:

> азъ ти рекоу. б҃ъ създавыи чл҃вка. самовластьна и сътвори. приимъна прилогъ добрынꙗ. и злобы. насажениѥ многа чювьствиꙗ. ꙗко въ малѣ ѥтерѣ *мѣстѣлици*. слоужитель чинъ съвьршающа. посажаѥть въ нихъ ꙗко ц҃рѧ блага и правьдьна. вл҃дчнꙗго оума. соудима оубо ѥсть. тобою. добръ и зълъ. сирѣчь цѣломоудрьѥ. и нечистота. ласкьрдьѥ. и пощениѥ. ꙗрость. и кротость. величаниѥ. и съмѣрениѥ. и ѡтиноудь всѧка добрадѣтель тѧжоу имать съ злобою. аще оубо оумъ ѡсоудить зълобоу. а ѡправьдить доброу дѣтель. то правѣ соудилъ ѥсть. и съхранилъ соудъ и правьдоу. аще ли ѡть мънога питиꙗ забоудетьсѧ. то падеть ѡть. // правьды ꙗко ихозиꙗ. и больнъ боудеть ꙗзеѭ съмьртьноѭ. сирѣчь погоубить расмотрениѥ. и дасть побѣжающии съсоудъ зълобѣ. и оумьреть вѣчьноѭ съмьртию. (лл. 139–139 об.)

Мы предлагаем другое членение текста на слова: ꙗко въ малѣ ѥтерѣ *мѣстѣ лици. слоужитель* чинъ съвьршающа. Вот некоторые из доводов в пользу такого чтения.

Выделяемое сочетание *лици слоужитель*, хотя и не повторяется в других памятниках, по своему характеру типично. Наряду с сочетаниями, в которых *ликъ* стоит в форме ед.ч. (*ликъ женъ* собраныхъ ту. Пал 1406, 126в), в памятниках встречаются сочетания с этим словом в форме мн.ч.: срѣтоша тѧ *лици черноризець*. ПКП 1406, 105а; причти мѧ въ *ликы ст҃хъ. мученикъ* твоихъ. ЛИ ок. 1425, 208 (1175).

При нашем чтении снимается недоумение, вызываемое отсутствием согласования существительного и глагола-причастия: *слоужитель* чинъ *съвьршающа*. Кроме того, как нам кажется, становится оправданной следующая фраза: посажаѥть въ нихъ ꙗко ц҃рѧ блага и правьдьна. вл҃дчнꙗго оума. *Въ нихъ* – подразумевается 'среди многих чувств' и 'среди ликов служителей'. Только при таком понимании (переводе) появляется параллелизм, предопределяемый синтаксическим приемом

сравнения. Слово *мѣсто*, высвободившееся при новом чтении, может быть понято как 'поместье, имение'.

В приведенном выше большом тексте Пандектов Антиоха по списку Троицкого сборника есть еще одно место, сомнительное с точки зрения деления на слова: бъ създавыи чл҃вка. самовластьна и сътвори. *приимъна прилогъ* добрыньѩ. и злобы. насажениѥ многа чювьствиѩ. Эта фраза используется в "Материалах" Срезневского как иллюстрация в словарных статьях *приимьныи* и *прилогъ. Приимьныи* 'способный воспринимать': *Пріимна* прилогъ добрыня и злобы (δεκτικόσ, capacem... propositi aut virtutis aut vitii) – Панд. Ант. (В.). *Прилогъ* 'намерение': Създавыи чл҃вка самовластна и сътвори, пріимна *прилогъ* добрыня и злобы (capacem propositi aut virtutis aut vitii) – Панд. Ант. (В.). Оба примера – выписки из Словаря Востокова А.Х., взятые последним из Пандекта Антиоха в сп. Имп. публ. библ. XVI в. из собр. гр. Толстого (Оп. Толст., ч. I, № 45).

Представляется более оправданным другое членение и другое чтение: *приимъ на прилогъ* (далее по тексту). Прежде всего за такое деление говорит сомнительность формы прилагательного *приимъна* (речь идет о суффиксальном гласном) для XI–XII вв. Ср. в том же тексте: *самовластьна, правьдьна, съмьртьною, вѣчьною*. См. также *приѥмьноѥ* Мин. 1096 г., сент. (Срезневский II, стб. 1400), пріимьное Іо. екз. Бог. (Срезневский II, 1406: приимьныи). Далее, будь в этом тексте прилагательное *приимьныи*, следовало бы ожидать другое управление – не вин. пад., а скорее дат.: *приимьныи* ('восприимчивый') *доброу, зълоу*. См. пример из Григория Богослова XIV в., л. 27г: аг҃гли же не всѧко непреложни. но *приимни добру* и *злу*.

Основной же довод, убеждающий принять другое чтение, – требование смысла. Начало отрывка представляет собой широко известное и во множестве варьируемое по памятникам изречение: По образоу Б҃жиѭ, сътворьшоуоумоу ѥго, съзьданъ бы чл҃къ, рекъше самовластьнъ, оуньшеѥ или горьшеѥ изволѥниѥ самохотиѭ избираѩ. (Изб. 1073 г., л. 21. Срезневский III, 247). При нашем чтении рассматриваемого отрывка слова *б҃ъ създавыи чл҃вка. самовластьна* и *сътвори* синтаксически не связаны со следующими, – причастие *приимъ* подразумевает другое подлежащее – *человек*. Весь текст мы считаем возможным перевести так:

"Я тебе говорю:
Бог, создавший человека, самовластным его сотворил.
[*Человек*], приняв на приложение добра и зла
насаждение многих чувств,
как в некоем малом месте
лики служителей порядок осуществляют,
сажает в них, как царя благого и праведного,
владычный ум, который тобою судит.
Добро и зло, то есть целомудрие и нечестивость,

обжорство и пощение, ярость и кротость, величание и
смирение – вообще всякая добродетель тяжбу имеет со злом.
Если ум осудит зло и оправдает добродетель,
то правильно судил и сумел соблюсти суд и правду.
Если же от много пития забудется, то падет от правды, как
Ихозия, и поражен будет раною смертельною,
то есть если погубит рассмотрение
и даст побеждающий сосуд злу,
тогда умре вечною смертию".

Требует пояснения имя "*Ихозия*". По всей видимости, здесь имеется ввиду *Охозия,* нечестивый царь израильский, который умер после тяжкой болезни, полученной в результате падения с балкона своего дома в Самарии. О том, что болезнь царя смертельна, предсказал пророк Илия. "Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии... и царствовал над Израилем два года, и делал неугодное пред очами Господа..." (III Цар., XXII, 51–52). "И умер он по слову Господню, которое изрек Илия" (IV Цар., I, 17).

засобь

Это наречие представлено в "Материалах для Словаря древнерусского языка" Срезневского, в "Словаре русского языка XI–XVII вв." и в " Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)" с общим для всех трех словарей толкованием 'опять'. Текст, иллюстрирующий это значение, также является одним и тем же во всех словарях, – это летописная запись под 866 годом. "Материалы" дают ее предельно кратко: Волнамъ велькамъ въставшемъ *засобь.* (Пов.вр.л. 6374 г.). Словарь XI–XIV вв. немного расширяет ее: и волнамъ велькамъ въставшемъ *засобь* безбожных Руси корабль смѧте (ЛЛ 1377, 7 об.). В Словаре XI–XVII вв. приводится наиболее полный текст по Переяславской летописи, л. 6: Тишинѣ сущи и морю укротившюся, абие буря с вѣтромъ въста и волнамъ великимъ въставшимъ *засобь* безбожныхъ руси корабли смяте и ко брѣгу приверже и избиа (СлРЯ XI–XVII вв. 5, 298).

Предлагаемое толкование слова кажется немотивированным, даже сомнительным, потому что текст, особенно в последней цитации, нельзя отнести к "глухим", т.е. таким, которые не говорят ни "за", ни "против" толкования. Значение наречия *опять* предполагает повторение действия, указания же на повторность действия в тексте нет, наоборот, говорится о тишине и укротившемся море.

Для прояснения описываемой ситуации приведем полный текст записи по Лаврентьевскому списку летописи:

> "Иде Аскольдъ и Диръ на Греки (русь была тогда языческой, поэтому и названа ниже "безбожной")... и въ двою сотъ кораблъ Цр҃ьградъ ѡступиша. Цр҃ь же... с патреархомъ съ Фотьемъ... всю нощь мол҃тву створиша таж бж҃твную св҃ты Бц҃ѧ ризу с ими ['сняв'?] изнесъше в рѣку ѡмочивше тишинѣ сущи ⟨и⟩ морю оукротившюсѧ."

И далее идет знакомый нам текст: "абье /'тотчас, сразу же'!/ бурѧ въста с вѣтромъ и волнамъ вельꙗмъ въставшемъ *засобь* безбожных Руси корабль смѧте". Слово *засобь* в этом рассказе может быть переведено как 'вплотную друг за другом, безостановочно, непрерывно'.

Укрепляет в этом мнении значение прилагательного *засобитыи* из Златоструя XII в., приведенного в "Материалах" Срезневского со ссылкой на Востокова – 'один за другим следующий, частый': Бѣды *засобитыꙗ* (κινδύνουσ ἐπαλλήλους). Со ссылкой на Срезневского приводит этот пример и Словарь XI–XVII вв. Словообразовательная связь *засобь – засобитыи, сугубь – сугубитыи* (Срезневский I, 945; III, 594) кажется очевидной, хотя вообще суф. *-ит-* в древнерусский период "обнаруживает чрезвычайно слабую продуктивность"[1].

Не оставляет сомнения в правомерности нового толкования наречия *засобь* еще один случай употребления этого редкого слова. Обнаружено оно в Рязанской кормчей 1284 г. при объяснении названия одного из соборов. Приведем предельно полный текст, предшествующий фразе с интересующим нас словом, чтобы исключить собственные комментарии. Лист 170 а-в:

> "Съборо сь надъписаетьсѧ сице. стыи великии первыи. и вторыи събо//ръ иже въ костѧнтинѣ градѣ собравыисѧ. въ всечстьнѣмь храмѣ. стхъ и прехвалныхъ апслъ. сказъ. (т.е. далее следует объяснение такого необычного названия собора) Недооумѣтисѧ есть зде. како едины съборо сь. первы и вторыи. глтьсѧ. то же имать сицѣ. съборъ въ прежеречнѣмь. собрасѧ храмѣ. и сопрѣшасѧ правовѣрнии. со иновѣрники. и мнѧщесѧ правовѣрнии. ꙗко прѣпрѣша. и хотѧхоу писати гла [*вм.* глана? слог не дописан из-за совпадения его со следующим предлогом, что обычно для рукописей] на съборѣ и не дадѧхоу иновѣрнии. семоу быти... и тако разыидесѧ съборъ ѡть. неписанымъ ѡставшимъ. гланымъ оубо на немь. и потомь прешедшю времені // въторыи съборъ бысвъ [*так в рук.!*] въ тои же цркви. и пакі ѡ тѣхъ же словѣсехъ. подвижесѧ бѣсѣда та. тогда же и списана быша гланаꙗ. тѣмь и рѣша семоу събороу единомоу соущю поистѣнѣ первомоу и второмоу именоватисѧ. ꙗко двожды *засобь* бышю съшествию стхъ ѿць."

Как видим, значение наречия *засобь* в приведенном отрывке полностью совпадает со значением в летописном тексте – 'без перерыва, вплотную (следуя) один за другим', что хорошо согласуется с определением прилагательного *засобитыи*, данным Востоковым. Тот факт, что слово *засобь* встретилось в таких разных по жанру и языку памятниках, как летопись и кормчая, существенно изменяет первоначальное представление о его употреблении в древнерусском языке.

В качестве справки заметим, что пример со словом *засобь* из Рязанской кормчей случайно не попал в словарную статью *засобь* в т. III "Словаря древнерусского языка XI–XIV вв." и будет дан в Дополнении к Словарю.

сыроръзаниѥ

Лексикология и лексикография как разделы науки о языке развиваются (или должны развиваться) параллельно. Пласты лексики, не затронутые лексикологическим изучением, и в словарях часто бывают представлены "в сыром виде". В таком случае словарь выполняет роль "материалов к словарю", как в свое время излишне скромно назван был прекрасный труд И.И. Срезневского.

К таким материалам, в частности, можно отнести почти все слова со знаком "?" на месте толкования ("почти" – потому что некоторые из таких слов действительно являются "бессмысленными" для данного текста, в данном употреблении).

На примере рассмотренного выше слова *мѣстѣлица* можно наглядно представить, как велика сила инерции, или традиции, в лексикографической работе историка, тем более когда у истоков ее такие имена как Востоков и Срезневский. На примере толкования слова *засобь* – та же картина. И это кажется в порядке вещей, т.к. преемственность в лексикографии (тем более при описании языка того же периода и одних и тех же памятников) не только нужна, но и обязательна с любой точки зрения.

Теперь остановимся на одном из слов, имеющих на месте толкования знак вопроса. В "Материалах" Срезневского без толкования оставлено слово *сырѣзаниѥ* с примером из Сказания о Борисе и Глебе по Сильвестровскому списку XIV в.: Нѣсть оубииство, нъ сыроръзаниѥ; что зло сътворихъ, свидѣтельствуите ми." В картотеке " Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.", созданной, как известно, по принципу полной расписки памятников, *сыроръзаниѥ* также представлено одним примером из того же "Сказания" по списку Успенского сборника XII в., изданного А.А. Шахматовым и П.А. Лавровым в 1899 г. Автор словарной статьи в Словаре тоже дал это слово без толкования.

Вместе с тем, морфология слова ясна, ясен текст, в котором отмечено слово, хорошо изучен памятник (в 1971 г. он опубликован в составе издания "Успенский сборник XII–XIII вв." под ред. С.И. Коткова), наконец, в деталях изучено историческое событие, описываемое в "Сказании": текст с нашим словом представляет собой предсмертные слова князя Глеба, младшего сына Владимира Святого, к слугам Святополковым, посланным его убить.

Из истории известно, что князь Глеб был значительно моложе своего брата Бориса, но даты рождения того и другого неизвестны. С.М. Соловьев считает, что в момент убийства Борису не могло быть более 25 лет. Но это крайняя дата, в Сказании же он описывается

очень юным: тѣлъмь бяше красьнъ. высокъ... очима добраама веселъ лицьмь *борода мала.* и *оусъ. младъ бо бѣкще.* (л. 18а). И далее там же: "акы цвѣтъ цвьтыи въ оуности своки". В "Сказании" Борис называет Глеба своим *братцем меньшим.*

Возраст князя Глеба имеет прямое отношение к пониманию слова *сырорѣзаник*, но гораздо важнее фактического – "литературный" возраст князя, то есть тот, в котором представляет его автор "Сказания о Борисе и Глебе". Автор сравнивает Глеба с колосом несозревшим, с лозой невыросшей, еще не давшей плода:

> "помилоуите оуности мокѣ... не пожьнете мене отъ житиꙗ несъзьрѣла не пожьнѣте класа не оуже съзьрѣвъша. нъ млеко безълобиꙗ носѧща. не порѣжете лозы не до коньца въздрастъша. а плодъ имоуща... оубоитесꙗ рекъшааго усты ап͡сльскы. не дѣти бываите оумы зълобикмь же младеньствоуите. а оумы съвьршени бываите. азъ братик и зълобикмь и въздрастъмь кще младеньствоую. се нѣсть оубииство нъ *сырорѣзаник.*" (л. 14а).

Обращаясь к слугам Святополка, князь называет их не только *братие,* но и *господие.* Это лишний раз показывает, что он был самым младшим из всех участников драмы.

Слово *сырорѣзаник* может быть переведено как ‘срезание сырого, незрелого, еще не давшего плода’. Соответствующее значение имени прилагательного *сыръ* в языке древнерусской письменности представлено единичными примерами, которые сами по себе могут показаться не вполне надежными, но все вместе дают представление о возможности существования смыслового ряда – ‘сырой, молодой, зеленый, несозревший’: Внегда бо риксъ сѣде ѡбѣдати. и....павлинъ. [он был у царя огородником] зелиꙗ бл͡гооуханьна и младок [так в рук.!] *кодиментъ сыръ* носѧ влѣзе (Пандекты Никона Черногорца 1296 г., 83); и толикоу имѧше болѣзнь нестерпимоу, ꙗко дерзноувъ испроси *ꙗблъко сыро* и ножь (Георгий Амартол XIII–XIV вв., 138а). В греч. тексте нет соответствия для *сыро*: μῆλον ὁμοῦ καὶ μάχαιραν); приꙗ же иꙗковъ *жезлъ* орѣховъ *сыръ.* и испестри. и вложи в корыто. идеже овци пьꙗху. (Χλοράν – Григорий Богослов XIV в., 174а). Ср. объяснения в "Толковом словаре" Даля: "молодо, зе́лено – незрело, безрассудно" (Даль² I, 677), "сырые плоды – зеленые, недоспелые" (Даль² IV, 375).

Необычность слова *сырорѣзаник* легко объясняется всем стилем "Сказания", в высшей степени эмоциональным. Стремлением автора к выразительности можно объяснить и необычное (по крайней мере, для современного сознания) противопоставление убийства и сырорезания. "Это не есть убийство, но сырорезание", то есть последнее несравненно хуже убийства, значительно бо́льший грех, чем убийство. Напомним, что автор Сказания был христианином. Дети князя Владимира Борис и Глеб тоже были христианами (их имена при крещении Роман и Давид).

По нормам христианского вероучения не всякое убийство считалось законопреступным, – например, не было таковым убийство преступника по правосудию или убийство на войне, в бою. Поэтому князь Глеб в обращении к слугам Святополка просит назвать свою книгу: "если какое зло совершил я, то свидетельствуйте мне, если же крови моей хотите насытиться, то ведь я уже в руках ваших и брата моего, вашего князя". Именно в таком контексте *сырорѣзаниѥ* (конечно, в его символическом смысле!) было бóльшим злодеянием, чем убийство, по бессмысленности, напрасности его.

Примечания

[1] *Зверковская Н.П.* Суффиксальное словообразование русских прилагательных XI–XVII вв. М., 1986, 72.

А.К. Матвеев*

ФИННО-УГОРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ГОВОРАХ РУССКОГО СЕВЕРА. I

1. Новые данные о коми-зырянских заимствованиях в говорах русского Севера

В своей статье о коми-зырянских заимствованиях в русском языке финский лингвист Я. Калима рассматривает около ста русских диалектных слов[1]. Среди них есть как бесспорные заимствования из коми языка, так и слова, неясные по происхождению, но зафиксированные и в коми языке, и в русских народных говорах. Однако в распоряжении Калимы были только словарные источники начала XX в., и поэтому корпус выявленной им русской диалектной лексики, заимствованной из коми языка, ограничен. Кроме того, некоторые этимологии Калимы со временем были отвергнуты или уточнены[2]. Тем не менее именно труд Калимы положил начало изучению русских диалектных заимствований из языка коми.

Лексические заимствования из коми-зырянских диалектов распространялись как на запад – в говоры русского Севера, так и на восток – в уральские и сибирские диалекты русского языка, при этом мог происходить перенос заимствований из коми языка русскими переселенцами. Так, слово *виска* 'проток'[3], скорее всего, сначала проникло из коми языка в мезенские и пинежские говоры русских, оттуда – в Припечорье, а затем распространилось по Сибири вплоть до Колымы и Камчатки. В то же время могли иметь место и случаи параллельного

(возможно, неоднократного) заимствования одного и того же слова в разные русские говоры, которые контактировали с коми языком. Вообще картина возникает довольно сложная, к тому же усугубляемая трудностями отделения коми-зырянского материала от коми-пермяцкого ввиду большой близости этих языков.

В ходе работы над статьей о заимствованиях из пермских языков в русских говорах Северного и Среднего Урала[4] – своего рода дополнением к труду Калимы – у автора складывалось сперва впечатление, что заимствований из коми языка на Урале больше, чем на русском Севере, однако этот факт нашел объяснение в том, что на Урале заимствования собирались целенаправленно, тогда как на русском Севере такая работа стала проводиться позднее.

Хотя Калима выделил ряд заимствованных из коми языка лексем, засвидетельствованных на территории русского Севера (*виска, мег* и др.), в его распоряжении, как уже сказано, был ограниченный и к тому же географически неточно привязанный материал. Поэтому поиск заимствований из языка коми на русском Севере до сих пор актуален, тем более что дискуссия о пермских элементах в субстратной топонимии русского Севера (А.М. Шёгрен, М. Фасмер, Б.А. Серебренников, А.К. Матвеев) обусловливает повышенный интерес и к лексическим заимствованиям из языка коми. Особенно важны заимствования, зафиксированные в относительной удаленности от таких зон современных и сравнительно недавних коми-русских контактов, как бассейн Мезени, низовья Вашки и Вычегды, т.е. распространенные к западу от этих территорий. Хотя заимствованная лексика может быть очень подвижной в географическом отношении, фиксация коми лексем на русском Севере является дополнительным аргументом в пользу проживания древних коми (летописных пермичей) на восточных окраинах Двинской земли.

Обширные материалы по диалектной лексике, собранные Северно-русской топонимической экспедицией (СТЭ), – а особое внимание при сборе уделялось именно заимствованным словам – позволяют уже сейчас ввести в научный оборот ряд фактов, как уточняющих данные Калимы, так и совершенно новых.

гыч

Зафиксировано Шёгреном в форме *гычь* со значением ‘пескарь’ (Пинеж.)[5] и в словаре Подвысоцкого в виде *кыч* ‘водящаяся в реках мелкая, вроде пескаря, рыбка’ (Пинеж.) (Подвысоцкий 80). Оба варианта приведены и в СРНГ. Калима не учел данные Шёгрена и поэтому сравнивает под вопросом только *кыч* и коми *гыч* ‘карась’, логично добавляя, что сопоставление ненадежно как из-за несоответствия в анлауте (коми *к* должно передаваться русским *к*, а *г* – русским *г*), так и разницы в значении[6]. Фасмер, несмотря на сомнения Калимы, ссылаясь на него, сравнивает русское *кыч* с коми *гыч* (Фасмер II, 441).

Первое из сомнений Калимы в настоящее время устранено, так как засвидетельствованное Подвысоцким *кыч* явно ошибочно. Во всяком случае, в материалах СТЭ этого слова нет. Напротив, *гыч* в значениях 'пескарь' и 'маленькая рыбка' зафиксировано неоднократно, особенно в деревнях по средней Пинеге, которые территориально ближе всего к коми. Сложнее объяснить сдвиг в значении, но есть по крайней мере два обстоятельства, с которыми надо считаться: во-первых, карась – озерная рыба, но в среднем течении Пинеги озер почти нет, поэтому лексема могла "освободиться" для приобретения другой семантики; во-вторых, в русских народных говорах бытует множество названий пескаря, что, видимо, связано с какими-то экспрессивными моментами.

ке́рас

Сложение *ви́лыс ке́рес* 'пахотное поле на возвышенной местности' зафиксировано Подвысоцким в печорских говорах. Оно справедливо связывается Калимой[7], а вслед за ним Фасмером (Фасмер I, 315) с коми *вылыс* 'верх' и *керӧс* 'возвышенность, гора'. Сейчас есть и новые факты. В СРНГ приводится печорское *ке́рас, ке́рос* 'возвышенность, поросшая лесом'. В картотеке СТЭ слово *ке́рас* 'гора, поросшая лесом; высокий берег, поросший лесом' фиксируется для русских говоров по верхнему течению Пинеги (В.-Т.) и Верхней Тойме (В.-Т.). Слово это, бесспорно, восходит к коми *керӧс,* которое, таким образом, проникло и на русский Север. Нелишне при этом заметить, что где-то в районе Верхней Тоймы находился в древности городок *Тоймокары,* упоминаемый Новгородской I летописью под 1219 годом. Название *Тоймокары,* без сомнения, связано с коми *кар* 'город', т.е. означает 'Тоемский городок, Городок на Тойме' (ср. *Сыктывкар* – 'Город на Сысоле', ранее *Усть-Сысольск*).

но́рта

Слово *но́рта* 'осиновый челнок-волокуша, в котором охотники по снегу возили припасы', засвидетельствовано в населенных пунктах по Верхней Тойме (В.-Т.). В СРНГ этого слова нет. С учетом качества подударного вокализма (наличие гласного *о* в корне) оно, определенно, восходит к коми *норт* 'нарты', имеющему соответствия в других финно-угорских языках (удм. *нурт,* морд. *нурдо* 'сани'). Островной характер ареала, относительно удаленного от границ с республикой Коми, и специфическая семантика указывают на субстратное происхождение этого слова. Возможно, оно имеет какое-то отношение и к русскому *нарта*, о происхождении которого (славянском или финно-угорском) дискуссия продолжается до сих пор (подробности см. Фасмер III, 45–46).

няд

Из-за малочисленности фиксаций не все ясно со словом *няд* 'грязь' (Пинеж.), которое по значению точно соответствует коми *няйт, нять* при некоторых фонетических различиях. Не исключено, что сюда же относится *нят* 'низкий луг у самого берега реки' (Холм.), но, к сожалению, и это интересное слово было записано только один раз.

но́рса

Слова *но́рса* 'лыжное крепление – кольцо, надеваемое на ногу' нет в других источниках, кроме картотеки СТЭ. Оно широко распространено в центральной и юго-восточной части Архангельской области (В.-Т., Виногр., К.-Б., Лен., Плес., Уст., Холм., Шенк.). Информанты часто указывают, что *норса* может быть из различного материала – сыромятной кожи, брезента и т.п. и что это слово соответствует по значению широко распространенному на русском Севере слову *ю́кса*, заимствованному из саамского языка (Фасмер, IV, 529), ср. контексты: *Норсы* у нас *юксами* здесь зовут (В.-Т.); *Норсы* на лыжах – все равно, что *юксы* (В.-Т.); Что *юкса,* что *норса* – все одно (К.-Б.); *Норсу* еще *юксой* называют (Холм.) и т.п. Правда, столь же часто встречаются иные толкования, когда *норса* и *юкса* различаются: Ногу в *норсу* вставляют, *юксой* за пятку прикрепляют (В.-Т.); *Норса* – это просто ремешок на лыже, а *юкса* – два ремешка: один вот так спереди, а второй вокруг пятки (В.-Т.); *Норсы* – они поперек, а *юксы* назаду (К.-Б.); Ремешки у лыж *юксы* да *норсы; норсы* на носки накладываются, а *юксы* – пряжки застегиваются (К.-Б.). Таким образом, термины *норса* и *юкса* могут иметь одно значение и могут семантически различаться, в этом случае *норса* – 'переднее крепление; кольцо; петля'.

Этимологически это слово связано с коми *нӧрыс* 'шнурки, связки для ног (на лыжах)'[8], *лызь-нӧрыс* 'петля на лыжах'[9]. В Этимологическом словаре коми языка[10] этого слова нет, но многое проясняется, если обратиться к диалектам коми языка. Во-первых, оказывается, что лузскому и удорскому *нӧрыс* соответствуют вымское *бадь* и удорское (Глотово) *байдь*, имеющие то же значение 'шнурки, связки для ног (на лыжах)'[11]; во-вторых, что в коми диалектах у этого слова есть омоним *бадь* (удорское *байдь*) со значением 'ива; верба', а также 'куст, кустарник'[12]. Поэтому логично предположить, что коми *нӧрыс* 'шнурки, связки для ног (на лыжах)' – семантическая деривация от *нӧрыс* 'ива; верба; куст, кустарник', т.е. лыжное крепление могло делаться из подручного материала – ветвей кустарников, что было широко распространено в прошлом у лесных народов, занимающихся зимней охотой[13]. Коми *бадь, байдь*, имеющие те же коррелятивные значения 'ива' и 'шнурки, связки для ног (на лыжах)', явно подтверждают эту версию. В то же время и русские говоры свидетельствуют, что слово

норса первоначально имело значение ‘кольцо из виц’, ср.: *Норса* только делалась из вицы, а *юкса* из какого-то другого материала (В.-Т.); А раньше у стариков дак не было кожи; из виц делали, коли надо *норсы* сделать (Холм.).

Когда крепления из виц ("виченые") стали выходить из употребления, слово *норса* стало обозначать лыжное кольцо вообще и вступило со словом *юкса* в сложные семантические отношения, зависящие от конкретных экстралингвистических обстоятельств (вида крепления).

Поиск заимствований из коми языка на русском Севере, несомненно, принесет еще много нового, но уже сейчас очевидно, что эти заимствования, как и следовало ожидать, чаще фиксируются на восточных окраинах Архангельской области. Особенно интересно определенное тяготение пермских элементов к бассейну Верхней Тоймы, где, по мнению А.И. Попова, в старину проживало какое-то пермское население[14].

2. *вáда* и *вáта*

В СРНГ (4, 11) слово *вада* сперва очень обще толкуется как ‘род рыболовной снасти’, но затем приводится достаточно подробное описание реалии, составленное М. Поповым[15]. Из этого описания следует, что *вада* – разновидность бредня. Слово зафиксировано в Никольском (с. Яхреньга) и Соловычегодском (с. Качем) уездах Вологодской губернии.

В известном труде Я. Калимы о прибалтийско-финских заимствованиях в русском языке и Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера этого слова нет, однако оно анализируется О.В. Востриковым[16], который ссылается на уже приведенные данные СРНГ, а также фиксацию СТЭ (*вада* ‘бредень’), относящуюся к Кичменгско-Городецкому району Вологодской области, и сопоставляет слово *вада* с фин. *vata* ‘маленький берсговой бредень’, а также с люд., вепс., эст., ливск. *vada* в том же значении[17]. Эта этимология безупречна, но ряд новых фактов не позволяет считать проблему исчерпанной и, в частности, относить слово *вада* к числу лексем с узким географическим распространением[18].

Дело в том, что слово *вада* в значении ‘бредень’ неоднократно зафиксировано СТЭ на территории Кичменгско-Городецкого района Вологодской области и Верхне-Тоемского района Архангельской области. Лакуна между двумя этими юго-восточными территориями русского Севера заполняется данными Архангельского областного словаря, где *вада* в том же значении отмечено для Котласского района Архангельской области (Арханг. словарь 3, 23). Таким образом, слово *вада* довольно широко распространено на крайнем юго-востоке русского Севера (в населенных пунктах по Югу, Малой Северной Двине, верховьям Северной Двины и их притокам), образуя достаточно компактный ареал.

Но дело не только в этом. От слова *вада* невозможно отделить другую севернорусскую лексему, *вата*, засвидетельствованную в том же значении ‘бредень’ на смежной с ареалом *вада*, но более западной территории в Вельском и Устьянском районах Архангельской области и в Тарногском районе Вологодской области. Эта лексема столь же убедительно связывается с прибалтийско-финскими данными (фин. *vata*), как и *вада* (люд., вепс., эст., ливск. *vada*)[19].

Поскольку севернорусское *вата* по лингвогеографическим показаниям невозможно связывать прямо с финским-суоми языком, возникает весьма сложная проблема, как интерпретировать оппозицию *вада – вата,* которая связана с юго-востоком и центром русского Севера. Фонетически близкие случаи (*пендус – пентус* ‘заболоченный луг’), имеющие хотя и не тождественные с *вада – вата,* значительно более широкие, но примерно так же ориентированные ареалы, указывают на существование зоны заимствований с глухими согласными в интервокальном положении в самом центре территории русского Севера. Более углубленная интерпретация этого явления, однако, пока преждевременна из-за недостаточного количества фактов.

Изолированным остается псковское (Опочка) *вата* ‘малая сетка для ловли рыбы’ (СРНГ 4, 67). "Псковский областной словарь с историческими данными" приводит только этот же факт с ссылкой на СРНГ (Псков. словарь 3, 36). Скорее всего, псковское *вата* заимствовано из эстонского языка (*vada*), где звуки, обозначаемые буквами *b, d, g*, являются глухими.

3. *ва́йма*

Слово обозначает деревянное крепление – поперечную планку, жердь, балку, клин, которые служат для скрепления дверей, лодок, плотов, столов, саней и т.п.; иногда – сваю, поддерживающую мост; деревянное приспособление, используемое при сбивании досок или для зажима деревянных изделий; выемку в доске или бревне и т.п. В Архангельской области записано в Ленском, Верхне-Тоемском, Коношском, Каргопольском районах, в Вологодской – Вожегодском и Кирилловском. В Лешуконском и Мезенском районах Архангельской области слово выступает в форме *ва́ем*. В "Архангельском областном словаре" зафиксировано *вайма* (Каргопольский район) и *ваем* (Мезенский район) в тех же значениях (Арханг. словарь 3, 24, 27). В словаре Даля приведено архангельское *ваймица* (?) ‘обойма для укрепы весла в уключине’ (Даль[2] I, 163).

Соотносится с фин. *vaaja* ‘свая; клин’, которое имеет параллели в других прибалтийско-финских языках, ср. эст. *vai*, диал. *vaias*. Наличие *-м-* в русском слове можно объяснить, обратившись к соответствующим саамским данным, ср. кольск. *va͕ī̭va*[20], так как *м* могло возникнуть на русской почве вследствие диссимиляции *в–в* > *в–м*.

4. *ва́рда*

Это слово, по данным СТЭ, широко распространено на востоке Архангельской области в бассейнах Пинеги (Пинежский и Верхне-Тоемский районы), Кулоя (Пинежский район) и Мезени (Лешуконский район). У него много производных: *ва́рдина, ва́рдинка, ва́рдочка, ва́рдушка, ва́рдышок, вардю́шка, вардо́шка* и т.п. Основное значение – 'сосновая жердочка, палочка, лучинка, обычно с круглым сечением (строганый прут), которая служит материалом для изготовления верш, перегородок на реке для ловли рыбы, плетения корзин'. Иногда так называют ивовые прутья, которые используются для тех же целей. Другие значения встречаются реже: 'тонкая гибкая жердь, которая соединяет переднюю и заднюю ось телеги; вертел для сушки грибов, картошки'. Могли так назвать и худого, тощего человека.

Сюда же относится и колымское *ва́рдина* 'верхний нащеп нарты'[21], перенесенное в Восточную Сибирь севернорусскими переселенцами. Слово зафиксировано также в "Архангельском областном словаре" в тех же или близких значениях (Верхнс-Тоемский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Пинежский районы) (Арханг. словарь 3, 44–45). В СРНГ (4, 47) находим еще тверское *ва́рда* 'валек для выколачивания белья при полоскании'.

Слово имеет прозрачную прибалтийско-финскую этимологию, ср. фин. *varras* 'жердь, жердочка, колышек, палочка, вертел' и люд. *vardaz*, вод. *varraz*, эст. *varras*, родит. *varda*[22]. Отсутствие форматива *-as* может объясняться различиями между живыми и некогда существовавшими прибалтийско-финскими языками (ср. ниже *ви́хлус* и *ве́хтус*), хотя надо иметь в виду и не учтенную в SKES саамскую параллель *uər̄d̥t* 'жердь, вертел для сушки рыбы'[23].

5. *ви́па*

Так в Няндомском районе Архангельской области (Лепшинский сельсовет) называют длинную палку (до трех метров) в ловушке на рябчика. Всю ловушку также могут назвать *випа* или *випное сило*. Палку закрепляют наклонно, а ее конец с петлей и приманкой пригибают к земле. Когда рябчик начинает клевать приманку, палка распрямляется, и рябчик повисает в петле над землей.

Из прибалт.-фин., ср. фин. *vipu* 'ловушка-силок; рычаг' и т.п., которому соответствуют карел.-ливв. *vipu, vibu*, люд. *bibu*, вепс. *bibu, vibu*, вод. *vipu*, эст. *vibu, vibo*[24].

6. *ви́хлус* и *ве́хтус*

В Лешуконском и Мезенском районах Архангельской области СТЭ зафиксировала слово *вихлус*. Чаще всего оно означает толстые жгуты из соломы, которыми обивают для утепления входную дверь, но

отмечены также значения ‘небольшая охапка сена (травы)’ и ‘волосы, собранные на затылке в пучок’. В "Архангельском областном словаре" слово *вихлус* приводится с той же географией и толкованием ‘соломенный жгут, служащий прокладкой для утепления входных дверей дома’ (Арханг. словарь 4, 111). Здесь же указана собирательная форма *ви́хлусье.*

Слово *вихлус* может быть сопоставлено с фин. *vihko* ‘сноп, пук, пучок, связка, охапка (льна, жита, сена, ветвей, цветов)’, карел.-ливв. *vihko* ‘пук сена; мочалка; метелка; швабра’ и аналогичными данными других прибалтийско-финских языков, ср. люд., вепс., эст. *vihk*, вод. *vihko*[25]. Возникает, однако, вопрос о нерегулярной замене финского *к* русским *л* в слове *вихлус.*

Очевидно, это объясняется нетипичностью для русского языка группы *-хк-*, которая может перерабатываться разными способами. Наиболее обычный из них – диссимиляция *хк* > *вк,* выявленная в заимствованиях Я. Калимой[26], и *хк* > *хт*[27], примеры которой находим в работах В.А. Меркуловой[28]. Действительно, в Холмогорском районе Архангельской области (д. Гбач) СТЭ фиксирует слово *ве́хтус*, а "Архангельский областной словарь" – как *ве́хтус*, так и *ви́хтус*, с тем же значением, что и *вихлус* (Арханг. словарь 4, 28, 112). Поскольку форма *ве́хтусь* засвидетельствована и в Лешуконском районе, а *ве́хлус* – в Холмогорском (Арханг. словарь 4, 28, 26), можно думать, что процесс освоения этого интересного заимствования русскими еще не завершен и что пока нет полной ареальной дифференциации форм с *-л-* и *-т-*. Параллельное употребление форм с корневыми *е* и *и* также свидетельствует о неустойчивости лексемы (ср. особенно *вихтус* и *вехтус* в одной деревне Гбач). Вообще говоря, прибалтийско-финское *i* иногда передается русским *е*[29], но намного более вероятно воздействие со стороны русского *вехоть* (*вихоть*), имеющего то же значение ‘соломенный жгут; мочалка и т.п.’ (Арханг. словарь 4, 27–28) и восходящего к славянским источникам, ср. *веха, вехоть* (Фасмер I, 308). Прибалтийско-финское *vihko, vihk* – предположительно германское слово[30], однако для близкого по звучанию фин., вод., эст. *vihta* ‘веник’ как источник усматривается именно славянская основа **вѣхт-* (русск. *вехоть, вихоть*)[31]. Все это создает очень сложную картину и большие возможности для контаминаций. Тем не менее специфический формант *-ус* (< **-us*) и колебания консонантизма ясно указывают на иноязычное происхождение лексемы, бытующей в современных русских говорах, какими бы ни были ее первоначальные источники.

Однако усвоение могло пойти и по другому пути, также с диссимиляцией по направлению к переднеязычному, но не взрывному (*хк* > *хт*), а плавному (*хк* > *хл*). Это наблюдается в случаях *вихлус, вехлус,* когда определенную роль могла сыграть народная этимология и

контаминация с глаголом *вихлять, вихляться* 'вилять; шевелить; двигать из стороны в сторону и т.п.' (Арханг. словарь 4, 111), поскольку *вихлус* – скрученный жгут из соломы или другого подобного материала.

Еще один путь усвоения подсказывается возможностью замены плавного бокового на плавный вибрант, т.е. *вехлус* > *вехрус* (Арханг. словарь 4, 16), опять же с возможными народно-этимологическими ассоциациями, например, к *вихорь* 'вихрь' (Арханг. словарь 4, 26) с той же семой 'крутить, вертеть'.

Таким образом, русский диалектный материал дает целый набор вариантов заимствованной основы (*вихт-, вехт-, вихл-, вехл-, вехр-*) и при этом нет ни одного случая сохранения исходной основы **вихк*, которая бы точно соответствовала прибалтийско-финским данным, что вполне естественно ввиду ее звуковой нетипичности для русского языка.

До сих пор как на лексическом, так и на топонимическом уровне не исследован должным образом вопрос о возможности различного оформления основ в живых и вымерших прибалтийско-финских языках, в частности, о различиях в использовании формативов *-as* и *-us* (> *-ас, -ус*). Поэтому пока ограничимся общим принципиальным соображением: в вымерших прибалтийско-финских языках Заволочья могло быть представлено иное по сравнению с современными прибалтийско-финскими языками оформление основ, ср. данные топонимии: *Солмас* и фин. *salmi* 'пролив', *Пелтасы* и фин. *pelto* 'поле'. В сущности, этот взгляд разделял в свое время и Э.А. Тункело[32].

Примечания

[1] *Kalima J.* Syrjänisches Lehngut im Russischen // Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. 18. Helsinki, 1927, 1–56.

[2] Так, например, слово *няша* 'жидкая грязь' предпочтительнее связывать не с коми (*Kalima J.* Op. cit., 33–34), а с саамским языком (*Itkonen T.I.* Lappische Lehnwörter im Russischen // Suomen Tiedeakatemian Toimituksia. Ser. B. Bd. 27. Helsinki, 1931, 55).

[3] *Kalima J.* Op. cit., 19–20.

[4] *Матвеев А.К.* Заимствования из пермских языков в русских говорах Северного и Среднего Урала // Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 14, f. 3-4. Budapest, 1964, 285–315.

[5] *Шёгрен А.М.* Материалы для сравнения областных великорусских слов со словами языков северных и восточных // Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики. Т. I. СПб., 1854.

[6] *Kalima J.* Op. cit., 29–30.

[7] Ibid., 19.

[8] Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961, 16.

[9] *Fokos-Fuchs D.R.* Syrjänisches Wörterbuch. Budapest, 1959, 654.

[10] *Лыткин В.И., Гуляев Е.И.* Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.

[11] Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов, 16.

[12] Там же, 16, 182.

[13] Ср. у писателя XIX в. П.В. Засодимского в очерке о зырянском крае: "Из ивовой и березовой коры вьются очень крепкие веревки, которые здесь повсюду в ходу – при упряжке, на перевозках и т.д." (Лесное царство // В дебрях Севера. Сыктывкар, 1983, 168).

[14] *Попов А.И.* Географические названия (введение в топонимику). М.; Л., 1965, 57–59.

[15] Труды Комиссии по диалектологии русского языка. Вып. 11. Л., 1930, 112–114.

[16] *Востриков О.В.* Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. Свердловск, 1981, 26.

[17] Suomen kielen etymologinen sanakirja. V. Helsinki, 1975, 1585 (далее – SKES).

[18] *Востриков О.В.* Указ. соч., 25.

[19] Ср. также карел. (ливв.) *vada* 'небольшой донный невод; бредень' (Словарь карельского языка. Петрозаводск, 1990. 409).

[20] SKES V, 1572.

[21] *Богораз В.Г.* Областной словарь колымского наречия // Сб. ОРЯС. Т. 68. № 4. 1901, 29.

[22] SKES V, 1658.

[23] *Itkonen T.I.* Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen. Helsinki, 1958, 795.

[24] SKES VI, 1782.

[25] Ibid. VI, 1736.

[26] *Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. XLIV. Helsinki, 1919, 41–42.

[27] Это может происходить и в самом финском языке, ср. *hiehko* 'телка' и диалектные *hehko, hehto* (SKES I, 72).

[28] *Меркулова В.А.* К этимологии слова *пихта* // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. М., 1960, 46–51. *Она же.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967, 37–38.

[29] *Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter ..., 51.

[30] SKES VI, 1736.

[31] Ibid. VI, 1739.

[32] *Tunkelo E.A.* Über die Ortsnamen Nordrusslands auf *-as* // Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. 31, 1-2. Helsinki, 1953, 92–103.

Принятые сокращения названий районов Архангельской области

Виногр.	– Виноградовский	Плес.	– Плесецкий
В.-Т.	– Верхнетоемский	Уст.	– Устьянский
К.-Б.	– Красноборский	Холм.	– Холмогорский
Лен.	– Ленский	Шенк.	– Шенкурский
Пинеж.	– Пинежский		

А.В. Штейнгольд*

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ ОДНОГО РУССКОГО ФИТОНИМА (*ТОЛОКНЯНКА*)

Как известно, русская этимологическая наука последних лет проявляет повышенный интерес к анализу разных по объему тематических групп в пределах всего словарного состава и выявлению основных организующих принципов крупных терминологических совокупностей. При этом поиск истоков отдельных лексем делается менее популярным. Не оспаривая методологическую оправданность и значимость такого подхода, хотим, тем не менее, подчеркнуть, что и работа над автономными лингвистическими фактами продолжает быть актуальной, особенно когда речь идет о "малозаметных", слабо или вообще не отраженных в письменных памятниках словах, до сих пор не попавших в поле исследования.

Давно не вызывает сомнения тот факт, что при решении сложных этимологических задач "периферийный" языковой материал может существенно влиять на ход и качество работы, ведь "в диалектных системах нередко обнаруживаются фонетические архаизмы – слова, которые сохраняют более древний фонетический облик, позволяющий в достаточной мере надежно решить вопрос об этимологии слов"[1]. Сохраняясь в диалекте в "законсервированном" виде, они выявляют не только первичную фонетическую, словообразовательную, но, что очень важно, семантическую структуру, которая сама по себе будучи чрезвычайно подвижной, с наибольшим трудом поддается реконструкции.

В этой статье мы попытаемся (с учетом только что изложенных соображений) приподнять завесу неизвестности над происхождением литературного русского слова *толокнянка*, обозначающего небольшой вечнозеленый кустарник (бот. терм. Arctostaphylos uva-ursi L.), известный в говорах также под названием: *медвежьи ушки*, *медвежья ягода* (*виноград*) и *мучница*. Данный фитоним не получил до сих пор специального освещения в соответствующей литературе по причине своей кажущейся "прозрачности", ведь вполне логично предположить, опираясь на сходство фонетической формы, генетическую связь этого слова с *толокно* / *толочь*.

Именно такого рода семантическое обоснование обнаруживаем в книге Н.А. Богоявленского "Медицина у первоселов русского Севера...": "Свое название *толокнянка* получила от обычая применять ее в ремеслах в *растолченном* и *просеянном* виде, по другим данным – *от специфического запаха* слежавшейся муки (*толокна*), почему в не-

которых местах на Севере ее называют еще *мучница*" (курсив наш. – *А.Ш.*).

Оба утверждения автора находят серьезные возражения со стороны эмпирического опыта: во-первых, толчение и измельчение – универсальный способ первичной обработки любого технического и медицинского растительного сырья, во-вторых, никакого сходства запаха листьев толокнянки и толокна нет. Случайность такого сближения становится совершенно очевидной при более подробном знакомстве с реалиями.

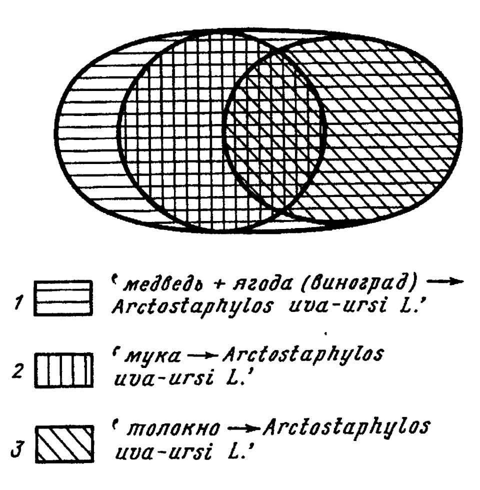
Толокно – простейший пищевой продукт, представляющий собой овсяную муку или кашу, приготовляемую посредством толчения и помола овсяных зерен с добавлением воды или молока. В дореволюционной России – распространенный вид пищи, особенно в бедной крестьянской среде. *Толокнянка* – "небольшой стелющийся кустарник семейства вересковых (Ericae), сильно ветвистый, высотой до одного метра (...). Встречается в северной и средней части России, в Сибири и на Дальнем Востоке (...). Широко используется в медицине (как народной, так и научной) при нарушении функции пищеварения и почечных болях. Кроме того, толокнянка издавна использовалась для дубления кож и сафьяна, их окраски, а также иногда служила добавкой к табаку"[2].

Обращает на себя внимание тот факт, что название *толокнянка* (и его варианты – *толокняник, толокняшка* и пр.) издавна активно присваивалось в говорах и многим другим растениям, объединенным сходством ботанических черт: кустарниковой структурой, ветвистостью, способностью образовывать заросли и произрастать во всей лесной полосе России, Сибири в частности, в Якутии: 1) зимолюбка зонтичная (Chimaphylla umbellata L.) *толокнянка* (вят., орл.), 2) грушанка северная (Linnaea borealis L.) *толокнянка* (нижегор.), 3) смородина глухая (Ribes alpina L.) *толокняшка* (без ареальных помет), 4) шиповник собачий (Rosa canina L.) *толокняник* (псков., твер.), *толокнянка* (псков., новгор.,твер.). Ср. также в "Смоленском областном словаре" В.Н. Добровольского: *талаќонник* 'трава, коей чернят оборы', *талачанка* 'шиповник'.

Оставив на некоторое время в стороне только что сделанные замечания, обратимся к сравнительно-лингвистическому материалу близкородственных славянских, а также иных индоевропейских языков преимущественно европейского ареала, для обнаружения типовых номинационно-семантических моделей (если таковые имеются), лежащих в основе называния Arctostaph. uva-ursi L., чем заметно будет повышена вероятность нахождения правильного ответа на интересующий нас вопрос.

Таких устойчивых, легко воспроизводимых моделей с широким географическим охватом оказывается три. Их локализация и взаимное расположение схематически может быть представлено в виде частично

перекрывающихся полей разной величины. См. схему:



Первый номинационный тип охватывает практически все славянские, балтийские, германские и романские языки: франц. *raisin d'ours* 'медвежий виноград', ит. *uva orsina* то же, исп. *oreje di oso* то же, англ. *bearberry* 'медвежья ягода', нем. *die Bärentraube* 'медвежий виноград', болг. *мече грозде*, чеш. *medvědice lekařská* 'толокнянка, a officinalis', лит. *meškos bruknia* 'медвежья брусника', лтш. *lāčķekari* 'медвежий виноград', русск. *медвежья ягода* (*виноград*).

Этот далеко не полный список при желании можно заметно пополнить.

Такой тип номинации дикого растения через зоологический эпитет и указание на какой-то культурный вид (или компонент *трава*, *лист*, *ягода*, *цвет* и пр.) достаточно хорошо описан и объяснен с точки зрения семантики и прагматики[3].

Как было неоднократно показано, фразеологизмы типа *мышиный горошек*, *гусиный лук* и *заячья капуста* возникают в результате "частичного отождествления, носящего гносеологический характер и служащего целям естественной классификации"[4]. Как правило, они создаются на основе клише и не требуют специального толкования.

Вторая номинационная модель характерна для восточнославянских языков (включая южнорусские говоры), встречается также в немецком, польском и латышском: нем. *die Mehlbeere* 'мучная ягода', польск. *mącznica*, лтш. *miltenes* (< milti pl.'мука'), блр. *мучан*, рус. диал. *мучник* и др.

Называние по третьей схеме 'толокно' → 'растение Arctost. uva-ursi L.' имеет преимущественную локализацию в русских говорах, хотя спорадически возникает также в белорусском, чешском, украинском: чеш. *tolokněnka*, укр. *толокняк*, блр. *талакнянка*.

Географические границы и плотность распространения изолекс трех приведенных типов показывают следующее:

1) модель 1 универсальна, легко репродуцируется на любой лингвистической почве; с точки зрения механизмов, ее порождающих, хорошо объяснима; тем не менее, она не проясняет соседних альтернатив и находится по отношению к ним в оппозиции;

2) номинационные типы 2/3 "синонимичны", не объяснимы на местном языковом материале, не имеют опоры в реальности, откуда, в частности, возникновение в русских говорах таких абсурдных искажений, как *толокилики*, *му́ченица, му́ченик ягоды*;

3) два последних типа продуктивны в географически смежных и частично перекрывающихся областях: модель 2 особенно частотна на восточнославянской территории, 3 – на русской.

Все вышеизложенные факты находят логическое объяснение, если предположить, что в случае с *толокнянкой / мучницей* мы имеем дело с каким-то заимствованием, которое после утраты внутренней формы и при дальнейшей попытке адаптации в новом языке пережило ряд формальных преобразований, а затем перешло в метонимически близкий вариант с последующим проникновением в смежные языки. Западный источник исключается – ни формальных, ни семантических аналогий на этом материале не обнаружено.

Как кажется, нам удалось отыскать возможный этимон толокнянки в тюркских языках, чему и посвятим вторую часть данной статьи.

* * *

Среди более чем десяти фонетических и словообразовательных вариантов *толокнянки*, как то: *толоконник, толочинник, толокница* (арханг., костр., вят., твер.), *толоконка* (волог.), *талакняшка* (смол.) и пр., особое внимание обращает на себя *талаганник*, на первый взгляд кажущийся искажением (ср. *толокня*(*н*)*ик*). Однако при отбрасывании конечного *-ник*, который в данном случае четко вычленяется, получаем форму *талаган-*, которая по ударяемому *-ан* и сингармонизму удивительно напоминает тюркизмы типа: *балаган, баштан, шайтан* и пр. По устному замечанию О.Н. Трубачева, это слово заимствовано в тюркские языки из персидского.

К сожалению, книга, на которую ссылается составитель Н.И. Анненков в своем "Ботаническом словаре" (1878 г.), – Gmelin J.G. Flora Sibirica Historia Plantarum Sibiriae (4 т. Petropoli, 1747–1769) – оказалась нам недоступна, а у самого автора ареальная помета отсутствует, поэтому неизвестно, в какой части Сибири вариант *талаганник* был зафиксирован. Однако корень *тал*, как и его модификации *талах / талх*, чрезвычайно распространен как в современных, так и в древних тюркских языках. В семантическое поле этого корня входят составляющие: ‘ива’, ‘ивняк’, ‘заросли ивы’, ‘кустарник (ивы)’, ‘прут, ветка’.

Е.И. Шипова в "Словаре тюркизмов в русском языке" дает следующую парадигму значений, относящихся к статье *тал / тальник*: 'кустарниковая ива', 'заросли кустарниковой ивы', 'ее ветки, прутья' (собир.), 'ветла, верба'.

"Опыт словаря тюркских наречий" В.В. Радлова и "Versuch eines etymologischen Wörterbuches der Türksprachen" М. Рясянена знакомит нас с аналогичным перечнем сем: ср. чагат., уйгур., турец., азерб., татар., якут., алт. и пр. *тал* 'ива, верба', уйгур. *тал* 'прут; молодое дерево', 'ветвь; ствол', туркм. *тāл* 'тальник', чагат. *тал* 'ива', якут. *талах* 'ива; ветка'. Сюда же следует отнести узб. *талха* 'растение горчак' и чуваш. *тал-писен* 'название колючего травянистого растения' при *тал* 'прядь; пучок'[5]. Ср. также др.-тюрк. *tal* 'ива; заросли ивняка; ивовый прут'[6].

Несмотря на то, что в большинстве современных тюркских языков этот корень преимущественно обозначает несколько разновидностей вербы (Salix), значение 'ветка; прут' представляется более древним (ср. с этимологией слав. *верба, ветла*).

Наиболее близко в формальном отношении к русскому *талаганник* находится якутское *талах* 'ива; ветка' и узбекское *талха* 'растение горчак'. Русские диалектные названия ивы особенно ярко демонстрируют связь с этим корнем. Ср.: *тагальник* (без ареальной пометы), где наблюдается метатеза 2-го и 3-го слогов, *талаженник* (на Тереке) и *талажчаник* (ворон).

Учитывается факт ветвистости вышеперечисленных ботанических видов (смородина, шиповник, толокнянка и пр.), их кустарниковое строение и способность произрастать на территориях, близких к областям древнего заселения тюркскими народами, можно предположить, что распространенный корень *тал / талах / талх* некогда был позаимствован русскими переселенцами для названия ивы, а затем (или почти одновременно с этим) по признаку ветвистости был перенесен и на другие сходные растения, в том числе и Arctostaph. uva-ursi. Если заимствование происходило из якутского языка, то общая схема этого процесса с учетом всех вариантов и их преобразований должна выглядеть следующим образом:

талах 'ива', 'ветка' → * *тала*[χ]*а͡н* → * *тала*[χ]*ан͡ик* → *талаганник* Arctostap- → hylos uva-ursi'
тагальник 'ива'
талажчаник 'ива'
талаженник 'ива'

→ *толокня/н/ник* 'шиповник' → *толокнянка* 'смородина', 'зимолюбка', 'Arctrostapylos uva-ursi'
толоконник 'Arctostaphylos uva-ursi'
толокняшка 'шиповник'
толочаник 'Arctost. uva-ursi'
талачанка 'шиповник'

Что касается присоединения на первом этапе заимствования к основе *талах-* суффикса *-ан*, то это могло произойти еще в якутском

языке (*-ан* – один из древнейших уменьшительных тюркских аффиксов), но могло осуществиться уже и на русской почве по аналогии с *одуван*, *марьян*, *стоян* и другими фитонимами. Суффиксы *-ник*, *-ка* присоединились позднее. Фонетические изменения в заимствованном слове еще до сближения с *толокно* / *толочь* затронули глухой увулярный щелевой [χ], которому нет соответствия в русской консонантной системе и который, пытаясь реализоваться в ней, переходил последовательно в заднеязычный звонкой взрывной [*g*] и фрикативные [*ž*'*č*'] и [*ž*'], а затем – после сближения – в глухой [*k*] и аффрикату [*č*'].

Впоследствии при утрате семантической связи с этимоном и затемнении внутренней формы, *толокнянка* метонимически начинает замещаться *мучницей*, а потом через южнорусские говоры проникает в белорусский, украинский и польский языки. Таким образом, *мучница* – "синонимическое" образование по отношению к *толокнянка* на этапе распада этимологических связей.

Примечания

[1] *Шелепова Л.И.* Диалект как источник этимологии. Учебное пособие. Изд-во Томского университета. Томск, 1977, 8.

[2] *Нейштадт М.И.* Определитель растений. М., 1957, 495.

[3] *Меркулова В.А.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967, 110, 132 и др.; *Голев Н.Д.* Вопросы отождествления, классификации и номинации в русской народной лексике флоры и фауны (Наблюдения над ролью прагматического фактора) // Говоры русского населения Сибири. Томск, 1983, 83–84.

[4] *Голев Н.Д.* Указ. соч. 83.

[5] *Ашмарин Н.И.* Словарь чувашского языка. В. 17. Казань–Чебоксары, 1928–1950.

[6] *Наделяев В.Н.* Древнетюркский словарь. Л., 1969, 526.

Н.В. Пятаева*

ОПЫТ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СИНОНИМИЧНЫХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ГНЕЗД * *em-* И * *ber-* 'БРАТЬ ВЗЯТЬ' В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье представлены результаты сопоставительного динамического исследования синонимичных этимологических гнезд (ЭГ) с общеславянскими корнями * *em-* и * *ber-*, занимающих важное место в словообразовательной и семантической системе русского языка, что обусловлено следующими их особенностями: корни * *em-* и * *ber-*, формирующие этимологические гнезда, принадлежат к древнейшему славянскому корнеслову и имеют индоевропейское происхождение; древность рассматриваемых корней проявляется в наличии закономерных

апофонических вариантов, отражающих праславянские и индоевропейские чередования: * *em-* // * *ьm-* // * *ę-* и * *ber-* // * *bor-* // * *bьr-* // * *bir-*; эти корни характеризуются высокой актуальностью и исключительным богатством лексики как в русском, так и в других славянских языках за счет словообразовательной способности и активности семантической деривации в порождении новых слов и значений: они включают лексику, принадлежащую к самым разным семантическим полям; для истории русского языка представляет интерес семантическое развитие этих этимологических гнезд, обусловившее выделение на их базе ряда самостоятельных словообразовательных гнезд (СГ) на фоне ослабления или полного разрыва их былых генетических и семантических связей.

Праславянский фонд образования, продолжающих и.-е. * *em-* 'брать' и * *bher-* 'нести'[1], послужил основой формирования и развития в русском языке рассматриваемых ЭГ.

ЭГ * *em-* в праславянском языке[2] организовано тремя глаголами, которые являются основой его дальнейшего развития: * *jęti*, * *jьmǫ* 'брать, взять' – действие приобщения объекта, * *jьmati* 'брать, хватать' – процесс приобщения объекта и * *jьmĕti* 'иметь' – состояние обладания приобщенным объектом. ЭГ * *ber-* сформировано вокруг четырех продолжений и.-е. * *bher-*. Два из них непосредственно продолжают старые индоевропейские образования, сохраняющие древнее значение корня 'нести': * *bermę* < * *bherəmen* 'то, что носят; ноша, груз' и * *berdja* < * *bherədi̯ā* // * *bherədā* 'носящая во чреве'. Гораздо большее количество членов ЭГ * *ber-* соотносятся с праславянским новообразованием * *bьrati*, сохраняющим индоевропейский вокализм в презентных формах (* *berǫ*) и отмеченным инновационным значением 'брать, хватать'.

Обзор материала свидетельствует о том, что старое индоевропейское значение 'нести, ноша', переместившееся на периферию ЭГ * *ber-*, уступило место более актуальному для семантического развития этого гнезда значению 'брать'; связь исходного и производного значений усматривается в том, что они соотносятся со смежными последовательными действиями, направленными на объект: 'брать' что? 'приобщаемый объект' – 'нести' что? 'приобщенный объект'; инновационное праславянское значение 'брать', развившееся в семантическом поле ЭГ * *ber-*, обусловило синонимию этого гнезда с ЭГ * *em-*; в смысловой структуре ЭГ * *em-* выделился новый семантический центр 'иметь', связь которого со старым и.-е. 'брать' осуществляется также через сему 'приобщаемый // приобщенный объект': 'брать' что? 'приобщаемый объект' – 'иметь' что? 'приобщенный объект'.

В период XI–XVII вв. состав этимологических гнезд значительно расширяется в связи с появлением новых значений и образований, ставших мотивирующими основами. Таковыми явились глагольные основы. Их значения определили направления семантического развития

синонимичных ЭГ * *em-* и * *ber-*, параллельное существование которых привело к образованию группы глаголов, обозначающих понятия 'брать, взять', состоящей из трех рядов.

Первый ряд: *ꙗти – имати, възꙗти – възимати, переꙗти – переимати, поꙗти – поимати* и др., общее грамматическое значение которых – представление действия приобщения объекта как единого акта с указанием результата.

Второй ряд: *имати – емати*, представляющие действие приобщения объекта как акт неопределенно-длительный. Помимо этого *имати* обладало значением 'иметь', выступая в качестве дублетной формы к *имѣти* (в период с XIII по XV в.). Сохранение в одном слове нескольких значений, возникших на разных ступенях развития языка, приводило не только к омонимии, ср. *имати* 'брать' и *имати* 'иметь', но и одновременно к синонимии, ср. *имати* 'иметь' и *имѣти* 'иметь', к параллелизу в отдельных значениях с другими словами, ср. *имати* 'брать', *емати* 'брать' и *бьрати* 'брать', а следовательно, к противоречиям в лексической системе.

Третий ряд: *бьрати*, который означает не только 'брать', что сближает его с *имати // емати*, но и 'собирать'. В древнерусских памятниках письменности *бьрати* обладал невысокой частотностью употребления, однако на протяжении XV–XVII вв. дистрибутивные возможности и употребляемость глагола *бьрати* возрастают, что становится причиной отмирания глагола *имати*, так как дальнейшее существование его в силу указанных противоречий стало невозможным.

Каждый из указанных рядов развивал свою семантическую структуру на основе значений возглавляющих их глаголов. Смысловая структура первого ряда сформировалась вокруг семантики глагола *ꙗти* 'взять, схватить, овладеть' и отличалась богатой системой отвлеченных переносно-метафорических значений, что объясняется преимущественным употреблением *ꙗти* и его производных в книжных и церковнобогослужебных текстах: 'достигнуть, дойти' → 'настигнуть, ранить', 'обещаться, обязаться' (ср. *ꙗтисѧ по дань* 'обязаться платить дань'), 'приняться, начать делать что-л.' (ср. *пѹти ꙗтисѧ* 'отправиться в путь'), 'овладеть, охватить (о болезни, несчастии)', 'воспринимать умом, слухом, зрением; вникать, вдумываться; усваивать, постигать', 'услышать, внять' → 'понять', 'принимать что-л., следовать чему-л.' → 'проникаться чем-л.' и др.

Из двух вариантных глаголов *имати* и *емати* 'брать, взимать' более употребительным в русском языке XII–XVI вв. был *имати*: встречается в памятниках письменности всех жанров, в отличие от *емати*, который выполнял функции юридического и хозяйственного термина (ср. значения его производных: *емьць* 'должностное лицо, поручитель', *емьца* 'дополнительная плата, подать', *еми // емки* 'щипцы, ухват' и др.).

Глагол *бьрати* отмечен в древнерусских памятниках письменности с XI–XII вв. в значении 'брать, хватать руками', которое стало ядром семантической структуры третьего глагольного ряда. В XII–XVII вв. на его основе развиваются значения, конкретизирующие и уточняющие семантику приобщения объекта: 'приобретать, присваивать', 'взимать, отчуждать', 'добывать (о горных породах)', 'захватывать в качестве военной добычи', 'брать в жены', 'нанимать'.

Таким образом, к концу XVII в. между значениями глаголов-синонимов *ꙗти – бьрати* намечаются существенные различия: *бьрати* специализируется на обозначении конкретных действий приобщения объекта, в семантическом поле гл. *ꙗти* преобладают переносные значения, проникающие в сферы мыслительной и психической деятельности человека.

Второй круг смысловой структуры этимологических гнезд * *em-* и * *ber-* отмечен значениями, претерпевшими существенные изменения в ходе исторического развития и потерявшими тесную связь с ядерной семантикой приобщения объекта. В ЭГ * *em-* – это смысловой центр 'иметь, обладать, располагать чем-л.' (*имѣти*), производные значения которого ('содержать, заключать в себе', 'быть какого-л. размера', 'держать что-л. в каком-л. состоянии', 'считать кого-л. кем-л.') постепенно утратили сему 'приобщенный объект', связывавшую значение гл. *имѣти* с семантикой 'брать, взять'. На периферию ЭГ * *ber-* переместился смысловой центр 'ноша, тяжесть, груз; младенец в утробе матери', продолжающий древнюю индоевропейскую семантику 'нести, ноша; приносить потомство', которая распределяется между исконно русским (*беремѧ*) и старославянским (брѣмѧ) вариантами. Причем, конкретное значение 'связка, охапка, тяжесть' закрепляется за др.-рус. *беремѧ*, употребляемым преимущественно в книжной и деловой письменности, более общее значение 'все, что гнетет, давит, тяготит' – за цслав. брѣмѧ.

Семантическое развитие определило структуру этимологических гнезд * *em-* и * *ber-*, которые в русском языке XI–XVII вв. имеют в своем составе несколько словообразовательных гнезд. ЭГ * *em-* включает 4 СГ с вершинами *имати // емати* (*иматисѧ // ѥматисѧ, имовати, ѥмьствовати, иманиѥ // ѥманиѥ, вънимати, вънимaниѥ, възимати* и др.), *ꙗти* (*ꙗтисѧ // нѧтисѧ, ꙗтиѥ, ꙗтьникъ, възѧти, възѧтъка, вънѧти* и др.), *имѣти* (*имѣтисѧ, имѣвати, имѣниѥ, имѣньникъ, имовитъ, имущии* и др.), *изѧщьныи* (*неизѧщьныи, изѧщьствиѥ, изѧщьство* и др.). В ЭГ * *ber-* содержится 3 СГ с вершинами *бьрати* (*бьратисѧ, бирати, борьць, бьратиѥ, выбьрати, забьрати, събьрати, соборъ* и др.), *беремѧ* (*беременьныи*) и *брѣмѧ* (*бременоватая, бременно, набрѣменити, обрѣменити* и др.).

В конце XVII–XVIII в. процессы развития стилистической системы литературного языка и нормализации словоупотребления повлекли за

собой утрату части слов, принадлежащих к этимологическим гнездам * *em-* и * *ber-*. Как правило, выходят из активного употребления семантически менее емкие лексемы, а также слова, образованные с помощью непродуктивных словообразовательных аффиксов, см., например, пары дублетов, второй компонент которых утратился: *брать* // *ять* 'принимать в руки', *разбирать* // *разнимать* 'расчленять на части', *объять* // *разобрать* 'полностью подчинить себе (о страхе, стыде, смехе, любопытстве)'; *невнимание* // *невнимательство, обременить* // *обременовать, выборщик* // *выбиратель.*

Насущная необходимость в создании "метафизичекого" языка, т.е. национальной системы отвлеченной, философской, научной и публицистической лексики, способствовала появлению многочисленных словообразовательных и семантических инноваций. См., например, формирование некоторых терминов и понятий: *вънимати* 'внимать; брать умом, слухом' → *вънимани*ѥ 'состояние внимающего' → *внимание* (XVII–XVIII вв.) 'сосредоточенность мысли и слуха в направлении какого-л. внутреннего процесса или внешнего впечатления' → *внимание* (XIX–XX вв.) 'произвольная или непроизвольная направленность психической деятельности индивида'; ꙗ*тьныи* 'такой, которого можно легко взять, схватить' → *вѣро*ꙗ*тьныи* 'возможный' → *вероятность* (XVIII–XIX вв.) 'данные для осуществления, достижения чего-л.' → 'возможность, некоторая надежда' → *теория вероятности* (конец XIX–XX в.) 'отдел математики, занимающийся изучением закономерностей в массовых явлениях, из которых каждое в отдельности представляется случайным'. Среди неологизмов ЭГ * *ber-* преобладают слова, обозначающие конкретные действия и предметы промышленно-технической сферы деятельности человека: *набирати* 'набирать, скапливать в каком-л. количестве в одном месте' → *наборъ* 'действие по глаголу *набирати*' → *набор* (XVIII–XX вв.) 'совокупность предметов, образующих нечто целое, подбор' → *набор* 'типографские литеры, воспроизводящие какой-л. текст для печати'; *прибирати* 'брать к себе, дополнительно набирать' → *прибор* 'набор предметов, употребляемых при еде одним человеком' → *прибор* (XVIII–XX вв.) 'набор принадлежностей для чего-н.' → 'аппарат для производства какой-л. работы, регулирования, контроля' и др.

Общие тенденции в формировании лексико-семантической системы литературного языка обусловили изменения в структуре и составе этимологических гнезд * *em-* и * *ber-*, которые в русском языке XVIII–XX вв. состоят, соответственно, из 62 и 17 словообразовательных гнезд. Такое резкое увеличение количества СГ по сравнению с периодом XI–XVII вв. объясняется тем, что слова, утратившие смысловую общность, образуют разные СГ.

Так, в связи с архаизацией в литературном языке XVIII–XIX вв. гл. *имати* // *емати*, слова первой ступени деривации, ранее входившие в

СГ *имати // емати*, образовали 15 новых СГ с вершинами: *взаимный, внимание, ёмкий, заимствовать, недоимка, поймать, пройма* и др. Глагол *яти* утратился в современном русском языке по причине повторения его значений в синонимичном *брать*, вследствие чего его префиксальные производные образовали 41 СГ с вершинами: *взять, внять, внятный, вынуть, донять, занять, изъять, нанять, обнять, отнять, поднять, понять* и др.

К концу XVIII в. завершается процесс деэтимологизации гл. *иметь* в результате утраты семы ‘приобщенный объект’, связывавшей его значение с общей семантикой ЭГ * *em-* ‘действие приобщения объекта’, и приобретения им отвлеченного значения ‘состояние обладания чем-л.’, не только конкретным объектом, но различного рода способностями, умениями, знаниями и т.п. (ср. значения фразеологических сочетаний: *иметь в виду* ‘подразумевать’, *иметь голову на плечах* ‘быть рассудительным’). Факт деэтимологизации подтверждается также архаизацией в СГ *иметь* группы сущ. nomina agentis, известных в предшествующий период: *имѣнникъ, имѣнница, имовитець, лихоимъ* и др., значения которых еще сохраняли сему ‘приобщенный объект’.

Словообразовательные гнезда корневой группы * *ber-* распределяются по трем группам. В первую группу входят 3 СГ с вершинами: *бремя, беремя, беременная*. Из двух древнерусских вариантных основ *беремѧ, брѣмѧ*, продолжающих этимологическое значение ‘нести, ноша; приносить потомство’, в современном русском литературном языке закрепляется вариант с опрощенной основой *бремя* в церковнославянской огласовке, сохраняющий принадлежность к книжному стилю. Исконно русская полногласная основа *беремя* является принадлежностью диалектной речи, обнаруживаясь в литературном языке лишь в производных образованиях, одно из которых – *беременная* – стало вершиной самостоятельного СГ.

Вторую группу образуют 6 гнезд: СГ *брать* и 5 новых, выделившихся из него в XVIII–XIX вв., словообразовательных гнезд с вершинами: *забрать* ‘загородить’, *забор, оборка, пробор* и диал. *подбористый* ‘стройный, статный, подтянутый’.

В составе третьей группы 8 СГ, возглавляемых возвратными глаголами, обозначающими различные действия перемещения в пространстве, которые потеряли грамматико-семантические связи с невозвратными коррелятами и вследствие этого вышли из состава не только СГ *брать*, но и за пределы лексико-семантического класса глаголов приобщения объекта: *взобраться, выбраться, добраться, забраться, перебраться, подобраться, пробраться, убраться* ‘удалиться, уйти, уехать’. Формирование семантики ‘перемещение в пространстве’ в смысловой структуре ЭГ * *ber-* обусловлено, на наш взгляд, проявлением в значениях современных глаголов старого индоевропей-

ского значения 'нести' – *взобраться* 'перенести себя в направлении снизу вверх', *выбраться* 'перенести себя изнутри чего-л. наружу или с одного места на другое' и т.п. (ср. проявление семантики 'нести' в значениях глаголов ЭГ * *em-*: *сняться* 'покинуть какое-л. место, отправляясь в путь; поехать, пойти в каком-л. направлении', диал. *донять* 'дойти, доехать до кого-л.'; болг. *емна, поема* 'отправиться куда-л.').

В морфологической системе русского языка XVIII – начала XIX в. завершается формирование категории глагольного вида. Этот процесс способствовал образованию в глагольных группах этимологических гнезд * *em-* и * *ber-* коррелятивных видовых пар с помощью корневого аблаута: *внять – внимать, занять – занимать, обнять – обнимать*: *обременить – обременять, выбрать – выбирать, забрать – забирать* и т.п. Что же касается пары *взять – взимать*, то ее образование стало невозможным по причине существующих расхождений в семантике составляющих компонентов: *взять* 'принять в руки, получить' – *взимать* 'собирать налоги, подати; взыскивать'. Таким образом, оставшийся без однокоренной видовой пары глагол *взять* "нашел" ее в синонимичном ЭГ * *ber-* "в лице" глагола *брать*, имеющего имперфективное значение 'принимать в руки'.

З а к л ю ч е н и е. На всем протяжении функционирования двух синонимичных ЭГ в разные периоды развития русского языка: в них осуществляются количественные (рост лексических единиц, усложнение словообразовательной системы за счет увеличения числа словообразовательных гнезд) и качественные (обогащение семантической структуры в результате действия процессов концентрации и филиации значений вокруг определенных смысловых центров) изменения.

В смысловой структуре ЭГ * *em-* оформилась система отвлеченных понятий мыслительной и духовной деятельности человека: 'осмыслять, постигать содержание, смысл чего-л.' (*понимать*), 'охватить в полном объеме содержание, сущность чего-л.' (*объять*), 'оказывать дружеское расположение' (*приятствовать*) и др. Напротив, семантика ЭГ * *ber-* сосредоточилась на обозначении конкретных физических действий приобщения объекта и производных от них понятий: 'принимать в руки' (*брать*), 'взять кое-что из множества' (*выбрать*), 'взять, собрать дополнительно' (*добрать*), 'аппарат для производства какой-л. работы, регулирования, контроля' (*прибор*).

Параллельное развитие синонимичных ЭГ * *em-* и * *ber-* в истории русского языка привело к образованию между их глагольными рефлексами супплетивной видовой пары *брать* (НСВ) – *взять* (СВ), что подтверждает тезис современных исследователей о том, что супплетивные формы не являются пережитком древнего состояния языка, а возникают в разные периоды его существования в связи с развитием абстрагирующей способности мышления[3].

Примечания

[1] Современные ученые признают факт развития в праславянских рефлексах и.-е. * *bher-* нового значения ‘брать, хватать’, которое стало более актуальным для семантики ЭГ * *ber-* и обусловило синонимию с ЭГ * *em-*. См.: *Sławski F.* Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. I, 487; Фасмер I, 159; *Варбот Ж.Ж.* О возможностях реконструкции этимологического гнезда на семантических основаниях // Этимология. 1984. М., 1986, 33–40.

[2] Описание этимологических гнезд применительно к праславянскому состоянию осуществлено на основе новейших праславянских этимологических словарей ЭССЯ, вып. 1–21 и Słownik prasłowiański t. I–IV.

[3] См.: *Горбачевский А.А.* К вопросу о путях возникновения супплетивных форм в славянских языках. Душанбе, 1967; *Мельчук И.А.* О супплетивизме // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972, 396–438; *Евгеньева А.П.* Синонимические и парадигматические отношения в русской лексике // Синонимы русского языка и их особенности. Л., 1972, 5–22.

В.Н. Топоров*

К ЭТИМОЛОГИИ ДР.-ИНД. *kram-* ‘ШАГАТЬ, СТУПАТЬ’

Уже не раз отмечалось, что наибольшие успехи в этимологии за последние полвека связаны с тем, что можно назвать с е м а н т и ч е с к о й реконструкцией, конкретнее – с определением того исходного или, точнее, предельно достижимого при имеющемся уровне знаний с м ы с л а, который м о т и в и р у е т внутреннюю форму исследуемого слова. В других языках (а нередко и в том же самом) слова с тем же значением, но иной формой могут мотивироваться иначе, и совокупность таких мотивировок разноязычных слов с общим смыслом, по возможности полная, образует корпус ценнейших сведений по семантической типологии, которые, уточняя детали разных типов словопроизводства, выделяя индивидуальное и даже уникальное, с одной стороны, и общее "типовое", с другой, оказывают этимологу существенную помощь в его дальнейшей работе.

Ставя перед собой задачу семантической реконструкции слова, исследователь находится в н у т р и я з ы к а и работает исключительно или прежде всего с языком, поскольку задача его чисто языковая. Отсюда – постулат доверия к показаниям языка и установка на обнаружение некиих иных, пока скрытых от него показаний, которые могли бы оказаться полезными для решения его задачи. Но сам язык обычно "разыгрывает" некую вне его лежащую ("внеязыковую") данность, ситуацию или, точнее, за словом стоит, слову соответствует некая "реальная" (или представляемая как таковая) ситуация, возникшая вне языка и существующая исходно вне языка и только получающая в слове "второе" рождение, более сильное и операционное

осознание себя и н ы м, носителем языка. Тем не менее и сама эта "внеязыковая" ситуация в определенном смысле самодостаточна – у нее свой набор элементов, их связей и свойств, действий-операций, своя логика или, если быть более точным, набор логик, которые эксплицируются, по крайней мере отчасти, при освоении этой ситуации языком, что непосредственно отражается в разных способах мотивировки и в разном выборе того, что может быть принято за единственный и достаточный признак всей ситуации. Иначе говоря, при освоении языком внеязыкового "реального" речь может идти о д в у х выборах, с которыми исследователь должен считаться: п е р в ы й – ситуация А, состоящая из *n* элементов, кодируется по одному из *n* элементов, признаваемому в данном случае определяющим, "характерным" (так, целое А обозначается или через *a*, или через *b*, или через *c*..., или через *n*); в т о р о й – та же ситуация А кодируется не по одному из возможных элементов (как в первом случае), а по одной из характерных черт о д н о г о и т о г о ж е элемента (по *K*, *L*, *M*..., которые могут выступать как признаки элемента *d*; так, характерными признаками движения *d*, участвующими в ономатетическом акте, могут быть перемещение *K*, толкание *L*, подъем *M*... и т.п.).

И в том и в другом случае существен л о к у с, в котором происходит имянаречение этой ситуации А, и тот с п о с о б, которым это делается. Если только этот акт не сводится к простому перенесению на обозначение нового старых элементов и к некоторому более или менее механическому приспособлению второго к первому, имянаречение ("ономатесия") всегда порождение о б р а з а, явление образности как единственно возможного перехода от "реального" внеязыкового к языковому, и, следовательно, первый результат проявления п о э т и ч е с к о й функции языка. Каждый такой прорыв в "исходный" смысл возникающего имени-образа, в самое его мотивацию одновременно обозначает и соответствующее расширение сферы поэтического языкового творчества и повод для микротекстовых (по меньшей мере) реконструкций. Более того, такие открытия всегда говорят и о самом творческом сознании, как оно отражается в языке, и о том, насколько оно с помощью языка и через язык способно аккомодироваться к внеязыковой "реальности", к субстрату, или – в несколько ином аспекте – как в непространственном и "нереальном" созерцании формируется эквивалент пространственного и "реального" внеязыкового.

Тема этой заметки – этимология др.-инд. *kram-*, как она может быть увидена через семантическую мотивировку этого слова и через мотивировку со стороны внеязыковой ("подъязыковой") "реальности". Этот глагол обозначает особый вид передвижения – 'шагать, ступать', т.е. последовательность, выстраивающуюся из повторения ряда прерывных однообразных "элементарных" движений. Словари указывают еще целый ряд значений – 'ходить', 'идти', 'направляться', 'приближаться' и т.п., которые нужно признать экстенсивными обозначениями

более интенсивных и специфических видов движения, "в общем и целом" удовлетворяющими практические потребности понимания конкретных контекстов с наличием глагола *kram-*. Обращение к таким значениям мало что дает для понимания подлинного, "последнего" смысла этого слова и скорее уводит от него. Но словари отмечают также и некоторые другие "контекстуальные" значения, трактуя их, видимо, именно как таковые, т.е. как приспособление общего значения к конкретным текстовым ситуациям. Вероятно, в ряде случаев дело именно так и обстоит, но может быть (в частности, в свете дальнейших рассуждений), что именно в э т и х случаях сохраняются и/или актуализируются следы исходного значения, в других случаях стирающегося, теряющего свои оттенки, упрощающегося до "общего". Из числа таких более специфических значений, отсылающих к идеям последовательно-целенаправленного движения[1], преодоления некоего препятствия и достижения предела, приложения некоей силы-усилия и т.п., могут быть упомянуты ‘пересекать’, ‘переходить’, ‘выступать-выдаваться’, ‘растягивать(ся)’, ‘распространят(ся)’, ‘стремиться’, ‘прилагать усилие’ и др.; особо следует отметить *kram-* в значении ‘выситься, влезать’ в связи с вертикальным движением снизу вверх. Отглагольное существительное *krama-* обозначает прежде всего шаг как своего рода квант движения, его элементарную меру, далее – само движение-продвижение как результат шагания, наконец, способ, метод, в основе которого лежит последовательное движение, самое последовательность, ср. *kramena* Instr., *kramād* Abl. ‘мало-помалу, постепенно, последовательно’, *kramaśas*, то же, ‘по порядку’, *kramika-* ‘следующий один за другим, последовательный’, ‘унаследованный’, *krama-yoga-* ‘последовательность’ (букв. – ‘йога последовательности’), *kramāgata-* (*krama-ā-gata-*) ‘унаследованный’, *krama-prāpta-* (*krama-pra-āpta*) и т.п.[2]

От префиксальных глаголов с корнем *kram-* (они многочисленны, см. ниже) нередки отыменные существительные – *ati-krama-, ati-kramaṇa-, anu-krama-, anu-kramaṇa-, apa-krama-, apa-kramaṇa-, abhi-krama-, abhi-krānti-, ā-krama-, ā-kramaṇa-, ā-krānti-, ut-krama-, ut-kramaṇa-, ut-krānti-, upa-krama-, upa-krānta-, ni-kramaṇa-, nir-upa-krama-, niṣ-krama-, niṣ-kramaṇa-, pari-krama-, pra-krama-, pra-kramaṇa-, prati-krama-, vi-krama-, vi-kramaṇa-, vi-krāma-* и др. Чаще всего значения этих существительных вполне надежно выводимы из значения соответствующих префиксальных глаголов и самих префиксов, вносящих более или менее ожидаемые уточнения в смысловую нюансировку глагола *kram-*. Однако больший интерес в данном случае представляют те именные образования с префиксами, которые в той или иной мере оказываются неожиданными.

Среди значений этих отглагольных существительных в связи с темой, здесь рассматриваемой, особенно важно отметить те, что связаны с идеей начала, начинания, некоего предприятия (ср. *abhikrama-, upakrama-, upakrānta- /:nir-upa-krama-/, prakrama-*), особой активности-инициативности, направленной вовне и трактуемой как своего рода

н а с т у п а т е л ь н о с т ь (ср. *vikrama-*: *vi-kram-* при более конкретном *nikramaṇa-* 'н а с т у п а н и е (ногой)' и результат наступания – 'след ноги'), прилагаемого усилия, силы (ср. *vikramá-* 'шаг, поступь, ходьба', но и 'сила, быстрота, смелость, храбрость, мужество, геройство', *vikramaṇa-, vikramin-, vikrānti-,* ср. *vikrānta-* 'смелый, мужественный, отважный, геройский, сильный, победоносный' и т.п.[3]), подъема, восхождения (ср. *utkrama-, ākrānti* и др.). Разумеется, круг этих значений в существенной степени определяется семантикой префиксов, которая нередко возвращает к тому, что некогда в полной мере было свойственно и беспрефиксному *kram-*, но затем сильно поблекло, стерлось, иногда и вовсе исчезло. И если конкретные префиксальные глаголы с корнем *kram-* по отношению к беспрефиксному глаголу в известном отношении могут быть названы вторичными и рассматриваться как инновация, то сам круг указанных значений, связанных с префиксальными глаголами и существительными с этим корнем восстанавливает, видимо, весьма архаичую ситуацию. Более того, в некоторых случаях это восстановление исходной ситуации в префиксальных образованиях может рассматриваться как своего рода компенсация потери, понесенной беспрефиксным глаголом *kram-* и соответствующими отглагольными существительными.

Уже на этом этапе исследования можно с достаточной определенностью сказать, что глагол *kram-* передавал идею движения н е н е й т р а л ь н о г о типа, и именно эта "ненейтральность" была отмеченной. В чем состояла она, сказать с достоверностью труднее, но проявлялась она двояко – в самом х а р а к т е р е движения, его специфике и в р е з у л ь т а т е этого движения, достигнутом эффекте. В самом общем виде можно предполагать, что речь идет о некоей с и л е, примененной в ходе этого *kram-*движения. Эта сила в свою очередь могла отражаться на характере движения по-разному, и даже противоположно: в благоприятном случае *kram-*движение становилось энергичным, быстрым, широко-легким; в неблагоприятном, напротив, – затрудненным, шероховато-неравномерным, замедленным, препятствуемым. Но когда конечный результат был важнее, чем детали движения, с помощью которого он был достигнут, акцент ставился на самом результате, и он не мог не быть "с и л ь н ы м" и не мог не относиться к чему-то, что имело первостепенную важность, более того, что имело значение эталона деяния.

В е д и й с к и е данные в этом отношении особенно показательны, и в связи с фактами других индоевропейких языков, особенно балтийских и славянских, они помогают реконструировать скрытую часть истории семантического развития глагола *kram-* и его соответствий в других языках. Но прежде чем перейти к фактам ведийского языка и ведийских текстов, которые соотнесены друг с другом существенно более органически, чем, например, данные эпического санскрита с соответствующими текстами, если только последние не являются более или менее непосредственными реминисценциями ведийских

текстов, уместно напомнить, что говорится о происхождении др.-инд. *kram-* в последнем этимологическом словаре "древне-индо-арийского языка". Майрхофер, указывая, что *kram-* относится к общему индоиранскому наследию и что в иранских языках этому слову соответствуют согд.-будд. γ'rm- 'приходить' и н.-перс. *xirāmīdan* 'шагать, ступать' (со ссылкой – Tedesco ZII 2, 1923, 40; Bailey Dict. 1979, 308b), ограничивается пессимистическим выводом – "Weiteres ist unklar" (Mayrhofer, Altindoar. I, Lief. 6, 1989, 410).

В этом месте целесообразно обратиться к ведийским данным, как они представлены в наиболее репрезентативном памятнике ведийского словесного творчества – "Ригведе". Уже при предварительном знакомстве бросается в глаза, что чаще всего (с большим отрывом) субъектом действия, обозначаемого глаголом *kram-*, выступает Вишну, и, более того, именно эти "вишнуитские" контексты оказываются ключевыми для понимания специфики семантики *kram-*, точно так же, как *kram*-контексты в наибольшей степени проявляют суть главного деяния Вишну. В этом смысле вполне оправдано квалифицировать *kram-* как "verbe viṣṇuïque", аналогично сходной квалификации, данной Бенвенистом глаголу вед. *yat-* как "verbe mitraïque". Вероятно, такое закрепление глаголов за каждым из этих богов далеко от случайности (тем более что подобные "личные" глаголы выступают именно у этих двух мифологических персонажей). Можно полагать, что в обоих случаях речь идет о "креативных" по преимуществу богах, которые решают общую по своей сути задачу, но применительно к разным объектам: Вишну, создавая м и р-пространство и ч л е н я его на части, с о е д и н я е т их в единое и гармоническое целое; Митра при создании с о ц и у м а как упорядоченного и договором контролируемого человеческого "мира", коллектива исходит из начальной р а з ъ е д и н е н н о с т и-разделенности людей, которая возникает из-за отсутствия предсказуемых и контролируемых связей и тогда, когда люди пространственно удалены друг от друга и это препятствует созданию общины-мира, и тогда, когда они стеснены на слишком узком пространстве и возникает ситуация "кучи", где все смешано в хаотическом беспорядке, не позволяющем устанавливать "правильные", космологическому порядку отвечающие связи. Задача, которая стоит перед Митрой, – в с о е д и н е н и и разрозненного в органическое единое целое. Итак, в обоих случаях, при создании-устройстве и мира и социума, с очевидностью выделяются два этапа, как бы противоположных по решаемым ими задачам, – разделение-размежевание и соединение-сплочение. Судя по некоторым данным ведийской мифокосмологии, о которых здесь говориться не будет, и по многочисленным данным типологического характера, между этими двумя этапами мог быть еще один этап – переходный, связанный с и д е н т и ф и к а ц и е й частей, которые подлежали синтезу в космологическом целом мира. Если это так, то и в основе творения лежал тот же принцип, что и в методике *krama-*, о которой см. выше. Что же ка-

сается самой идентификации, то она и есть процесс, в котором р а з д е л е н и е предполагает р а з л и ч е н и е, как бы определение л и ц а иного, чем другие, а различие завершается р а с п о з н а в а н и е м-узнаванием-знанием (ср. лат. *discerno*, сочетающее в себе все эти значения). Из всего сказанного с известным основанием можно заключить, что и сам Вишну, и "вишнуический" глагол *kram-* имеют отношение и к разделению, и к соединению в том оригинальном, но хорошо знакомом ведийскому умозрению варианте, при котором субъект этих двух действий-задач одновременно выступает и как п о с р е д н и к (*madhyastha-*, букв. – 'посредине стоящий') – и между действиями и между их результатами (см. далее).

Глагол *kram-* отмечен в "Ригведе" более шестидесяти раз. Однажды встречается *krámaṇa-* 'шаг' (1,155,5) в связи с Вишну и Индрой, и шестикратно *urukramá-* 'широко-шагающий', четырежды в связи с Вишну (1,90,9; 154,5; 3,54,14; 5,87,4), и один раз в связи с Вишну и Индрой (7,99,6) и один раз в связи с Индрой (8,77,10)[4]. Главное деяние Вишну – творение, и оно неотделимо от движения, точнее, от той его разновидности, которая обозначается как раз этим глаголом *kram-*. Основной вишнуистский миф связывает само возникновение Вселенной с некиим движением, троекратно воспроизведенным, – с тремя шагами (*krama-*), "широкими шагами" (*uru-krama-*) Вишну, благодаря которым было образовано широкое пространство для "широкой жизни" (*urugāyā́ya jīvā́se*)[5], для "угнетенного (которому трудно) человека" (*mā́nave bādhitā́ya.* 6,49,13). Итак, широкий шаг – широкое пространство – широкая жизнь, образующие триаду, где каждое последующее звено зависит от предыдущего, и всё, в конечом счете, от широкого шага-шагания (*uru-kram-*), благодаря которому не только было создано пространство творения, но и оно было р а з д е л е н о на космические зоны (ср. RV 1,22,17; 154,1–4; 6,49,13; 7,100,3; 8,12,27; 29,7; 52,3 и др.)[6] и между ними была установлена с в я з ь.

Мотив широкого шага-шагания и соответственно его субъекта – "широко-шагающего" (ср. RV 1,90,9; 2,1,3; 3,54,14; 5,87,4; 6,69,5; 10,109,7 и др.) слишком известен и достаточно хорошо изучен, чтобы здесь останавливаться на нем еще раз. Но все-таки нужно более решительно отметить, что широкий (*urú-*) шаг (*krama-*) в данном мифе подлинно творческое космогоническое деяние, что "широкое" *kram-* движение – это движение о т к р а я и д о к р а я всего того широкого пространства, которое предназначено для жизни и человека, что оно п р е д е л ь н о в том смысле, что его результаты предполагают установление предела, и з а п р е д е л ь н о в том смысле, что сам Вишну столь могущ, что ему доступно п е р е с е к а н и е предела, выхода за него, который дополнительно, как бы извне, определяет границы человеческого мира, наконец, что такое "широкое шагание" предельно э н е р г и ч н о, мощно, сильно, шумно[7]. Последние характеристики, *kram*-движения, связанные с присутствием силы, порыва, преодолевающих силу сопротивления, препятствия, отчасти объясняют

предполагаемую прерывность, ноомогенность, известную "шероховатость" движения этого типа, что, кстати, может сыграть свою роль при установлении круга фактов из других языков, когда речь пойдет о составе этимологического контекста *kram-*.

Но здесь важнее уяснить специфику того трехфазового движения[8], которое привело к творению мира, смысл его в более глубоком и, если угодно, конкретном плане, как это вытекает из основного мифа, связанного с Вишну как демиургом. В наиболее концентрированном виде этот мотив "трех шагов" представлен в гимне, обращенном к Вишну – 1,154. Уместно пунктирно проследить развертывание этого мотива в связи с контекстом, в котором этот мотив выступает как ключевой: "Я хочу сейчас провозгласить героические деяния Вишну, [...] который измерил земные пространства, который укрепил верхнее жилище, трижды шагнув, (он,) далеко идущий (1) /.../ в трех шагах которого обитают все существа (2). Пусть к Вишну идет (эта) песнь [...] к [...] широко шагающему быку, который это обширное, протянувшееся общее жилище измерил один тремя шагами (3). (Он тот,) три следа которого [...], кто триедино землю и небо один поддерживал – все существа (4) Я хотел бы достигнуть [...] убежища его [...], ведь там родство широко шагающего. В высшем следе Вишну – источник меда (5). Мы хотим отправиться в эти ваши обители [...] Ведь именно оттуда мощно сверкает вниз высший след далеко идущего быка (6)" (RV 1,154,1–6).

Этот текст (и другие подобные ему) в форме гимна подчеркивает основную тему мифа о творении, в котором главным участником (если не единственным) был Вишну. Три шага, три следа, три пространства, триединство здесь в центре внимания. Идея триадичности тесно связана с мифологией Вишну-демиурга, что находится, как подчеркивал Кёйпер, в существенном противоречии с дихотомическим принципом ведийской космологии. Тем не менее многие полагали, что три шага Вишну должны интерпретироваться как способ сотворения трех космических зон, тройного членения Вселенной. Однако дуальная концепция мира древнее тернарной, и поэтому есть основание обратиться еще раз к "трехшаговой" схеме", чтобы попытаться увидеть за ней возможные следы дуальности. Таким несомненным следом ее нужно считать неоднородность этих трех шагов с точки зрения их отношения к дуальному противопоставлению по признаку "видимости-невидимости". Ключевым в этом смысле является фрагмент гимна к Вишну – 1,155,5, который возвращает нас к отмеченной выше диадической структуре 2 + 1. Ср.: *dvé id asya krámaṇe svardṛ́śo ʾbhikhyā́ya mártyo bhuraṇyati / tṛtī́yam asya nákir á dadharṣati váyaś caná patáyantaḥ patatriṇaḥ* (RV 1,155,5) "Видя только два шага того, кто выглядит, как солнце, мечется, смертный. На его третий (шаг) никто не отважится взглянуть, даже крылатые птицы в полете". Отмеченность (особая) третьего шага, невидимого, придает ему особенную значительность, бо́льшую, чем просто завершение двух

предыдущих шагов: он – и н о й, нежели те два, что ему предшествовали. Вместе с тем первый и второй шаги ("видимые") представляют единство, где первый и второй элементы подобны друг другу, и, как можно думать, отличны от третьего. В текстах число "два" нередко связывается с Вишну, не входя в противоречие с "тремя" как числом этого бога. Два мира, два пространства, созданные и установленные Вишну, естественно, предполагают те д в а шага – первый и второй, – которыми они были сотворены: *ubhé te v i d m a rájasī pṛthivyā́ víṣṇo deva tvám paramásya vitse* (1,99,1) "Мы знаем [потому что видим. – *В.Т.*] о б а твоих пространства: Земли (и Неба). Ты, о бог, Вишну знаешь [и видишь нам невидимое. – *В.Т.*] высшее (пространство)"; – *vy àstambhnā r ó d a s ī viṣṇav eté* (1,99,3) "Ты установил порознь [т.е. последовательно. – *В.Т.*] эти две половины Вселенной, о Вишну".

Учитывая не формулируемый в древнеиндийских текстах числовой принцип, когда нечто, состоящее из x частей, обозначается как $x + 1$, которое следует понимать не как прибавление еще одного такого же элемента к x, а как указание на целое, состоящее из этих x элементов и тем не менее большее, чем x, и в числе шагов Вишну нужно видеть подобную же структуру: первым шагом Вишну сотворил нижний мир – Землю, вторым – верхний мир, Небо; третьим же шагом была установлена та связь результатов первых двух шагов, которая, собственно, и была тем с и н т е з о м, что придал Вселенной ее полноту и целостность. Этот третий шаг невидим людям и неведом им: он – тайна, доступная только Вишну. Третьим шагом, связавшим Небо и Землю и оформившим их как целокупность, были определены и пределы творения – то, что внутри его (его состав), и то, что вне его и доступно лишь Вишну, способному пересекать границы мира, его, так сказать, кромку, о чем не раз свидетельствуют тексты "Ригведы", ср.: "Он прошагал (вышагал) эту землю (*ví cakrame pṛ́thivīm... etā́m*), (чтобы она стала) владением [...] он создал широкое место для поселения (*urukṣitím*) [...] Я, менее сильный, воспеваю тебя, такого сильного, правящего далеко за пределами этого пространства (*kṣáyantam a s y á r á j a s a ḥ p a r ā́ k é*)" (7,100,4–5); – "Он вышагнул (за пределы). Он охраняет два конца-предела пространства (*ví cakrame rájasas pāty ántau*)" (5,47,3)[9]. Стремление к пределу, к границе, к крайнему и преодоление их с помощью п е р е ш а г и в а н и я, ч е р е з (с к в о з ь)-ш а г а н и я (*ati-kram-*) – характерная особенность Вишну, раскрывающаяся через его движение, с одной стороны, и намекающая, с достаточным вероятием, на сам тип движения, с другой.

Можно думать, что суть этого "креативного" *kram*-движения в единстве двух одновременно совершаемых актов – освоения-присоединения и отчуждения-отъединения. Каждый из первых двух шагов (*krama-*) состоит из этих двух актов, протекающих между пересечением Вишну границы пространства, имеющего быть сотворенным, первый раз при выходе из "своего" (до сотворения мира) пространства, второй – при выходе из уже созданного "первого" пространства – нижнего мира,

Земли и вхождении в имеющее быть сотворенным "второе" пространство – верхнего мира, Неба. Это на глубине единое и непротиворечивое движение, выступающее на поверхности в двух противоположных (по видимости) вариантах, объединенных, однако, общей идеей членения-присоединения, можно представить себе, исходя из ключевого момента "перехода" – пересечения границ, как сочетание "секуще-присекающего (прирезающего)" и "секуще-отсекающего (отрезающего)" актов, как своего рода "при-к р а и в а н и е" и "от-к р а и в а н и е" пространства, первое – при пересечении "нижней" границы, второе – при пересечении "верхней" границы, выходе из нее[10]. Идея к р а й н о с т и, к р а я, к р о е н и я, определяющая *kram*-движение и верифицируемая текстами и – глубже – стоящей за нею мифо-ритуальной реальностью, несомненно, присутствует как в мифологическом мотиве шагания-творения Вишну, так и в самом глаголе *kram-*, что особенно подтверждается семантической реконструкцией. Этот вывод в свете поставленной здесь задачи должен рассматриваться как основной (см. ниже), хотя использование его при дальнейших разысканиях должно быть дополнено некоторыми другими наблюдениями, вытекающими из рассмотрения этих *kram*-текстов. Два из таких наблюдений особенно существенны.

Одно из них касается т р е т ь е г о шага. Он – высший (ср. *víṣṇoḥ padé p a r a m é.* 1,154,5; *p a r a m á m padám.* 154,6 и др.) – и не только в оценочном плане, но и в пространственном, указывающем на вертикальное движение в в е р х, в о с х о ж д е н и е. И здесь опять перед нами своеобразный парадокс ведийской религиозной мысли, как бы перекликающейся с известным постулатом Гёделя. Третий шаг был сделан, и это подтверждают источники, но новая космическая зона при этом не была создана (в отличие от первых двух шагов, приведших к созданию Земли и Неба порознь, но не к созданию Вселенной в ее целокупности). Но задачей Вишну было не создание очередной зоны, а доведение двух созданных космических зон до цельноединства. Сделать это можно было с помощью третьего шага – вверх, уже за пределы Земли и Неба: полное определение-формирование мира произошло в н е м и р а, и именно вне мира находился в заключительной стадии творения демиург Вишну[11]. Идея восхождения-подъема Вишну отражена и в целом ряде конкретных примеров[12], и в указании на его верхнее (высшее место)[13], и в отождествлении Вишну с жертвой, возносящейся вверх к богам (ср. Jaim.-Br. II, 68,1).

Эта же идея подъема, вертикального движения вверх, как бы подготовленного (вырастающего из) д и а д и ч е с к о й структурой Земля-Небо, побуждает еще раз обратиться к теме д у а л и з м а, неоднократно и настойчиво возникающей в рамках главного текста "вишнуической" мифологии. Здесь можно лишь вкратце напомнить о двух шагах Вишну, приведших к созданию двух космических зон, двух пространств, двух миров, наконец, даже о двух божественных субъектах вертикально-восходящего *kram*-движения Вишну и Индре и, более того, о двойственности, глубоко укорененной в самой природе

Вишну и позволяющей ему выполнять посредническую роль между богами верхнего и нижнего миров, попеременно пребывая то в одном из них, то в другом. Вишну и был образом единства обеих противоположных частей (половин) мира. Он и есть оба этих мира[14], подобно тому, как порознь их представляли Гаруда и Шеша, так или иначе соотносимые с Вишну.

Это сочетание мотивов "двойности" ("двух"), подъема-поднятия по вертикали (о ней можно судить по мировому столбу *skambha* или по *Catena aurea*: *Sūtrātman*) с *kram*-движением, кажется, дает основание внести еще одно важное уточнение, особенно если вспомнить, что обозначением "два" кодируются в определенных текстах типа *brahmodya* Небо и Земля (ср. в русских загадках типа *Двое стоят* [*стоячих*], *двое ходят* [*ходячих*]... – Небо и Земля, Солнце и Месяц...), что Небо (*Dyaus*) отождествлялось с Отцом, а Земля (*Pṛthivī*) с Матерью, и они представляли собой супружескую п а р у (*dyā́vā-pṛthivī́*, *dyā́vā-bhū́mi-*), кодируемую, кстати, как целое, состоящее из двух половин – *ródasī* (Dual.), которые – в реконструкции, которая могла бы получить поддержку со стороны обширного круга параллелей из разных традиций, – возникли в результате акта разделения, отрыва друг от друга; р а з – д в и ж е н и е их, ото-движение в разные, противоположные стороны как раз и обозначало появление пространства творения.

Подобное сочетание мотивов "двух" и подъема-поднятия, которое в определенных условиях становится образом д в и ж е н и я вообще и самим обозначением его, как известно, встречается в истории праслав. **dvig*(*a*)*ti* < **dъvig*(*a*)*ti*, особенно в тех языках, где первоначальное значение ‘поднимать’ было переосмыслено как обозначение движения вообще[15]. Именно из этой ситуации исходил О.Н. Трубачев, убедительно обосновав этимологию слова **d*(*ъ*)*vig*(*a*)*ti*, а также **d*(*ъ*)*vigo*, **d*(*ъ*)*vizь*, *-a*, *-ę/-ęte*, в которой главным было обнаружение семантической мотивации идеей "двух". В качестве типологической параллели такой трансформации значения исследователь ссылался на слвц. диал. *posošit'sa* ‘подняться’, *sošit'* ‘поднимать’: *socha* ‘развилка’ (со ссылкой на Machek[1] 463). Не ставя под сомнение уместность этой семантической параллели (неполной, однако, из-за отсутствия в приведенных глаголах общего значения движения), сто́ит все-таки отметить, что наряду с такой "хозяйственно-бытовой" мотивировкой не меньшее значение (и это по крайней мере) имеет, так сказать, "космологическая" мотивировка, с которой, кстати говоря, связано то преимущество, что она относилась к сакрализованной, ритуально и мифологически маркированной сфере, выступавшей как наиболее авторитетная модель для мира "профанических" объектов. О такой возможности объяснения уже отчасти писа́лось подробно в недавно опубликованной работе[16]. Ссылка на это объяснение, существенная в связи с уточнением семантики корня **d*(*ъ*)*vig-* и самих условий, в которых могла иметь место подобная мотивировка слова, представ-

ляется важной и в связи с др.-инд. *kram-* – тем более что двое (Земля и Небо) возникли в результате "креативных" шагов Вишну по вертикали, снизу-вверх, того *kram*-движения, которое бесспорно было д в о й н ы м (первые два шага), хотя и не было в языке (в отличие от текстов) мотивировано как таковое. Следовательно, к известной "двойной" мотивировке Неба и Земли в армянском (соотв. – *erkin* и *erkir* при *erku* < < **duu̯ō* 'два') можно добавить и ведийские свидетельства (бесспорные и весьма конкретные) "двойности" вертикального, вверх направленного *kram*-движения. В текстах космологического характера и в ритуале именно подобное понимание движения и могло мотивировать его языковое обозначение как "двойного"[17], каковая возможность была и в славянских языках, лишь частично эту возможность использовавших и усвоивших себе идею "двойности" для обозначения движения универсального типа.

Некоторые другие особенности семантики глагола *kram-* в ведийском (преимущественно) заслуживали бы дополнительного рассмотрения[18], но и без них основания для этимологического объяснения этого глагола подготовлены. Учитывая сказанное выше о семантических особенностях др.-инд. *kram-*, особенно ярко выступающих в "сильных" для *kram-* текстовых позициях, соотносимых с соответствующими отмеченными мифологическими мотивами (прежде всего – "Вишну с помощью *kram*-действия творит Вселенную"), наибольшую помощь в разъяснении этимологии др.-инд. *kram-* могут оказать балтийские и славянские данные, которые, впрочем, сами практически не рассматривались до сих пор в тесной связи друг с другом и которые могли бы дать основание для реконструкции балтослав. **kram-*, отраженного как в глагольных, так и именных образованиях обеих этих языковых групп[19]. Это упущение объясняется, видимо, по крайней мере отчасти тем, что балтийские и славянские данные акцентируют несколько разные значения у слов этого корня, находящиеся, однако, в отношении взаимной дополнительности.

Славянские факты подчеркивают мотив о т – р е з а н и я, от – деления, членения, изъятия, о чем свидетельствуют многочисленные примеры. Ср. **kromě* 'кроме, без, исключая' (ст.-слав. кромѣ, чеш. *kromě*, ст.-словац. *kromě*, ст.-польск. *kromie*, др.-рус. *кромѣ*, русск. *кроме*, ст.-блр. *кроме* и др.); – **kroma/*kromъ* (в.-луж. *kroma* 'край', *н-луж. kšoma* 'край, кромка', 'рама, кайма'; польск. диал. *kroma* 'краюха, ломоть хлеба', *krom* 'ломоть', словин. *kroma*; др.-рус. *крома* 'ломоть хлеба, отрезанный от целого каравая' (ср. ц.-сл. *покромь* 'margo panni'), рус. диал. *кро́ма́* 'край, конец', 'ломоть хлеба, краюха', *кром* 'конец улицы, деревни, села'; 'закром, засек', *кро́мы* 'ткацкий стан' и др.); – **kromъka* приблизительно с той же исходной семантикой и т.д. (см. подробнее ЭССЯ 12,1985, 185–186; 13,1987, 5–6). Сюда же, разумеется, относится и глагол праслав. **kromiti*, отраженный в русск. диал. *кро́ми́ть* 'разделять, разгораживать' (ср. *кромить сусеки*, т.е. закрома,

ср. внутреннюю форму слова *сусек*: *сечь*); 'отламывать', 'обтесывать края досок, устраняя неровности и шероховатости' (*Кроми́ть – доску по краю.., Кроми́ть лес*); 'сортировать', 'просеивать' (т.е. отделять одно от другого), см. СРНГ 15,1979,275, а также в блр. *кромíць* 'спиливать', 'срубать', (ветку у сосны, готовя ее для борти) и в.-луж. *kromić* = *krjemić* 'крошить' (ср. ЭССЯ 13,1987,5, ср. 12,1985,117: **kremiti*: в.-луж. *krjeníca* 'краюха, ломоть хлеба', *krjeńca*) и др.

Что эти слова связаны с идеей отделения в варианте "резания" и близких ему ("рубка", "ломание" и т.п.), не вызывает в целом сомнения, что, впрочем, еще не решает окончательно вопроса о "последнем" из смыслов, мотивирующих внутреннюю форму слова, хотя и существо приближает к нему. Об этом свидетельствуют и сами значения этих слов, прямо или косвенно отсылающие к подобной идее, и наличие генетически связанных с **krom-* слов в славянских языках с тем же семантическим составом (ср. **krojь: *krojiti, *krajь: *krajiti, *krajati*, см. ЭССЯ 12,86–89,180–182, а также слова, где это же значение или близкое к нему восстанавливается с достаточным вероятием, хотя оно может и не быть "последним" мотивирующим, ср. *(*s*)*kroz*(*ь*): и.-е. *(*s*)*ker-*: *(*s*)*kor-*: *(*s*)*kre-*: *(*s*)*kro-* 'резать'; **skromьnъ*(*jь*): рус. *скро́мный*, польск. *skromny* (:*skromić*), чеш., словац. *skromný* и др., которое может трактоваться двояко – или как "держащийся в рамках", т.е. в некоей ситуации, поведение внутри которой ограничено, "обрезано" рамками, или как "держащийся в стороне, с краю", т.е. знающий свое место и не заявляющий претензий на большее и т.п.); и и.-е. *(*s*)*ker-* в разных вариантах корня с идеей резания, отрезания (ср. др.-греч. κείρω, др.-исл. *skera*, лит. *skìrti* и т.п., см. Pokorny I, 938–941).

Поскольку здесь в центре внимания др.-инд. *kram-* как обозначение особого рода д в и ж е н и я, было бы существенно, во-первых, обнаружить в славянских и балтийских языках слова, которые, восходя к указанному и.-е. *(*s*)*ker-*: *(*s*)*kor-*, отражали бы идею движения, и, во-вторых, найти типологические параллели к сосуществованию значений "резания" и "движения" и/или к переходу первого из них во второе. Названные языки действительно содержат и то, и другое.

Что касается п е р в о г о, то со славянской стороны прежде всего еще раз нужно привлечь внимание к таким словам, как праслав. **krokъ*, **kročь*, **kročajь* : **kročiti*, соответственно обозначающим шаг и шагание (см. ЭССЯ 12, 178–179, 183; ср. также слова с полной ступенью того же корня – **korkъ*/**korka*, **korakъ*, **korčajь* : **korčiti*, **koračiti*, см. ЭССЯ 11, 50–51, 56, 77–80; о **korčunъ* см. 11, 56–58). Все эти слова восходят к общему корню, обычно возводимому к и.-евр. *(*s*)*ker-* 'сгибать, скручивать' и т.п. Однако лишь в очень редких случаях это значение удовлетворительно могло бы объяснить реальную лексему (которая, кстати, могла бы быть объяснена и иначе), ср. болг. *крачкся* 'корячиться', 'разводить ноги' (Геров) при болг. *кра́ча* 'шагать'[20] или

**korčunъ* как обозначение с о л н ц е в о р о т а. Кроме того, следует помнить, что наряду с **(s)ker-* 'сгибать(ся), гнуть(ся), вить(ся), крутить(ся)' и под. существует **(s)ker-* 'резать, рвать, драть, рубить' и т.п., ф о р м а л ь н а я связь которых не может быть случайной хотя бы уже только потому, что соотношение этих двух смысловых кругов выражается одним и тем же корнем и в целом ряде других случаев[21], что окончательно исключает случайность и свидетельствует о языковой основе такого тождества или совпадения. Поэтому, избегая в данном случае ненужной прямолинейности, достаточно констатировать, что есть серьезные основания говорить о связи слов типа **krokъ* : **kročiti* с идеей "резания" как мотивировкой внутренней формы и, следовательно, с глаголом **(s)ker-* 'резать'. О более глубинных мотивировках семантической связи этих двух кругов см. в другом месте.

Что же касается в т о р о г о, то количество типологических параллелей к сочетанию мотивов "резания" и "движения", предполагаемому и в др.-инд. *kram-*, и в праслав. **krom-*, **krokъ*, **kročiti* и др., и в и.-е. **(s)ker-* (точнее, к глубинной связи этих мотивов), достаточно велико и разнообразно. Здесь можно ограничиться указанием примеров двух категорий – когда одно и то же слово, исходно связанное с мотивом резания, становится характеристикой движения (ср. **rězъvъ/jь* : **rězati*, о быстром движении, или **skorъ/jь* < **sker-* : **skor-* 'резать'), и когда глаголы "резания", "отрывания" и т.п. используются для обозначения движения (ср. рус. *драть/удрать, драпать, вырваться/оторваться,* о состязающихся в беге, например, *ре́зать/нареза́ть* в контекстах в роде *ишь как он н а р е з а е т: его, пожалуй, уже не догнать* или *р е ж е т напрямую через поле* и т.п.[22], ср. *рубленный шаг*); ср. также др.-инд. *dru-* : *dravati* 'бегать' (: **der-* 'драть'), нем. *scheren* 'убираться, проваливать' (*scher dich fort!*) при *scheren* 'стричь, срезать, отрезать' и т.п.

Нужно еще добавить, что сама специфика шага, шагания, как это отчасти можно понять и из предыдущих рассуждений, состоит не только в той двойственности, которая в целом присуща движению рассматриваемого типа, но и в том, что оно все время и, строго говоря, одновременно актуализирует игру в н у т р е н н е г о и в н е ш н е г о пространства, которые в принципе могут обозначаться с помощью одного и того же элемента (ср. др.-рус. *кром,* внешнее городовое укрепление в Пскове, *кромѣшный* и т.д., но *кромство* 'внутренность' или *кремль,* крепость внутри города[23] при *кромка* как граница между внутренним и внешним). Эти изменения соотношения внутреннего и внешнего, обнаруживаемые уже в пределах одного шага, а тем более в пределах двух шагов, образующих полный цикл в его минимальном измерении[24], состоят в том, что передняя граница шага все время становится задней, а задняя передней, что движение как раз и формируется этими переносами-передвижениями двух границ шага в процессе их взаимного преобразования друг в друга. *Kram-*

движение (если вспомнить о др.-инд. *kram-*), очевидно, и следует понимать как последовательный перенос вперед к р о м к и ш а г а, границы досягания (ср. вероятную связь русск. *шаг* с праслав. **sęg-* ‘досягать’, ср, **sęženь*/**saženь* ‘сажень’), осуществляемый поочередно то одной ногой-шагом, то другой.

В этой связи еще раз следует обратить внимание на праслав. **kromiti*. Отражения этого слова засвидетельствованы в основном в русском языке, и общее их число очень невелико. К тому же, "кинетические" контексты этого глагола неизвестны, хотя намеки на них есть (‘отделять, отламывать, снимать /кору/’ и под.), и они позволяют предполагать, что некогда **kromiti* могло означать и движение, того же типа, что и др.-инд. *kram-*, так сказать, **krom-* & **iti*. Такое предположение можно было бы подкрепить нередкими в древнерусских текстах практически формульными сочетаниями *кромѣ* & *ити*, ср.: *...повелѣ* [Ольга] *отрокомъ своимъ пити* [вм. *ити*] *на ня, а сама о т и д е к р о м ѣ* (Лавр. лет. 57); – ... *ащели отъ дьявола, то и д и т е к р о м ѣ мене грѣшного* (Хит. Макария. П. отреч. II, 72, XVII в.); ср. также: *Ростиславъ же о т с т у п и к р о м ѣ града* (Соф. I лет.[2], 133) и др. (СлРЯ XI–XVII вв. 8, 70). Подобные примеры уцелели и в ранних текстах других славянских языков, в которых *kromě, krom* выступали и как наречие. Это дает, видимо, надежные основания для реконструкции праслав. **krom(ě)* & **iti*, отчасти подкрепляемому и др.-инд. *i-* & *kram-*, ср. *éti krámais* = *krámate, krāmati* ‘шагать, ступать’ и др.

Важнейшее соединительное звено между древнеиндийскими и славянскими данными образуют показания балтийских языков и прежде всего литовского, до сих пор остававшиеся в полном пренебрежении. Речь идет о литовских глаголах с корнем *kram-*, передающих идею д в и ж е н и я – ходьбы, бега, езды, но особого типа – замедленного, потихоньку, как бы затрудненного, с усилием. Ср. лит. *kraménti* (как в независимом употреблении, так и с префиксами *at-, iš-, nu-, pa-, par-*): *Važiuok greičiau, ką čia k r a m e n i* !; – *Visą kelią arklys i š k r a m̃ e n o, ažtat ir sušilo; – Ilgai sirgo, ale da po biškį p a k r a m e n* (ср. *parkraménti* ‘sunkiai pareiti’); – *Lig vakaro gal ir n u k r a m ẽ n s i m; – K r a m i n ė j o, k r a m i n ė j o, kažin kur b e n u k r a m ẽ n o* и др. В связи с последним примером ср. междометийное употребление *kram-* для обозначения замедленного, членимого на последовательность отрезков движения: *Tik k r a m̃, k r a m̃ k r a m̃ ir n u k r a m e n o; – Vaiką kromo nešioja: k r a m̃, k r a m̃, k r a m̃* и т.п. (см. LKŽ VI, 1962, 408, 410–411), почти как рус. *хром, хром, хром*. Идея движения присутствует и в других глаголах с этим же корнем, ср.: *kraminė́ti* ‘гулять, прохаживаться, бродить, слоняться, шататься’, *kramìnti* и др. (LKŽ VI, 411–412). Эти глаголы с корнем *kram-* (: слав. *кром-*, др.-инд. *kram-*) дают основания уточнить характер кодируемого ими действия. Здесь можно ограничиться двумя смысловыми кругами. О д и н из них связан

с обозначением некоторых "трудных", прерывных, неоднородных акусм – тяжелого кашля, отхаркивания, хрустения, грызения, "шумного" разжевывания и т.п. (и в переносном смысле – 'грызть' = 'ругать, бранить', ср. *kraménti*: *Mokau tą savo vaiką, k r a m e ñ u o kaip miets, teip miets.* LKŽ VI, 410–411)[25]. Ср.: *Senelis k r a m e n a; – K r a m e n i kaip koks džiovinykas*; *– K r a m ẽ n a, k r a m ẽ n a mano diedas, matyt jam sukatos pripuolė* и др. (LKŽ VI, 411). К этому же кругу принадлежат *kramėliuoti* 'тяжело вздыхать, кашлять' (: *kramelys* 'кашель, одышка'), *krameiluoti, kramėsuoti* 'кряхтеть, хрипеть, сипеть', *kramėzuoti* 'тяжело кашлять', *kramẽti* 'хрипеть' и т.п., а также соответствующие существительные – *krameila, kramezà* и т.п. (LKŽ VI, 410–415). С глаголом *kraménti* и др. в значении замедленного движения эти *kram-* глаголы объединяются идеей небеспрепятственного, затрудненного развертывания действия. Д р у г о й семантический круг объединяет слова, отражающие аналогичные же "трудности", неоднородность, негладкость, шероховатость в фактуре материала, в особенностях его поверхности и, следовательно отсылает прежде всего к "осязательному", но отчасти и к "зрительному" коду. Ср. *krámti* 'покрываться паршой, струпьями, коростой', *apkrámti, iškrámti, nukrámti (Kokia ano burna a p k r a m u s i !*; *– N ù k r a m ę s žmogus – kuris turi šašų, šašuotas; – Po dumblynus graibant, k r á m s t a rankos* и т.п. (LKŽ VI, 415), *kramẽti*, но и *kramà*, о человеке, покрытом паршой; *krãmas* 'парша' и т.п., *kramagal̃vis*[26], *kramausỹs, kramẽkšla* и др.

Латышские свидетельства уступают литовским количественно и, кажется, не фиксируют значение движения (что напоминает ситуацию с русск. *кро́ми́ть*). Основной круг примеров, связанных, как правило, с производными глаголами, реализует значение отделения, членения в варианте грызения-отгрызения, откусывания, ср. *kramsît, kram̃šât, kràmstît, kramšļât, *kramtât* (ср. *sa-kramtât*), *kramtît, kramšķinât* и, конечно, *krìmst, krèmst* и его "расширенные" варианты *krem̃stît, krêmtît, kremšļât, kremslêt, kremsļuôt* (см. Mühlenb. 2, 257–259, 273, 279; Erg. Hf. 641–642, 648–649). Вместе с тем отмечены и глаголы с "акустическим" значением – *kręmslât* 'кашлять', *kręmsluôt, kremelêt*, то же, и слова, значение которых предполагает "осязательно-зрительный" код, ср. *kramt* 'покрываться коростой, засыхать': *krama* 'парша, короста, сыпь' и др., *krams*, то же, но и 'череп', *krems*.

Из списка латышских глаголов с корнем *kram-/krem-* видно, что большинство из них более позднего происхождения, хотя вторичные "расширения" и преобразования наслаивались на надежную индоевропейскую основу. Существенно, что и латышский, и литовский[27], и славянские[28] языки пережили этап формирования таких глаголов в основном порознь, но в самом разнообразии типов и вариаций надежно просвечивает старое балто-славянское наследие (ср. **kram-so-tei̯*: лит. *kramsóti*, лтш. *kram̃šât*, слав. **kromsati* и под.)[29].

Если приведенные выше соображения об этимологии др.-инд. *kram-* окажутся верными, оно естественным образом обретет и свое окружение на индоевропейском уровне, причем в этом окружении ближайшее место займут балтославянские данные, хотя и не только они присутствуют в нем[30].

Примечания

[1] Эта идея целенаправленно-последовательного, шаг за шагом ("прогрессивного") движения отражена в самой сути и в названии особого метода чтения и писания ведийских текстов – *krámа-*, когда чтение (писание) развертывается от первого члена (будь то буква или слово) к второму, еще раз повторяемому при переходе к третьему и т.д., т.е. по схеме 1 → 2 & 2 → 3 & 3 → 4... Этот способ чтения (писания) в отношении к словам называется *pada-*, букв. – 'шаг' (Taittirīya–Prātiśākhya II, 12).

[2] С идеей последовательности элементов ряда связана и идея п е р е ч и с л е н и я всех элементов этого ряда, их полный учет и исчерпывающее описание их, ср. *anúkramaṇa-* 'перечисление' и особый вид текстов, связанных с перечислением ("списком"), *anukramaṇikā* 'оглавление, содержание': *anu-krama-* : *anu-kram-*.

[3] Не случайно, что имена с основой *vi-kram-* широко распространены в древнеиндийской ономастике, особенно в отнесении к царям, их сыновьям ("принцам"), героям, отважным воинам. Особенно отмеченными являются имена царей *Vikrama-* и *Vikramāditya-*. "Первоносителем" этого имени был Вишну – *Vikrama* (так, в частности, он именовался в "Махабхарате"). Эта же основа встречается и в целом ряде топонимов.

[4] То, что Индра иногда соприсутствует Вишну в *kram*-контекстах, а изредка, как в RV 8, 77, 10, выступает и единолично, не меняет сути дела. В данном случае важна сама функция и способ ее осуществления, связанные с *kram-*, и то, что само *kram-* первично и "сильно" соединено с главным деянием Вишну. Поскольку в ряде гимнов Вишну и Индра выступают как пара, совершающая общее деяние, "обобществляется" и глагол *kram-*, а иногда он вторичным образом используется и в отнесении к другим субъектам, что, однако, не отменяет "вишнуической" природы (как и происхождения) этого глагола. О соотношении Вишну и Индры и их связи проницательные наблюдения были сделаны Ф.Б.Я. Кёйпером: «Согласно прежним взглядам, Вишну был в Ригведе всего лишь помощником великого Индры; его значение постепенно увеличивалось, и в конце концов он возвысился до положения спасителя человечества. На наш взгляд, Вишну был чем-то несравненно большим, чем простой помощник: мифологически его следует представлять себе стоящим между двумя партиями в ходе борьбы с Вритрой – точно так же как он пребывал в амбивалентной позиции между богами и асурами при пахтании океана [...] Я позволю себе процитировать здесь несколько слов, написанных много лет назад: "Точно так же, как в эпосе говорится, что та сторона, вместе с которой Кришна, победит (*yataḥ kṛṣṇas tato jayaḥ*. – Mbh. VI, 21, 12), так и мы должны придавать гораздо более фундаментальную значимость той, казалось бы, незначительной роли, которую играет Вишну в поединке Индры с Вритрой [...]: двусторонность природы Вишну есть, по-видимому, тот определяющий фактор, который сам по себе мог склонить в любую сторону равновесие в поединке противостоящих половин космоса". Вишну считается победителем, нисколько не уступая в этом Индре (RV 6, 69, 8; Jaim.-Br. II, 242 и след.). Однако в отличие от Индры, который пришел "из ниоткуда", он первоначально принадлежал нижнему миру, представляя, впрочем, как Адити и Анумати, его благоприятный аспект, противопоставленный амхасу. В самый момент сотворения дуального мира он поднялся из центра, в силу чего он связан со столбом, который ныне поддерживает Небо. Как этот столб соединяет Небо и Землю, "подобно оси между двумя колесами", так и Вишну является соединительным звеном, принадлежащим обоим мирам» – *Kuiper F.B.J.* The Three Strides of Viṣṇu // Indological Studies in Honor of W.N. Brown. New Haven, 1962 (русский перевод – *Кейпер Ф.Б.Я.* Труды по ведийской мифологии. М., 1986, 110).

[5] Ср.: "Вот эту самую его мужскую силу мы и воспеваем, [...] (того), кто широко перешагнул через земные (просторы) всего лишь тремя шагами, чтобы (человечеству) идти далеко, чтобы (ему) жить" (*...yáḥ pắrthivāni tribhír íd vígamabhir urú krámiṣṭorugāyáya jīváse*. 1, 155, 4), ср. сходное в связи с Индрой-Вишну – "О Индра-Вишну, (вот) это удивительно у вас: в опьянении сомой вы (всегда) шагали далеко (вперед) (*urú cakramathe*), вы сделали воздушное пространство шире (*ákṛṇutam antarikṣam váriyó*), вы распространили просторы для нашей жизни (*'prathatam jīváse no rájaṅsi*) (6, 69, 5) и др.

[6] Кроме уже упоминавшейся работы Кёйпера в связи с этими мотивами из обширной литературы можно выделить: *Gonda J.* Aspects of Early Viṣṇuism. Utrecht, 1954; *Огибенин Б.Л.* Структура мифологических текстов "Ригведы" (Ведийская космогония). М., 1968, 26–27, 33–37, 60–64; *Ogibenin B.L.* Structure d'un mythe védique. Le mythe cosmogonique dans le Ṛgveda. The Hague, – Paris, 1973.

[7] Не случайно, что глагол *kram-* неоднократно употребляется в связи с сомой, своего рода соком жизни, витальной силы, бессмертия, который при выжимании его с помощью давильных камней поражал ведийских ариев своей необыкновенной энергией движения, силой, с которой он вырывался, и шумом, им производимым. "Мы воспеваем соки сомы, которые в ы р в а л и с ь - в ы с т у п и л и вперед (*prá ... á k r a m u ḥ*), как возбужденные, неистовые, неутомимые быки, громя (убивая) черную кожу" (9, 41, 1). – говорится о соме. Или – "Вперед в ы р в а л и с ь - в ы с т у п и л и (*pra ... a k r a m u ḥ*) соки сомы ради богатства, словно г р о - х о ч у щ и е колесницы (*svānáso ráthā*), словно скакуны, ищущие славы" (9, 10, 1), или – "Этот (сома) [...] б р о с и л с я (*abhy ákramīd*) к жертвенным усладам, как Эташа (мифологический конь. – *В.Т.*) к наградам" (9, 108, 2), или – "Он вырвался (*ny àkramat*), словно конь, запряженный в колесницу, будучи выжатым в цедилку (чтоб излиться) в два чана [...]" (9, 36, 1), или – "Очищаясь, он в ы р в а л с я - в ы с т у п и л (*akramīd abhi*) против всех противников, очень подвижный (*vícarṣaṇiḥ*) (9, 40, 1). Эти сравнения-описания сомы с тем, что наиболее энергично, мощно, шумно, неистово, при том что сома находится в связи с глаголом *kram-*, тем более убедительно, что именно Вишну и Индра причастны к мифологии сомы (= Сомы), ср.: "Воспойте ваш напиток из сока сомы настроенному (на это) великому герою и Вишну [...] Неистово, в самом деле, столкновение у (этих) двоих жестоких, о Индра-Вишну, тот, кто пьет выжатого сому, создает безопасность вам двоим [...]" (1, 155, 1–2, ср. *kram-* 155, 4). Более того, они – "океан, сосуд, заключающий в себе сому" (*samudrá sthaḥ kaláśaḥ s o m a d h ā n a ḥ*. RV 6, 69, 6); при этом справедливо отмечают, что эти слова должны иметь в виду прежде всего Вишну (как и фраза "В опьянении сомы вы (всегда) шагали далеко (вперед)". 6, 69, 5b, см.: *Кёйпер Ф.Б.Я.* Указ. соч., 110). Брахманические тексты подтверждают, что именно Вишну наиболее органично и глубоко был связан с сомой, который принадлежал Вишну и обозначался как "вишнуический" (ср. *somo vaiṣṇavó*. ŚBr. XIII. 4. 3. 8); согласно Кёйперу, Вишну выжимает сому для Индры (со ссылкой на RV 1, 22, 1, если только это не ошибка в указании места).

[8] Три шага Вишну образуют последовательное, однонаправленное, поступательное (ср. *kram-* 'шагать, с т у п а т ь') движение. Однако это космическое движение вперед, принадлежащее к типу *pravṛtti-*, букв. – 'раз-вертывание вперед', в эпических текстах дополняется обратным движением – назад, ср. *nivṛtti-*, которое в позднем индуизме характеризует Вишну-Нараяну, "спящего" Вишну, символа жизни, отчужденной от активности и "низ-вертывающейся" в смерть. См. *Held Y.J.* The Mahābhārata. An Ethnological Study. Leiden, 1935, 128, ср. также 145; *Hopkins E.W.* Epic Mythology. Strassburg, 1915, 207; *Кёйпер Ф.Б.Я.* Указ. соч., 110. Вишну как творец условий, необходимых для жизни и пособник ее, так же относится к Вишну в ипостаси божества смерти (*saṃhartṛ-*), как *pravṛtti-* к *nivṛtti-*, во всяком случае в правдоподобной реконструкции. Эти соображения важны в связи с идеей двуприродности Вишну, без которой многое в этом образе остается непонятным, и в связи с его первоначальным "темным" локусом – нижним миром, который позже уравновешивается "светлым" локусом – стояние Вишну на горах (RV 1, 154, 2, 3; 155, 1), повелителем которых он является, связь с Небом, Солнцем, космическим столбом и т.п.

[9] Едва ли прав Саяна, относящий этот фрагмент к Сурье. – Идея предела и меры и выхода за их границы постоянно связывается с Вишну, ср. RV 7, 99, 1–2; 1, 155, 4.

[10] Следует напомнить, что обе эти особенности имеют свой отдаленный исток (неясный намек на него) в самой узости-тесноте "беспространственного" Хаоса – совокупность-смешение ("пред-синтетический" аспект) и виртуальное присутствие в нем разно-отдельного ("пред-аналитический" аспект).

[11] Парадоксальные отношения первого, второго, третьего шага, соответственно возможностей одноногого, двуногого, трехногого (следует напомнить, что *pad*-обозначает и шаг и ногу; ср. *padá*- 'шаг, след ноги' и под.), отражаются и в ведийских загадках. Ср.: *é k a p ā d b h ū́ y o d v i p á d o v i c a k r a m e dvipā́t tripā́dam abhy èti paśčā́t* (RV 10, 117, 8, с продолжением: *cátuṣpād eti dvipádām abhisvaré*) "Одноногий шагнул дальше, чем двуногий, двуногий настигает сзади трехногого (четырехногий идет в пределах зова двуногих)" – с отгадкой (последовательно): Солнце (одноногое), человек, старец, опирающийся на палку, собака. А это в свою очередь отсылает к загадке типа эдиповской с прочной индоевропейской генеалогией. См.: *Иванов В.В.* Структура индоевропейских загадок-кеннингов и их роль в мифопоэтической традиции // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст 1. М., 1994, 118–142. Разные отражения схемы исходной загадки этого типа довольно широко представлены в древнеиндийских текстах.

[12] "Когда мы двое в о с х о д и м н а в ы с о т у [...]" (RV 8, 69, 7), – говорит, видимо, Вишну, имея в виду себя и Индру (*úd...viṣṭápam*). См.: *Кёйпер Ф.Б.Я.* Указ. соч., 108.

[13] Ср. о мощном стоянии Вишну с Индрой на вершине гор – RV 1, 155, 1 (*sánuni párvatānām ádābhya mahás tasthátur...*) и др., а также "Ты, о бог Вишну, знаешь высшее (пространство)" (RV 7, 99, 1: *víṣṇo deva tvám p a r a m á s y a vitse*).

[14] См. *Кёйпер Ф.Б.Я.* Указ. соч., 106 и др.

[15] См. *Трубачев О.Н.* Славянские этимологии 41–47 // Этимология. 1964. М., 1965, 4–6 (42. Слав. **dvigati*); ЭССЯ 5, 1978, 168–169, 189–190, отчасти – 175.

[16] Ср. работу автора этих строк – "Об одном из парадоксов движения". Несколько замечаний о сверх-эмпирическом смысле глагола «стоять», преимущественно в специализированных текстах // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996, 13–25.

[17] Возможно, что праслав. **d(ъ)vig-*: **d(ъ)vigo-* (ср. словин. *dvíg^uo* 'ярмо для двух волов', собств. – двойная упряжка) получит несколько иное объяснение в деталях при более точном определении второго элемента в двучленном слове **d(ъ)va- & *jьgo*. Разные варианты теоретически открываются при учете значений, свойственных отражениям и.-е. **i̯eug-*: **i̯oug-*: **i̯ug-* в конкретных языках. Так, лат. *jugum* отсылает не только к таким значениям, как 'ярмо, парная упряжь; узы; иго' и т.п., но и к обозначению с у п р у ж е с к о й пары (каковой, в частности, являются Небо и Земля в мифопоэтической традиции) или м е р ы площади (ср. *jugerum*), а др.-инд. *yuga-* к обозначению временно́го отрезка, единицы времени в терминах поколений, воздушного пространства (ср. *yojana-*, мера длины). В этих случаях не исключено, что **jьgo* по своей семантике тоже могло обозначать меру длины или площади (ср. русск. *соха* в этом значении) и в этом отношении быть близким к идее шага как меры длины, укорененной в *krama-*.

[18] Речь идет прежде всего об идее агрессивности, наступательности, силы, направленной вовне, которая укоренена в глаголе *kram-*. Ср.: "Ты топтал ногой Арбуду" (1, 51, 6: *arbudáṃ n í k r a m ī ḥ padā́*) или "топча недругов ногами" (6, 75, 7: *avakrā́mantaḥ prápadair amítrān...*), также 7, 32, 27; 10, 60, 6; 166, 5 и др. Ср. *топать* (*kram-*): *топтать* (*kram-*).

[19] Во всяком случае ни в "Baltisch-slavisches Wörterbuch" Траутмана, ни в этимологических словарях балтийских и славянских языков практически нет никаких намеков на возможность такой реконструкции.

[20] Ср. лтш. *kar̃cinêt* 'болтать ногами сидя' (*kar̃cinât* 'трясти, судорожно дергать' < **kark-*), где также исходным значением могло быть не дергание, трясение, сгибание и т.п., а последовательные смены разных поз относительно ног, как бы имитация ходьбы сидя, работа ног, напоминающая работу ножниц при резании.

[21] См. (по Покорному) **del-* I и **del-* II (с тем же распределением значений), **derbh-* I и

*derbh- II, *plek- I и *plek- II, *tek̑s- I и *tek̑s- II, *u̯edh- I и *u̯edh- II, *u̯i- I и *u̯i- II. См. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология. М., 1966, 245–250, где особенно важным является заключение, согласно которому семантика круга II ('вить, крутить, плести') происходит из круга I ('резать, рвать, рубить, ломать').

[22] О быстром энергичном движении. Уместно напомнить (в частности, в связи с др.-инд. *kram-*), что и продолжения праслав. **kročiti* иногда обозначают отмеченную (в разных положительных смыслах) манеру шагать, ступать. Ср. ст.-польск. *kroczyć* 'ступать медленно, размеренно; следовать по пятам', польск. *kroczyć* 'вышагивать, торжественно ступать, медленно идти', блр. *крóчыць* 'шагать, твердо ступать'.

[23] Здесь скорее всего существует тонкое различие между стеной, окружающей град в качестве кромки-границы (внешнее), и окружаемым ею градом (внутреннее).

[24] Известны традиции, в которых шаг понимается именно как двучленная операция или состоящая из двух половин – "правой" и "левой" (откуда – важность, придаваемая тому, с какой ноги начато движение). Нередко единицей движения и длины выступает д в о й н о й   ш а г, ср. лат. *passus* 'пасс' (= 1,48 м.), 'двойной шаг' (: *pando* 'распространять, расширять' и т.п.), но и, конечно, 'шаг, стопа, поступь, след, движение'.

[25] Ср. также *kraménti* в значении 'надоедать, клянчить, въедаться' и т.п.

[26] Случаи типа *kramgal̃vis* 'у кого голова покрыта коростой, паршой и под.' (ср. лтш. *kramgal̂vis*), кажется, могут объяснить и *krãmė* 'голова змеи, жабы, лягушки и т.п., пасть, глотка; макушка; кран' и др. – К семантике соотношения *krim̃sti* 'грызть': *kràmti* 'покрываться паршой, струпьями и т.п.' (: *kramà, krãmas*) обычно указывают на др.-англ. *grindan* 'размалывать': нем. *Grind* 'струп, лишай, короста'. Следует напомнить, что нем. *Grind* (диал. и охотн.) обозначает также голову и округлую вершину небольшой горы.

[27] Ср. вторичные литовские глаголы с корнем *kram-/krem-* (при первичных *kràmti, krim̃sti*): *kramsóti, kramsė́ti, kramsnóti, krámčioti, krámsčioti, krámstelėti, krámstelti, krámsterėti, kramstyti, kramsinė́ti, kramšė́ti, kramsnóti, krámtauti, kramténti, kramtinė́ti, kramtinióti, kramtýti, kram̃tulti, kramtúoti, kramzdė́ti, kramzlióti, kramzlóti; kremsė́ti, krémsyti* (ср. *krem̃sti / krim̃sti*), *kremtenti, kremzdė́ti, kremzlė́ti, krem̃zlinti, kremznóti, krem̃žti* (LKŽ VI, 413–417, 524–525).

[28] Ср. хотя бы русские глаголы типа *кромсáть, крóмзáть, кромсáчить, крóмсить, крóмшить, кромчáть* (СРНГ 15, 275–277).

[29] К этимологии балт. *kram-* ср. *Fraenkel* 287–288, 299; *Karulis* 417, 426–427.

[30] Ср. кимр. *cramen* 'струп', брет. *crammen, cremmen*, то же; др.-франк. **scramasaks* 'cultris validis quos vulgo *scramasaxos* vocant' (Григорий Турский), ср. *scramis* (Lex Visigothorum), др.-исл. *skrāma* 'рана, шрам; топор', нем. *Schramme*. См. *Pokorny* I, 945.

Л.А. Сараджева*

К ЭТИМОЛОГИИ АРМ. *ERKIN* 'НЕБО'

Рассматриваемый вопрос весьма сложен, так как затрагивает историю слова *erkin*, принадлежащего к кругу понятий с далеко идущими мифопоэтическими ассоциациями, но остающегося, несмотря на многочисленные попытки и разыскания, совершенно не ясным этимологически. Имеющиеся на этот счет точки зрения сводятся в основном к следующему.

1. Поиски этимологического решения на армянской почве, возник-

шие в большинстве случаев до формирования сравнительно-исторического языкознания.

2. Попытки найти источники арм. *erkin* в других языках (древнееврейском, шумерском, кавказских и т.д.), рассматривать его как заимствование из этих языков.

3. Поиски этимологического решения на индоевропейском уровне, т.е. попытки найти индоевропейские истоки армянского слова: при этом одни авторы исходят из явной близости арм. *erkin* 'небо' и *erkir* 'земля', другие – рассматривают эти слова независимо одно от другого.

Весьма популярной является этимология, восходящая еще ко времени средневековых армянских авторов, связывающих арм. *erkin* 'небо' и *erkir* 'земля' с числительным *erku* 'два' (Ачарян 2, 62–63). Этой этимологии придерживаются А. Мейе[1], В. Пизани[2], Й. Кноблох[3], Вяч.Вс. Иванов[4] и др.

По мнению авторов, арм. *erkin* 'небо' и *erkir* 'земля' происходят от основы *erki-(*dui)* на том семантическом основании, что в *erkir* можно видеть древнее образование со значением женская (или пассивная) половина, а в *erkin* – форму со значением мужская (или активная) половина. На этом основании Кноблох восстанавливает две контаминированные формы: **dweino > erkin* и **dweiro > erkir*. По мнению Кноблоха, образование армянских названий земли и неба следует отнести к тому времени, когда в армянском еще сохранилось различие мужского и женского рода или еще более архаичное противопоставление активной формы на *-n* и пассивной формы на *-r*.

Своего рода argumentum contra объяснению Кноблоха является текст раннего армянского стихотворения (песня, посвященная Ваагну), в котором отражаются древнейшие представления армян о сотворении мира:

Erknēr erkin ew erkir,
Erknēr ew cirani cov...
(вариант: *Erknēr erkin, erknēr erkin,*
Erknēr ew covn cirani...

'В муках рождения находились Небо и Земля, в муках рождения лежало и Пурпуровое Море', где, как следует из контекста, Небо и Земля не разделялись на мужское и женское начало.

Кажущаяся на первый взгляд семантическая простота объяснения вышеназванных авторов грешит недостаточной обоснованностью семантического перехода от значения 'два' к значению 'земля' и 'небо', результатом чего является чрезмерная отвлеченность построений, не учитывающая конкретность представлений древнего мышления[5]. Подобные семантические переходы ни в одном из индоевропейских языков не наблюдаются.

В предлагаемом объяснении игнорируется динамический аспект семантики, (т.е. та ситуация, в которой может формироваться понятие 'небо'), что фактически отрезает все другие возможности обнаружения подступов к семантическим истокам данного слова.

В последние годы, занимаясь армяно-кельтскими генетическими взаимоотношениями, автор настоящей статьи пришел к выводу, что дополнительные данные кельтских и других языков позволяют по-новому этимологизировать арм. *erkin* ‘небо’.

Комплекс данных дает основание для возведения арм. *erkin* ‘небо’ к и.-е. корню **per-g-* ‘бить, ударять’. Отправной точкой для подобного сближения является этимология др.-ирл. *erc* ‘небо’, предложенная Э.А. Макаевым[6], который возводит ирландское слово к этому же корню на основании сопоставления с кельт. *Hercynia* < **erkunia* < **perkunia*.

При этом следует заметить, что фонетический облик кельтских форм очень близок арм. *erkin* ‘небо’. Начальное придыхание в кельтском трактуется как стадия ослабления и.-е. **p*, т.е. **p* > *h* > *ø* аналогично арм. *erkin*. Особенно близка к арм. *erkin* кельтская форма *Hercynia*, содержащая суффикс *-in*, а также, как увидим ниже, др.-исл. *Fjǫrgyn* ‘мать Бога грома Тора’ с тем же суффиксом.

Попытка сближения арм. *erkin* и др.-ирл. *erc* была сделана еще А. Фиком (Fick[2], 40), однако им не учитывались другие кельтские данные и индоевропейский фон для сравнения был выбран явно неудачно: ср. др.-инд. *arká-* ‘луч’, лат. *arcuatus (arquatus)* ‘изогнутый, выгнутый, дугообразный’ (Fick[2]).

Без детерминатива выступает алб. *perëndi* ‘небо’ с аналогичным армянскому и кельтскому семантическим развитием. Иное развитие исходного значения в славянском и балтийском: ср. слав. *Перун* и лит. *Perkū́nas* ‘Бог-Громовержец’, причем последнее выступает с детерминативом **-k-* подобно др.-исл. *Fjǫrgyn;* др.-инд. *Parjanjaḥ* представлено с детерминативом **-g-*.

Идея о возможной связи арм. *erkin* ‘небо’ с лит. *Perkū́nas,* др-инд. *Parjanjaḥ* была высказана в свое время П. де Лагардом[7], однако его сопоставление было недостаточно обосновано фонетически и семантически, а также не учитывало данных кельтских и германских фактов.

В свою очередь, З. Файст (Feist) сопоставил др.-исл. *Fjǫrgyn* (имя матери Бога-Громовержца Тора) с гот. *fairguni* ‘гора’, а последнее с пракельт. **perkunia* (*Hercynia silva* – название Герцингского леса), в греческой интерпретации Ἑρκύνια δρυμός, Ἀρκύνια ὄρα.

В связи с этимологическим сближением арм. *erkin* и кельт. *erc* (*Hercynia*) следует обратить внимание на следующие факты.

Во-первых, необходимо указать на несомненную связь основ **per-* ‘бить, ударять’ и **perk^{u}-* ‘камень, скала’. Первоначальная связь основ **per-* и **perk^{u}-* рассматривается как отражение двух вариантов единой формы с суф. *-n,* при этом, как видно из предыдущего анализа, в различных диалектах основа представлена как с элементом *-k^{u}*, так и без него; др.-инд. *Parjanya* ‘Бог грома и дождя’ представлено с позднейшим озвончением рефлекса и.-е. **k^{u}* (ср. др.-рус. *Перегыня* – название мифологического существа).

Во-вторых, следует иметь в виду особенности представлений древних индоевропейцев о горах и скалах, возвышающихся до небес. С этими представлениями было связано возникновение общеиндоевропейского поэтического образа каменного неба. На индоевропейском уровне слово ‘камень’ означает также и ‘небо’, мыслимое как ‘каменный свод’: ср. др.-инд. *aśman* ‘скала, каменное орудие’, ‘камень Громовержца, небо’, авест. *asman* ‘камень, небо’. След аналогичного словоупотребления сохраняется в греческом, где ἄκμων, родственное авест. *asman,* др.-инд. *aśman,* относится и к небу (ἄκμων ὁ οὐρανός). Приурочение Бога-Громовержца к небу характеризует славянскую и балтийскую языковые традиции[8]: ср. камни Бога-Громовержца, которые низвергаются с неба на землю, в польск. *kamień piorunowy* ‘камень Перуна’, лит. *Perkūno akmuõ* ‘камень Перкунаса’. Образ самого Бога-Громовержца, обитающего на небе, на высокой скале в балтийско-славянской мифологии является отражением именно этих общеиндоевропейских представлений о каменном небе и о скалах, достающих до небес.

Таким образом, арм. *erkin* ‘небо’ по своей фонетической структуре наиболее тесно связано с кельтским, германским и балтийским, по семантике – особая близость с кельтским (если верна этимология Э.А. Макаева) и албанским, где также отмечено значение ‘небо’.

Можно предположить, что ирл. *erc* было элементом сакральной лексики, следовательно, весьма архаическим образованием, впоследствии оно было вытеснено другим словом – др.-ирл. *hem* (основа ср.р.).

В армянском корень **per-* наряду с сакральным значением имел и стилистически нейтральное: ср. *harkanel* ‘бить’, аор. *hari.* Таким образом, представляется возможным построить следующую семантическую цепочку: ‘бить’ → ‘ударять’ → ‘Божество, которое бьет, ударяет, т.е. посылает гром и молнию (молнии Перуна)’ → ‘небо’ → ‘скала, достающая до неба’.

В этой связи представляет интерес и арм. *erknahat* ‘пораженный молнией’, букв. ‘ударенный небом’.

Предлагаемая здесь семантическая мотивировка арм. *erkin,* основанная на контаминационной близости и.-е. основ **per-* и **perk^{u}-*, характер распределения их рефлексов вполне объясняют семантические параллели и ассоциации, которые уточняют выбор вариантов при возникновении понятий, связанных с небом.

Если предлагаемая этимология корректна, то арм. *erkin* и *erkir* имеют разное происхождение. В дальнейшем имела место контаминация названных слов.

Примечания

[1] *Meillet A.* Mélanges Emile Boisacgue. Bruxelles, 1937, 1, 1.

[2] *Pisani V.* Ricerche di morfologia indeuropea // Miscellanea Giovanni Galbiati. Milano, 1951, III, 6.

[3] *Knobloch J.* Zu armenisch *erkin* ‘Himmel’, *erkir* ‘Erde’ // Handes Amsorya. Vienne, 1961, № 10–12, 541–542.

[4] *Иванов Вяч.Вс.* Использование для этимологических исследований сочетаний однокоренных слов в поэзии на древних индоевропейских языках // Этимология. 1967. М., 1969, 47–49.

[5] Это мнение было высказано мною ранее в статье, посвященной этимологии арм. *erkir* 'земля'. Ср.: *Сараджева Л.А.* К этимологии арм. *erkir* 'земля' // Этимология. 1988–1990, М., 1993, 155. В этой статье предлагается новая этимология арм. *erkir*, связывающая его прежде всего с лит. *erdvė* 'пространство'.

[6] *Макаев Э.А.* Армяно-кельтские изоглоссы // Кельты и кельтские языки. М., 1974, 55.

[7] *Lagarde P.* Zur Urgeschichte der Armenier. Berlin, 1854, 794.

[8] *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974, 22.

Э.П. Хэмп*

И.-Е. **MENT-* 'МЕШАТЬ, ПЕРЕМЕШИВАТЬ, ВЗБАЛТЫВАТЬ'

Словарная статья в "Индоевропейском этимологическом словаре" Покорного *menth-*1 (Pokorny I, 732) требует существенного пересмотра.

Я уже рассмотрел ранее (работа публикуется в сборнике в честь К.Х. Шмидта) гетероклитическую основу (с участием ларингала) **ment-H-*/**mnt-n-́*, **mént-eH-*, **mont-l-́*, фрагментарные остатки которой мы видим в др.-инд. (вед.) *mántha* 'мутовка', лит. *meñtė*/*mentẽ* 'лопата, весло, мутовка', др.-инд. (Ригведа) *adhi-mánthana-m* 'трут', рум. *smîntînă* (из слав.), др.-исл. *mǫndull*, нем. *Mandel* (в германских названиях палок, рукояток и скалок).

Др.-инд. *mathnā́ti* вполне может отражать слияние упомянутого выше состояния основы **mnt-n-* с формами назального презенса. Аналогичная форма, похоже, лежит в основании авест. **vī-manāt̰* (*vaēm°*) < **manʹna-* (Bartholomae 1135).

Критику трудных и темных греческих форм и более ранние предположения см. в словаре Фриска (Frisk II, 13, 248–249). Относительно балто-славянских свидетельств см. "Этимологический словарь славянских языков" под ред. О.Н. Трубачева (ЭССЯ 19, 12–13). Славянские формы без носового, в том числе рус. *сметáна* и под., наверняка происходят из диссимиляции в вышеупомянутом состоянии основы **mnt-n-* и его производных; это один из немногих относящихся сюда фактов, который представляется мне ясным.

Даже в том случае, если лат. *mamphur* 'лучковое сверло' было в действительности **manfur*, заимствованное из оскского языка, праформа **mnth-* (**mnt-H-* ?) далеко не достоверна, правильный рефлекс сочетания **tH* после носового принадлежит целиком к области спекуляции, а

-ur- двусмысленно (как и лит. *mentùrė, -is*[1]). Единственное, что можно утверждать, это то, что в "Латинском этимологическом словаре" Вальде–Гофмана (Walde–Hofmann 2, 22-23) представлено полезное собрание материала. Остается не вполне ясным, однако, вокализм уэльского (кимр.) *methl.*

Перевел с английского *О.Н. Трубачев*

Примечания

[1] *Hamp E.P.* Productive suffix ablaut in Baltic // Baltistica 6, 1970, 27–32.

Б.И. Татаринцев*

ВЕРНА ЛИ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ? (ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГИДРОНИМА *ИРТЫШ*)

Проблема происхождения названия столь крупного географического объекта, каким является река Иртыш, привлекала к себе внимание издавна. На сей счет существует ряд этимологических версий, исходящих из данных различных (как тюркских, так и нетюркских) языков.

К настоящему времени наибольшее распространение получила та из них, что была более четверти века назад выдвинута В.Н. Поповой[1]. Согласно ее точке зрения, *Иртыш* представляет собой двухкомпонентное гибридное наименование (*Ир-тыш*). Первый компонент имеет иранское происхождение (*ir* < **ar* 'бурлящий, клубящийся, бушующий, колышащийся поток'), а второй – кетское: *тыш* < *чис* < *сис* (*сес*) 'река'. Значение наименования в целом – 'бурный, стремительный поток' (предполагается, что название возникло в верховьях Иртыша, где он "характеризуется горным течением"[2]).

Эту версию, в той или иной мере, принимают наши известные топонимисты, она нашла отражение в школьном словаре топонимов[3] и воспроизводится в научных трудах, вплоть до изданий, последних по времени, в одном из которых, тем не менее, обоснованно отмечено, что "этимология названия *Иртыш* остается дискуссионной"[4].

Однако, в последние годы дискуссии по этой проблеме если и возникают, то затрагивают лишь частные моменты (например, происхождение первого компонента топонима – *Ир-*[5]) и не проливают свет на происхождение названия в целом.

До появления версии В.Н. Поповой неоднократно предпринимались попытки этимологизации топонима, исходящие из материалов тюркских языков, но они были в целом неудачными, а в части случаев имели характер народной этимологии[6].

Среди них следует, однако, отметить сопоставление топонима *Иртыш* и башкир. *йыртыш* 'рвущий, разрывающий', что, правда, "требует смыслового оправдания для спокойной, равнинной реки, хотя и допустимо возникновение данного названия в ее верховьях"[7].

К сожалению, эта версия, принадлежащая В.А. Никонову, оказалась практически не замеченной специалистами, хотя и вышеприведенное сопоставление, и соображение о месте возникновения не лишены интереса, тем более что семантическая мотивация наименования здесь имеет точки соприкосновения с версией В.Н. Поповой, появившейся позднее.

Если, далее, рассмотреть структуру башкир. *йыртыш*, то оно представляет собой производное на *-ыш* от общетюркской глагольной основы *йырт-* 'драть, разрывать', в свою очередь, интерпретируемой как форма каузатива от *йыр-* ~ *йир-* 'рвать, прорывать, рыть; разделять, рассекать'[8]. Допустимо, что и *Иртыш* могло быть образовано по той же модели.

Но с фонетической точки зрения сближение *йыртыш* с гидронимом не выдерживает серьезной критики. Во многом это объясняется тем, что В.А. Никонов (как, впрочем, и большинство ученых, рассматривавших этимологию данного наименования, в том числе и В.Н. Попова) исходил из вторичной, русской формы топонима, каковой, в сущности, и является *Иртыш*.

Ее источник не совсем ясен, хотя едва ли могут быть сомнения, что он был тюркоязычным. М. Фасмер, ссылаясь на сообщение М. Рясянена, указывал, что *Иртыш* – "из др.-тюрк. (Орхонск. надписи) *Ärtiš*" (Фасмер II, 139), с чем едва ли можно согласиться как по лингвистическим (фонетическим), так и по историко-географическим основаниям. Еще меньше оснований связывать рус. *Иртыш* с монгольским *Erčis*, калм. *Ertsș*, называемыми Фасмером в одном ряду с *Ärtiš* (Фасмер II, 139).

По своему звуковому облику *Иртыш* ближе всего к тому варианту тюркского названия реки, который отмечен в диалектах сибирских татар: *Irteš*[9] (где *-е-*, по-видимому, обозначает узкий, характеризуемый "акустической невнятностью, неопределенностью... при произношении"[10] гласный звук, который и мог быть воспроизведен в виде *-ы-* в рус. *Иртыш*.

В любом случае, *Иртыш* не является изначальной формой гидронима, и из нее, следовательно, неправомерно исходить при его этимологизации.

Согласно обоснованному мнению Г. Дёрфера, таковой для гидронима *Иртыш* является на материале тюркских языков *Ertiš*[11]. Ввиду этого недопустимо, в частности, реконструировать первый компонент слова с начальным *И- (Ир)*: в соответствии инициальных трюк. *е* ~ *и* последнее носит, как правило, вторичный характер.

Еще более неприемлемым выглядит процесс появления второго

компонента наименования, *-тыш* (или, что было бы реальней, *-тиш*) < *чис* [< *сис (сес)*]. Переход *-с* > *-ш* на тюркской почве малопонятен (чаще отмечен обратный процесс), как необъяснимо и преобразование *-чи-* > тюрк. *-ти-*.

По-видимому, согласно представлениям В.Н. Поповой, тюрки заимствовали гидроним не непосредственно у кетов, а через посредство монголов: ср. монг. *Erčis* (*Эрчис*). На это же указывает Э.М. Мурзаев, именуя *Эрчис* "монгольским оригиналом" для *Иртыш* или выводя последнее из (кетского) "*Ирцис* или, как его ныне называют монголы, *Эрчис*"[12].

Между тем в реальности все обстоит как раз наоборот: именно монголы заимствовали свое название у тюрков, на что справедливо указывали, в частности, М. Рясянен и Г. Дёрфер, возводившие монг. *Erčis* к тюрк. *Ertiš*[13].

В таком случае фонетические различия между тюркским и монгольским вариантами гидронима приобретают вполне объяснимый характер. Так, для исконных слов монгольских языков не характерен финальный *-ш*, который в заимствованиях заменяется свистящим *-с* (или после *-ш* добавляется гласный).

Кроме того, в тех же языках сочетание *ты* (*ти*) часто заменялось на *чи*[14], а иногда претерпевало и другие изменения. Поэтому преобразование *Ertiš* в *Erčis* выглядит вполне логичным. Ср. также вариант того же тюркизма *Эрдиши* в тексте "Сокровенного сказания монголов" (XIII в.)[15].

Согласно точке зрения А.П. Дульзона, легшей в основу этимологии В.Н. Поповой, кеты (носители "йкающего" диалекта) некогда обитали в верховьях Иртыша, а затем спустились вниз по этой реке, которой "они дали свое название (Ирцис)" или, точнее, название, у которого на кетской языковой основе разъясняется только его второй компонент. У кетов же это наименование заимствовали монголы[16].

Однако, как явствует из сказанного выше, монгольское название более логично интерпретируется как тюркизм. Впрочем, нельзя исключить и такой возможности, как заимствование кетами гидронима в монгольской форме *Эрчис* и преобразование его в *Ирцис* в духе народной этимологии.

Вместе с тем и кетский, и монгольский варианты названия Иртыша явно вторичны по отношению к тюркскому (*Ertiš*) и мало что дают в плане раскрытия этимологии последнего.

Таким образом, трактовка рассматриваемого слова как своего рода иранско-кетского гибрида неприемлема по фонетическим соображениям. Она выглядит малоубедительно и в ареально-топонимическом аспекте. По В.Н. Поповой, "верхний Иртыш включается в древнейшую индоиранскую языковую зону"[17].

Действительно, территория Синьцзяна, где берет свое начало река, была издавна населена, в частности, ираноязычными народами, и "древнейший пласт в топонимической стратиграфии Синьцзяна... в

своей основе является индоевропейским". Однако "наиболее мощным горизонтом в современной топонимии Синьцзяна является тюркский"[18].

Вместе с тем в топонимии этой территории практически не обнаруживается сколько-нибудь убедительных доказательств енисейско-кетского присутствия. А.П. Дульзон и В.Н. Попова, кроме самого гидронима *Иртыш,* к числу кетских относят лишь название одного из истоков Иртыша (*Ку-Ирцис*), где *Ку-* – из кетского *ку* 'черный'[19], что, однако, не выглядит достаточно обоснованным. К тому же в проверке и уточнении нуждается и сам этот гидроним.

Э.М. Мурзаев, рассматривая гидроним *Иртыш,* к числу кетских по происхождению относит *Шишхид* – название реки в Северной Монголии. Точнее, кетский географический термин *шеш (шиш),* вариант вышеприведенного *сес (сис)* 'река', видится ученому в первом компоненте названия, тогда как второй его компонент (*-хид*) остается при этом непроясненным[20]. На наш взгляд, *Шишхид* имеет другое объяснение, но этот сюжет требует специального рассмотрения.

Таким образом, в том районе, с которым связано верхнее течение Иртыша, а также на соседней территории Монголии не обнаружено ни одного целостного и бесспорного топонима енисейско-кетского происхождения.

Применительно к Иртышу ареал кетских гидронимов фиксируется А.П. Дульзоном в его низовьях, в бассейне некоторых правых притоков этой реки[21], но наличие такого ареала едва ли могло быть основанием для того, чтобы сама река получила кетское название. Кстати говоря, Иртыш имеет и такие названия, как манс. *Ени-Ас,* хант. *Тангат, Лангал*[22], которые первоначально должны были, скорее всего, относиться к нижнему течению реки.

Тюркское происхождение гидронима, исходя из сказанного, представляется нам наиболее вероятным, несмотря на неудачи предшествующих этимологий, исходивших из данных тюркских языков. Подобные неудачи во многом объясняются тем, что не была точно определена начальная форма топонима и исходная позиция исследований, касающаяся, в частности, семантической мотивировки рассматриваемого наименования, а также в должной мере не использовались тюркские языковые материалы.

Мы полагаем, что *Ertiš* является отглагольным именем, образованным по той же модели, что и *йыртыш,* о котором уже шла речь, т.е. с помощью афф. *-(ы)ш*[23].

Исходной основой слова являются, вероятно, глагольная **er-* или ее именной коррелят **er,* характеризующие быстроту, энергичность действия, а также неспокойное, буйное, шалое, "неуправляемое" поведение. Эти основы (прежде всего – глагольная) реализуются в составе многих производных, главным образом, имен.

В первую очередь, следует назвать *ериш* (>*ерис*) 'азартный, усердный, ревнивый, непослушный; упрямство, спор и под.', у которого

имеется глагольное соответствие *ериш-* (> *ерис-*) 'спорить, ссориться; капризничать, артачиться, упрямиться'.

По мнению Э.В. Севортяна, производящими для этих и подобных слов могут быть как именная (**ер* ~ **ир*), так и глагольная (**ер-* ~ **ир-*) основы, означающие, соответственно, 'шутка, спор' и 'шутить, спорить'[24].

Однако едва ли можно согласиться с таким определением значения производящих основ, тем более что первичной считается семантика 'шутка' ~ 'шутить'. При этом Э.В. Севортян обращается к слову *ермек* (< *ер-* + *мек*) 'забава, развлечение, утеха, потеха, шутка, игра, веселье, посмешище'[25]. Сопоставление вполне правомерное, но первичны здесь значения того круга, что был очерчен выше (быстрота, буйство и под.).

Исходя из этого, несомненно, к словам, явно родственным с отмеченными (и прежде всего, к *ериш...*), следует отнести др.-уйгур. *eris* 'энергичный' (в чем Э.В. Севортян сомневался[26]).

Производным от **er-*, гомогенным с *ериш* и *ермек,* не без оснований считается *ерке* 'избалованный, изнеженный; ребенок, выросший избалованным и свободным (в поведении); баловень'. Возможно, *ерке* образовано от **er* (при помощи афф. *-ke,* как склонен был думать Э.В. Севортян[27]), но можно допустить, что производящей основой здесь была **er-k-*, где *-k-* (один или с последующим гласным) – аффикс-модификатор со значением учащательности или интенсивности. Соответственно, **erk-* могло иметь семантику '(совсем) избаловаться, вести себя крайне возбужденно (вызывающе) и т.п.'.

Вероятно, вариантом подобной основы является кирг. *ерги-* (< *ерки-*) 'возбуждаться, беспокоиться, метаться', а производными непосредственно от **erk-* или **erke-* являются тюрк. имена типа *еркек* 'самец, мужчина' и *еркеч* 'козел', не имеющие удовлетворительной этимологии[28]. Первоначально они могли означать 'взволнованный, возбужденный и под.'.

Подобная семантика отразилась в некоторых древнетюркских глагольных формах, производных от *еркек* и *еркеч,* причем эти формы содержат соответствующую характеристику водной стихии: ср. *erkäk-lä-n-* 'волноваться, колебаться' (судя по контексту, о воде) (наряду с *erkäk-lä-n-* 'показывать свои мужские качества') и *erkäč-lä-n-*, которое, в сочетании с глагольной основой *jajqal-,* означало 'волноваться и колебаться (о воде в реках и озерах)'[29]. Ср. также чагат. *äркäш* 'волна'[30] (последнее, скорее всего, образовано от **erke-*), башкир. *эркел- (їркїл-)* 'хлынуть, нахлынуть'[31].

Наконец, есть основания говорить о глагольной основе **er-t,* где *-t-* – формант, который мог быть и глаголообразующим (**ert-* < **er* + *-t-*), и залоговым аффиксом (а также модификатором, подобным *-k*). О реальности этой основы можно судить, основываясь, главным образом, на материалах чувашского языка, где имеются залоговые основы *иртĕх- (irtəx-)* 'шалить, баловаться, наглеть' и *иртĕн- (irtən-)* 'шалить,

баловаться; распускаться, распоясываться'; ср. *ирт- (irt-)* 'избаловаться'[32].

В современном словаре чувашского языка дается несколько иное и более пространное толкование значения глагола *ирт-:* 'ослушиваться, не слушаться; выходить из повиновения'[33]. В указанном источнике *ирт-* с приводимой семантикой считается одним из значений глагола *ирт-* 'проследовать (мимо); проходить, миновать и т.п.' (ср. в других тюркских языках *ерт-* с тем же кругом значений), что, однако, учитывая вышеприведенные данные, едва ли может быть принято.

Скорее всего, в указанном издании наблюдается контаминация омонимичных глагольных основ: *ert-$_1$* (> *irt-*) 'избаловаться...' и *ert-$_2$* (> *irt-*) 'проследовать (мимо)...'[34].

От глагольной основы типа *ert-$_1$* при помощи афф. *-(i)š ~ -(ï)š* и могло быть образовано название *Ertiš*. Вышеуказанный формант образует отглагольные имена с различной семантикой, в том числе адъективной, а также существительные с конкретным, предметным значением. Первоначально *ertiš (< ert-iš)* могло означать нечто вроде 'строптивый, бурный (о реке)' или 'бурное течение, поток'[35], что соответствует тем признакам, которыми характеризуется Иртыш в его верхнем течении.

Рассматриваемое тюркское название достаточно древнее. По всей вероятности, оно возникло в тех древнетюркских диалектах, которые были распространены в Саяно-Алтайском регионе (сюда относится и Монгольский Алтай, где берет начало р. Иртыш).

Возможно, топоним *Ertiš* не был единичным и встречался в других частях данного региона, хотя и не относился к таким крупным водным объектам, каковым является Иртыш. Свидетельство этого – гидроним *Иртиш* (закономерное соответствие *Ertiš*), сохранившийся на территории юго-восточной Тувы, в бассейне р. Каа-Хем, одного из истоков Енисея. Это небольшая горная, по свидетельству знающих ее людей, довольно полноводная река.

Можно предположить, что такие гидронимы встречались и на других территориях указанного региона, но, по разным причинам, оказались утрачены.

Примечания

[1] См.: *Попова В.Н.* Нетюркские гидронимы Павлодарской области // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969, 20; *Она же.* К этимологии гидронима Иртыш // Языки и топонимия Сибири. III. Томск, 1970, 12 и след.

[2] *Попова В.Н.* К этимологии гидронима Иртыш. 15–16, 20.

[3] *Поспелов Е.М.* Школьный топонимический словарь. М., 1988, 77–78.

[4] Русская ономастика и ономастика России. Словарь. М., 1994, 97–98.

[5] Ср.: *Абдрахманов А.А.* Этимологические исследования средневековых топонимов Центрального Казахстана (Сарыарки) // Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 1990, 260–261; *Джанузаков Т.Дж.* Материалы древней топонимии Казахстана как база для этимологических исследований // Проблемы этимологии тюркских языков, 299–302.

[6] *Попова В.Н.* К этимологии гидронима Иртыш, 12–13.

[7] *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1966, 161.

[8] Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы "Ж", "Җ", "Й", "М". М., 1989, 204.

[9] См.: *Валеев Б.Ф.* О топонимии сибирских татар // Советская тюркология. 1989. № 2, 52.

[10] Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М., 1984, 116.

[11] *Doerfer G.* Türkische und mongolische Elemente in Neupersischen. II. Wiesbaden, 1965, 28.

[12] *Мурзаев Э.М.* Словарь народных географических терминов. М., 1984, 235, 504.

[13] *Räsänen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969. 49; *Doerfer G.* Op. cit., 28.

[14] *Владимирцов Г.Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. М., 1989, 373, 405.

[15] *Рассадин В.И.* Тюркские элементы в языке "Сокровенного сказания монголов" // Монгольский лингвистический сборник. М., 1992, 110.

[16] *Дульзон А.П.* Былое расселение кетов, по данным топонимики // Вопросы географии. № 58. М., 1962, 76, 80. *Он же.* Древние передвижения кетов по данным топонимики // Известия ВГО. № 6. М., 1962, 475.

[17] *Попова В.Н.* К этимологии гидронима Иртыш, 17.

[18] *Мурзаев Э.М.* Очерки топонимики. М., 1974, 271.

[19] *Дульзон А.П.* Былое расселение кетов, по данным топонимики, 79; *Попова В.Н.* К этимологии гидронима Иртыш, 16.

[20] *Мурзаев Э.М.* Очерки топонимики, 246, 288.

[21] *Дульзон А.П.* Былое расселение кетов, по данным топонимики, 76 (см. также рис. 1).

[22] *Фасмер* II, 139; Русская ономастика и ономастика России, 97.

[23] Согласно одной из точек зрения, первоначальным вариантом названия Иртыша был **Эртыл* (**Эртил*? – Б.Т.), а затем произошел переход *-л* > *-ш*. Однако это мнение представляется недостаточно обоснованным. См.: *Ахметьянов Р.Г.* Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1981, 26.

[24] *Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974, 293–294.

[25] Там же, 300–301.

[26] Там же, 294.

[27] Там же, 296–297.

[28] Там же, 297–298, 300.

[29] Древнетюркский словарь. Л., 1969. 179.

[30] *Радлов В.В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб., 1893, 780.

[31] Иное объяснение дается в цитированном выше словаре Э.В. Севортяна (*Севортян Э.В.* Указ. соч., 378–379).

[32] См.: *Левитская Л.С.* Историческая морфология чувашского языка. М., 1976, 173.

[33] Чувашско-русский словарь. М., 1982, 116.

[34] Результатом подобной же контаминации является, по-видимому, известная версия происхождения гидронима *Иртыш*, имеющая характер народной этимологии и нашедшая отражение в труде Махмуда Кашгарского (XI в.), который считал, что это название происходит от залоговой формы глагола **ert-*$_2$ (*ertiš-*) и означает 'кто быстрее пройдет (перейдет)'. См., в частности: *Попова В.Н.* К этимологии гидронима Иртыш, 13.

[35] С названием *Ertiš*, по-видимому, гомогенно др.-тюрк. *irtäš* 'спор, ссора, процесс, схватка', с которым Э.В. Севортян сопоставлял тур. диал. *irteş-* 'спорить, перебраниваться' (*Севортян Э.В.* Указ. соч., 294). Ср. также тюрк. *ериш* и *ериш-*, о которых говорилось выше.

О.А. Смирнов*

К ЭТИМОЛОГИИ ЭПИЧЕСКОГО ЭТНОНИМА *нарт*

Эпический этноним *нарт*, как известно, до сих пор не получил удовлетворительного объяснения. Со всей очевидностью это подтвердила, в частности, недавно опубликованная статья М.А. Кумахова[1].

По М.А. Кумахову, при анализе термина *нарт* не следует ограничиваться только данной формой, игнорируя форму *нат*, представленную в шапсугском диалекте адыгейского языка. Вариант *нат*, в свою очередь, нельзя считать поздней диалектной инновацией с выпадением сонорного *р* перед дентальным *т*, поскольку шапсугский не знает ограничений на сочетание *рт*, наблюдаемое в ряде лексем.

На вопрос, какая из двух форм – *нарт* или *нат* – является исходной, М.А. Кумахов ответа не дает, но обращает внимание на аналогичное, по его мнению, морфологическое строение названия другого эпического народа *кыт* (варианты: *кырт, чырт, чынт, чыт*) – соседа и врага нартов. Хотя данные западнокавказских языков не позволяют вычленить в этих этнонимах значимую морфологическую единицу, исследователь склонен усматривать в элементе *-т* некогда функционировавший суффикс, служивший для образования этнических наименований[2].

Последнее заключение – не более, чем догадка, и, как признается Кумахов М.А., вопрос о происхождении *нарт* остается нерешенным[3].

Между тем, мысль адыговеда о необходимости учета не только "нормальной" формы – *нарт*, но и ее диалектной разновидности – *нат*, представляет несомненный интерес в связи с тем, что "отклоняющиеся" варианты шапсугской формой не исчерпываются. Напомню о существовании в адыгейском языке сложного слова *натрыф* ‘кукуруза’ (букв. ‘нартское (богатырское) просо’) и его производных[4], шапсуг. *натыф*[5], беслен. *нэтыху*[6] при кабард. *нартыху* то же. Это название в форме *нартыф, натыф* проникло в убыхский язык[7], но автор ошибочно возводил компонент *f* к убыхскому глаголу ‘essen’, тогда как уже Ж. Дюмезиль[8] правильно определил, что "ce mot est sans doute pris au tcherkesse"[9].

Из топономастической номенклатуры Адыгеи могут быть привлечены названия селения *Нэтырбый* (*Натырбово*) в Кошехабльском районе и урочища *Натрыб бэнэжь* в окрестностях аула Ходзь. К.Х. Меретуков[10] объясняет это название как сложение мужского личного имени *Нэтырб* с притяжательным суффиксом *-ий*. Дж.Н. Коков[11] полагает, что селение названо по адыгейской фамилии *Нэтырбэ*. Отмечу, что существует кабардинская фамилия *Нартбиев*.

Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с личным мужским именем, включающим в себя в качестве второго компонента *-бый/-бий* (ср.

Ли Кlэсэбий, Тохъŷтэбий, Хьаджэбий и др.). Слово *-быйl-бий* означает в тюркских языках Северного Кавказа (карачаевском, балкарском, кумыкском, нагайском) 'князь, вельможа, господин' (Севортян Б., 97 и сл.); ср. соображения А.К. Шагирова[12].

В итоге получаем документированный ряд форм: *нарт–нат–натр–нэтырlнатыр*. Такого разнообразия вариантов не наблюдается ни в одном из языков, на которых функционирует нартский эпос.

При отсутствии достоверной этимологии мы оказываемся перед дилеммой: какую из форм выбрать в качестве исходной – *нарт* или *натр*? В этих условиях напрашивается этимология, которую я и хочу предложить, остановив свой выбор на форме *натр*.

Опираясь на разрабатываемую Трубачевым О.Н. индоарийскую гипотезу, я рассматриваю *натр* как заимствованную из индоарийского лексему, которая в древнеиндийском представлена в виде *netár, netŕ̥-* 'Führer, Anführer'. Слово имеет прозрачную этимологию: оно состоит из индоевропейского глагольного корня **nei-* (**nei̯ə-*, **nī-*) 'вести, führen' (Pokorny I, 760) и суффикса nomina agentis **-ter*/**-tr* (см. также Mayrhofer II, 178).

Это сближение находит поддержку в выявленном О.Н. Трубачевым индоарийском же по происхождению топониме горного Крыма – *Чиге-нитра* ← **ǰigā-netra* 'пеший проход'[13].

Актуальность проблемы индоарийских лексических заимствований в абхазо-адыгских языках подтверждена ныне рядом исследований[14], поэтому обращение к этому источнику вполне оправдано.

Альтернативная возможность заимствования *натр* из милийского (ликийского) *natri* 'вождь'[15], этимологически идентичного др.-инд. *netŕ̥*, представляется менее вероятной в связи с географической отдаленностью источника и по хронологическим соображениям.

Особых трудностей на пути адаптации индоарийского термина в адыгских языках не возникало: *netár*/*netŕ̥* должно было дать здесь *нэта́р* → *на́т(ы)р*: явления переноса ударения в двусложных словах с последнего слога на предпоследний, с редукцией или выпадением гласного, и перехода в нем *э* → *а* закономерны. Несколько сложнее обстоит дело с семантическим аспектом: переход от значения 'вождь, предводитель' к значению '(эпический) богатырь, витязь, герой' не мог быть непосредственным и, очевидно, предполагает некие промежуточные звенья. Прямых текстуальных свидетельств о всех этапах семантической эволюции в нартском эпосе не сохранилось, но следы исходного значения *натр* обнаружить, мне кажется, еще можно.

В этом плане наиболее информативным представляется весьма популярный среди адыгов цикл сказаний о Бадиноко – менее архаичный по сравнению с циклом Сэтэней и Сосрыкъŷэ[16]. В данном цикле часто встречаются следование: *нарт пщы Бадынокъŷэ* 'нарт князь Бадиноко' и деформированные вариации – *Шэбатныкъŷ*, *Шэбатынкъŷэпщ*, *Шэбатын*, *Еше Батныкъ* и др. Появление здесь соционима *пщы*

'князь' справедливо относят к поздним наслоениям эпоса[17]. Но тогда можно высказать предположение, что некогда вместо *пщы* 'князь' фигурировало близкое по своему звучанию слово, и наиболее подходящим здесь оказалось бы адыгейск. литер. *пащ*, шапсуг. *пачэ*, кабард. *пащэ* 'вождь, вожак, предводитель' – композит, образованный сложением основы глагола *щэн* (шапсуг. *чэн*) 'вести' с апеллативом *пэ* 'нос; начало', т.е. 'вперед ведущий'[18].

Весомым аргументом в пользу данного предположения могут послужить текстуально близкие выражения, встречающиеся практически во всех версиях сказания о Бадиноко и рисующие его опытным, умелым и удачливым предводителем походов по Кубани и Дону:

Тэнкіьэ щыгъуазэщ, Псыжькіьэ щыгъуазэкіейщ	'Ему знакомы пути по Тэну (Дону), по Псыжу (Кубани) – и того лучше'[19].
Ар дэнэкіи шъыгъуазэшъ Псыжъкіэ шъыгъуазэкіейшъ	'Он всюду предводитель, особенно на Кубани'[20].

Восстановленное следование *натыр пащэ Бадынокъуэ* содержит явный плеоназм ('предводитель'–'предводитель'), и адыгские рапсоды преодолели его путем подстановки *пщы* на место *пащэ*.

Термин *натр* не был изначально присущ эпосу и появился на сравнительно позднем этапе его развития. Сохраняя свое исходное значение 'предводитель, вождь, вожак', он относился только к отдельным выдающимся военачальникам-предводителям военных походов[21] с последующим переносом на эпических героев, а затем и на эпическое племя.

Войдя первоначально в словарь адыгских языков, термин *натр* в процессе культурных взаимовлияний распространился в других языках Северного Кавказа уже в значении '(эпический) герой, богатырь, витязь'. В осетинский язык он проник, вероятно, еще в период действия в нем закона обязательной метатезы комплекса согласных *тр* → *рт*[22].

Особый интерес в связи с изложенным выше может представить упоминаемое в одном из осетинских нартских сказаний имя *Натар-Уатар* (во фразе: *Натар-Уатари фурт Сирдон дæ ном фæуугæд!* "Да будет твое имя Сирдон, сын Натар-Уатара!"[23]. И уже осетинскому языку обязана широким распространением в языках Северного Кавказа форма *нарт*.

Эти беглые заметки, естественно, не претендуют ни на полноту, ни на окончательность выводов и имеют целью привлечь внимание исследователей нартского эпоса к этой давно дискутируемой проблеме, требующей более глубокой и детальной переработки.

P.S. В отношении шапсугской формы *нат* можно допустить, что ауслаутный *-р* был опущен в результате осмысления его как обычного падежноопределительного форматива – явление, уже отмечавшееся в литературе в связи с другими фактами[24].

Примечания

[1] *Кумахов М.А.* К проблеме ономастической лексики нартского эпоса // ВЯ 1987, № 4, 103 и сл.

[2] См.: *Абдоков А.И.* Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков. Нальчик, 1973, 6а.

[3] *Кумахов М.А.* Указ. соч., 106; см. также: *Кумахов М.А., Кумахова З.Ю.* Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М., 1985, 101 и сл.

[4] См.: *Яковлев Н., Ашхамаф Д.А.* Грамматика адыгейского литературного языка. М.-Л., 1941, 231, где предполагается метатеза: *натры-ф* → *нарты-ф*.

[5] *Керашева З.И.* Особенности шапсугского диалекта адыгейского языка. Майкоп, 1957, 113.

[6] *Балкаров Б.Х.* Язык бесленеевцев. Нальчик, 1959, 49.

[7] *J. von Meszaros.* Die Päkhy-Sprache. Chicago, 1934, 245: *na:tj't, na:rijt.*

[8] *Dumézil G.* La langue des Oubykhs. Paris, 1931, 38, 67.

[9] *Vogt H.* Dictionnaire de la langue oubykh. Oslo, 1963, 152.

[10] *Меретуков К.Х.* Из топонимики и гидронимики Адыгеи // Ученые записки Адыгейского НИИЯЛИ, т. XIV. Майкоп, 1972, 314; *Он же.* Из адыгской (черкесской) ономастики. Нальчик, 1983, 184.

[11] *Коков Дж.Н.* Адыгская (черкесская) топонимия. Нальчик, 1974, 235; *Он же.* Из адыгской (черкесской) ономастики. Нальчик, 1983, 184.

[12] Ср. соображения А.К. Шагирова (*Шагиров А.К.* Этимологический словарь адыгских/черкесских языков. А.–Н.,М., 1977, 97 s.v. *бий/пийы*).

[13] См. *Трубачев О.Н.* "Старая Скифия" (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) // ВЯ. 1979. № 4, 44.

[14] См. *Шагиров А.К., Дзидзария О.П.* К проблеме индоарийских (праиндийских) лексических заимствований в северокавказских языках // ВЯ. 1985. № 1; *Джонуа Б.К., Климов Г.А.* К индоиранизмам в языках Северо-Западного Кавказа // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 44. № 2, 1985.

[15] *Шеворошкин В.В.* К проблеме ликийского языка // ВЯ. 1968. № 6, 74; *Shevoroshkin V.* Studies in Hittite-Luwian Names // Names vol. 26, n. 3, 1978, 252.

[16] Подробную характеристику этого цикла см. *Кумахов М.А., Кумахова З.Ю.* Указ. соч. 133 и сл.

[17] См.: Там же, 134.

[18] См.: *Боголюбов А.Н.* Сложные слова в кабардинском и абхазском языках // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР 1952, № 2, 88; *Климов Г.А.* Абхазско-адыгские этимологии, II // Этимология. 1966. М., 1968, 294.

[19] Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974, 108 (кабард. текст); 258–259 (русский перевод).

[20] Фольклор адыгов. Нальчик, 1979, 103; см. также: Нартхэр. Адыгэ эпос, т. III. Мыекъуапэ, 1970, где опубликованы диалектные варианты сказаний о Бадиноко.

[21] См. уже: *Смирнова Я.С.* Военная демократия в нартском эпосе // Советская этнография, 1959, № 6, 65.

[22] *Абаев В.И.* Скифский язык // Осетинский язык и фольклор I, М.-Л., 1949, 213; *Он же.* Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979, 333.

[23] См. Памятники народного творчества осетин. Вып. 2. Владикавказ, 1927, 10 (записано в 1903 г.), перепечатано: Ирон адæмы сфæлдыстад. Т. I. Орджоникидзе, 1961, 67; Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. М., 1990, 144; кн. 2, 1989; кн. 3, 1991, 23; об этом типе парных имен героев эпоса см.: *Абаев В.И.* Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов и римлян // Памяти академика Н.Я. Марра (1864–1934). М.; Л., 1938, 324 и сл.; Он же. Параллелизмы в осетинской речи // Труды Института языкознания т. VI. М., 1956, 435. Имя, остающееся без этимологии.

[24] *Шагиров А.К.* Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. А–Н. М., 1977, 69, s.v. *бахъэ/пахъэ*; 102, s.v. *быдэ/пытэ*.

Г.А. Климов*

О КАВКАЗСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ НЕВЕСТКИ[1]

Характерная особенность кавказских обозначений невестки заключается в том, что на фоне иногда встречающихся их описательных форм типа 'жена сына' здесь решительно господствуют лексемы, имеющие, по всей вероятности, единое происхождение. Они образуют один из элементов межкавказского, по определению В.И. Абаева, лексического фонда, сформировавшегося в регионе в течение веков в процессе диффузии далеко не гомогенного материала. Хотя рассматриваемая в настоящей статье лексическая изоглосса характеризуется очевидным северокавказским центром тяготения, она так или иначе затрагивает все семьи автохтонных языков Кавказа – абхазско-адыгскую (ср. адыгейск., каб. *nəsa*), нахско-дагестанскую (чечен, инг., бацб. *nus*, авар. *nus, nusa*(*j*), *nuse*, анд., карат., тинд., чам., багв., годоб. *nusa*, ботл. *nusaj*, ахв. *nuša*, арчин. *nusttu*(*r*), чираг. *nusse*), а также картвельскую (мегр. *nosa, nisa*, лаз. *nusa, nisa*). В некоторых из кавказских языков аналогии этих форм в настоящее время отсутствуют, однако они прослеживаются по композитам (ср. дарг. *nusķari* 'кукла', груз. *nusadia* 'жена дяди').

Конечно, некоторая специфика функционирования слова в ряде языков неоспорима. Так, в адыгском ареале оно располагает, по крайней мере, пятью производными, в нахском – двумя-тремя и, во всяком случае, по одному оно имеет в некоторых из андийских языков. В последних лексеме присуща и несколько более широкая семантика, поскольку она обозначает здесь также зятя (аналогичная картина наблюдается и в ряде аварских диалектов, а также в арчинском). Наконец, особенностью картвельского звена нашей изоглоссы является вариативность вокализма первого слога занских форм. Тем не менее далеко идущее фонетическое и семантическое единство приведенного материала остается достаточно очевидным.

Нетрудно привести и несколько аргументов, свидетельствующих в пользу его неисконности. Так, прежде всего бросается в глаза, что явное единство рассматриваемых слов сочетается с их принадлежностью к номенклатуре свойства, складывающейся по отдельным семьям кавказских языков в очень позднюю историческую эпоху (как известно, подобного единства не наблюдается даже в терминологии родства, имеющей здесь несравнимо более ранние истоки). На фоне остальных, этимологически прозрачных или просто описательных образований, составляющих основу этой номенклатуры и в современных северокавказских языках, обозначения невестки оказываются в едином ряду с заимствованиями типа лакск. *kujaw* 'зять' или табас.

---

bažanag 'свояк'. Весьма существенно и то обстоятельство, что в некоторых из дагестанских языков лексема склоняется по деклинацинному типу, характерному для неисконного материала. Естественно поэтому, что сформулированные в кавказоведении гипотезы ее происхождения апеллируют к фактору заимствования (мы не касаемся здесь оставленной современной наукой точки зрения И.А. Джавахишвили, странным образом не учитывавшего в этом случае северокавказский материал и предполагавшего, что занские факты являются исконно картвельскими и характеризуются классным показателем *n*-)[2].

С одной стороны, еще в самом начале XX столетия А. Погодиным было высказано мнение, согласно которому авар. *nusa* "находится в связи с и.-е. *snusā-* (ср. санскр. *snuṣā-*, откуда, вероятно, и совершенно заимствование)"[3]. С другой стороны, несколькими годами позже А. Дирр сопоставил основу арчинского *nus-ttu*(*r*) с загадочным араб. *nus*, имея в виду, по-видимому, араб. *nisā'un* 'женщины' (имя собирательное)[4]. Последнее сопоставление, уступающее первому, во всяком случае, в плане семантики, по существу не получило поддержки в истории науки (одно из немногочисленных исключений составило высказывание А.С. Чикобава, предполагавшего арабское происхождение лексемы без указания на его конкретный источник[5]). Напротив, мысль о ее индоевропейских истоках быстро завоевала признание. Например, А.Н. Генко, учитывавший уже большую часть упомянутых выше форм, с которыми он впервые непосредственно сопоставил осет. *nostæ* 'невестка', заключал, что этот материал ставит "сложную проблему" общекавказских и общеиндоевропейских взаимоотношений"[6]. Согласно осторожному высказыванию Г. Фогта, соответствующие картвельские лексемы напоминают арм. *nu* 'невестка' и другие сходные индоевропейские формы[7] (позднее Г. Зольта подчеркнул, что они не могут зависеть непосредственно от армянского источника[8]). Т.В. Гамкрелидзе считает, что картвельское звено рассматриваемой изоглоссы является по своему происхождению индоевропейским[9]. То же утверждает В.И. Абаев, отмечающий, что "созвучие кавказских и индоевропейских форм едва ли случайно" и "основано на древних кавказско-индоевропейских связях" (Абаев II, 190)[10]. Еще более определенным образом высказывается в этом плане О.Н. Трубачев, находящий, что древность соответствующих индоевропейских форм, в том числе близких к Кавказу географически индоиранских языков, "делает вероятным заимствование кавказских слов из индоевропейского источника"[11]. Наконец, М.К. Андроникашвили прямо указывает, что эти лексемы явно иранского происхождения[12].

Действительно, иранская этимология нашего материала может быть аргументирована в настоящее время с высокой степенью конкретности. Сейчас следует признать, что обращение к хорошо известному индоевропейскому обозначению невестки **snuso-s* ставит этимологический поиск на надежную почву. Ранняя фонетическая предыстория кавказского материала оказывается подчиненной строгим закономерностям

развития, если в качестве одной из его ступеней будет принято индоиранское *snušā-, отражающее регулярные преобразования архетипа – сдвиг вокализма *o* > *a*, а также переход *s* > *š* в позиции после *u*. Еще более существенно то обстоятельство, что последующая история рассматриваемого здесь материала подчиняется закономерностям исторической фонетики осетинского языка: как известно, в отличие от остальных иранских языков именно для осетинского характерна утрата анлаутного *s* в консонантном комплексе, а затем и сдвиг шипящего согласного в свистящий (слабый шипящий спирант ахвахской формы слова, отнюдь не архаизм, как это могло бы показаться взгляду со стороны, а результат позднейшего регулярного для этого языка фонетического развития[13]). Таким образом, предыстория нашего слова может быть схематически представлена следующим образом: и.-е. *snusos* > индо-иранск. *snuša-* > алан. *nuša-* > *nusa-*.

В свете сказанного естественно прийти к заключению, что кавказские формы воспроизводят старый облик современного осетинского (дигорского) *nostæ* 'невестка', характеризующегося, согласно В.И. Абаеву, словообразовательным суффиксом *-tæ*, встречающимся и в нескольких других лексемах, и вокализм которого оказывается уподобленным осетинскому обозначению молодой женщины (Абаев II, 190)[14]. По мнению некоторых дагестановедов, к этому же источнику могут восходить и формы ряда лезгинских языков (ср. цахур. *sos*, табас., агул., рутул. *sus*, лезг. *swas* 'невестка'), предполагающие иную историю начальной консонантной группы – утрату в ней не *s*, а *n*[15]. Однако, для них, во всяком случае, уже не приходится говорить об осетинском источнике.

Касаясь семантической истории рассматриваемых форм, следует заметить, что, как уже говорилось выше в андийских языках они расширили свой объем, служа также обозначением зятя (аналогичный факт зафиксирован и в некоторых из аварских диалектов[16]). В ряде других случаев вслед за расширением семантики лексемы происходит, по-видимому, и некоторое формальное взаимное отталкивание материала: ср., например, анд. *nuso* 'зять' при *nusa* 'невестка', авар. *nuc* 'зять' при *nus* 'невестка', чечен. *nuc* 'зять, жених' при *nus* 'невестка' (в обоих вейнахских языках последняя лексема может ныне обозначать и вобще жену родственника[17]).

Конкретные пути формирования изоглоссы в ареале автохтонных языков Кавказа еще предстоит изучить. Тем не менее, в настоящее время естественно предположить, что лишь в части случаев лексема могла быть усвоена непосредственно из осетинского источника. По-видимому, именно таким образом она должна была проникнуть в соседствующие адыгские, а также нахские языки, которые, как известно, наслаивались на исторический субстрат в центральной части Северного Кавказа. О ее прочной позиции в словарном фонде этих языков говорит то, что она лежит здесь в основе нескольких производных[18]. Проникновение слова в западно-картвельский ареал скорее всего предполагает

адыгское посредство, о чем может свидетельствовать варьирование вокализма его первого слога *i* ~ *o*//*u*, способное отражать в соответствии с закономерностями исторической фонетики обоих языков адыгское "иррациональное" *ə* (уместно заметить, что в лазском встречается и позднейшее, возможно, соотносящееся уже с мухаджирской эпохой, адыгское заимствование *nusaγa* // *nisaqa* 'жена деверя', восходящее к адыг. *nəsaγw* той же семантики, в котором к нашей основе присоединен продуктивный деривационный аффикс -*γw*[19]).

Во множестве дагестанских языков, во всяком случае из числа андийских, слово считается приобретенным уже через аварское посредство[20]. В последней связи кажется показательным то обстоятельство, что в цезской ветви дагестанских языков, исторические контакты которой с аварскими диалектами всегда были более ограниченными, наше слово остается фактически неизвестным (если не считать зафиксированого в части из них *durs*(*a*) 'зять'). В этом же плане может быть истолковано отсутствие лексемы в географически наиболее далеко отстоящем лезгинском ареале (исключение здесь составляет разделяющий рассматриваемую изоглоссу арчинский, оторванный от основного массива лезгинских и в то же время сохраняющий соприкосновение с аварскими диалектами).

В условиях отсутствия у народов Северного Кавказа сколько-нибудь давней письменной традиции на своих языках, наибольшие трудности связаны с определением хронологии заимствования осетинской лексемы. Некоторые ориентиры в решении этой задачи способна предоставить существующая в кавказской ареальной лингвистике стратификация картвельских аланизмов. Так, в плане определения terminus post quem естественно опереться на более ранние аланизмы, которые еще сохраняют исторические шипящие спиранты на месте одной серии современных осетинских свистящих. Ср., например, сван *šged* 'северный склон горы, лес' при осет. *cægæt* 'северный склон горы' или груз. *šav* 'черный' при осет. *sæv* то же. Естественно предположить, при этом, что наиболее ранние сванские аланизмы, сохраняющие шипящие спиранты (в настоящее время известно не менее десятка подобных примеров), должны были быть усвоенными еще в эпоху отраженных в сванском фольклоре непосредственных сванско-осетинских контактов, нарушенных, по-видимому, уже во второй четверти XIII столетия монгольской экспансией, существенно изменившей лингвистический ландшафт северокавказского региона. Вместе с тем, производное от рассматриваемого слова груз. *nusadia* 'жена дяди' впервые засвидетельствовано на рубеже XVI и XVII столетий в толковом словаре грузинского языка Сулхана Саба Орбелиани[21].

Таким образом, как будто устанавливаются пределы эпохи, в течение которой в осетинском языке было положено начало процессу ассибиляции *š* > *s*. К этой эпохе, охватывавшей и период расцвета феодальных отношений в Кабарде, могут восходить и некоторые другие адыгские заимствования в картвельских языках (не видно каких-

либо оснований усматривать особую связь мегрельского и лазского обозначений невестки со "старым балканским словом" той же семантики, как это делает В. Полак[22]). В свете сказанного естественно полагать, что и в севернокавказском регионе наша лексема стала распространяться в период, когда в осетинском было положено начало ассибиляции *š*. Во всяком случае достаточная давность ее бытования в адыгских и нахских языках подтверждается фактом возникновения на ее основе словообразовательного гнезда. Заслуживает внимания, наконец, и вопрос о возможных социальных предпосылках становления рассматриваемой изоглоссы на Кавказе. В.И. Абаев, видимо, не без оснований находит, что наша лексема входит в состав межкавказского лексического фонда, отражающего единую этническую культуру региона[23]. Не исключено, что за ней может стоять и некоторая конкретная практика исторических взаимоотношений народов Кавказа.

Примечания

[1] В основу настоящей заметки положен доклад, зачитанный автором на 1-ом Международном конгрессе диалектологов и геолингвистов в Будапеште. Тезисы доклада опубликованы: *Klimov G.* On Caucasian designations of fiancée (material for question 470 of ALE) // The First International Congress of Dialectologists an Geolinguists. Abstracts of Scholarly Papers. Budapest, 1993, 56–57.

[2] *Джавахишвили И.А.* Введение в историю грузинского народа. Т. II. Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. Тбилиси, 1937, 183 (на груз. яз.).

[3] *Погодин А.К.* К вопросу о влиянии индоевропейских языков на кавказские // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 31, отд. 4. Тифлис, 1902, 55.

[4] *Дирр А.М.* Арчинский язык. Грамматический очерк, тексты, сборник арчинских слов с русским к нему указателем // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 39, отд. 3. Тифлис, 1908, 171.

[5] *Чикобава Арн.* Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938, 39 (на груз. яз.). Минимумом определенности отличается высказывание К. Боуда о происхождени слова из "исламских культурных языков". Ср. *Bouda K.* Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen // Lingua, 1950, vol. II, 3, 298. Критический анализ точки зрения А.С. Чикобава см.: *Андроникашвили М.К.* Очерки по ирано-грузинским языковым взаимоотношениям, I. Тбилиси, 1966, 10 (на груз. яз.).

[6] *Генко А.Н.* Из культурного прошлого ингушей // Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР, 5. 1930, 725.

[7] *Vogt H.* Arménien et caucasique du sud // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Bind IX, 1938, 338.

[8] *Solta G.R.* Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Eine Untersuchung der indogermanischen Bestandteile des armenischen Wortschatzes. Wien, 1960, 195.

[9] *Гамкрелидзе Т.В.* Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959, 60–61 (на груз. яз.).

[10] Ср. также: *Гудава Т.Е.* Консонантизм андийских языков. Историко-сравнительный анализ. Тбилиси, 1964, 100.

[11] *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства. М., 1959, 132.

[12] *Андроникашвили М.К.* Указ. соч., 101.

[13] Ср.: *Гудава Т.Е.* Указ. соч., 83 и 173.

[14] См. также: *Hübschmann H.* Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache. Strassburg, 1887, 52.

[15] *Schulze-Fürhoff W.* How can class markers petrify? Towards a functional diachrony of morphological subsystems in the East Caucasian Languages of the USSR. Linguistic Studies. New Series. Chicago, 1992, 232.

[16] *Гудава Т.Е.* Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тбилиси, 1979, 100.

[17] *Алироев И.Ю.* Нахские языки и культура. Грозный, 1978, 86.

[18] *Балкаров Б.Х.* Адыгские элементы в осетинском языке. Нальчик, 1965, 17. Мнение о зависимости адыгских лексем от осетинского источника см., например: *Басиева С.М.* К вопросу об осетинских заимствованиях в адыгейских языках // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977, 268.

[19] *Шагиров А.К.* Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. А–Н. М., 1977, 288. Автор замечает, что убыхское *nəsaγ* 'жена деверя' также усвоено из адыгского источника.

[20] *Саидова П.А.* Терминология родства и свойства в аваро-андийских языках // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков. Термины родства и свойства. Махачкала, 1985, 18. Ср. также: *Гасанова А.М.* Термины родства и свойства в ботлихском, годоберинском и андийском языках // Там же, 48.

[21] *Орбелиани Сулхан Саба.* Сочинения. Т. IV, 1. Тбилиси, 1965, 600 (на груз. яз.).

[22] *Polák V.* Les éléments caucasien en albanais // Orbis. T. XVI. № 1. 1967, 138.

[23] *Абаев В.И.* Происхождение и культурное прошлое осетин по данным языка (лингвистическое введение в историю осетинского народа) // *Абаев В.И.* Осетинский язык и фольклор. I. М.; Л., 1949, 89–90.

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3: dělo–gospodь. Praha, 1992; seš. 4: gostь–istonǫti. Praha, 1994; seš. 5: istopiti sę–klęti. Praha, 1995.

С небольшим разрывом во времени вышли в свет очередные выпуски "Этимологического словаря старославянского языка", охватывающие лексический материал в объеме букв *d, e, f, g, ch, I, k* (*kada–klęti*). Высокий профессиональный уровень словаря и та регулярность, с которой выходят выпуски, говорят о целенаправленной, интенсивной работе коллектива брненских этимологов, возглавляемого доктором Е. Гавловой. Большой профессиональный опыт, накопленный в процессе многолетней работы над этимологическим словарем славянских языков, целенаправленные творческие поиски в области славянской этимологии помогли составителям найти свой самостоятельный подход к построению этимологического словаря языка древнейших славянских памятников, разработать стройную, содержательно емкую концепцию словаря, отвечающую требованиям современной науки. Строгая и очень четкая организация большого и разнообразного лексического материала является одним из важных достоинств словаря. Составителям удалось найти адекватную материалу структуру словарной статьи, представляющую все аспекты словообразовательного, семантического, этимологического изучения древнего слова. Старославянское слово, рассматриваемое во всем многообразии внутриязыковых связей, предстает и как составная часть общеславянского наследия, как продолжение и развитие в одной части южнославянского ареала тенденций, заложенных еще в праславянском языке. Это обстоятельство придает особую ценность словарю, выполняющему одновременно функцию надежного справочного пособия по деривационным отношениям в старославянском языке и славянской этимологии в целом. Составители виртуозно справляются со состоящими перед ними задачами, особенно если учесть неполноту, фрагментарность исходного материала.

В словаре обработан большой лексический материал. Основное содержание настоящих выпусков составляют простые и производные слова, слова с приставками *is-*, *iz-* и бесприставочные образования. В качестве заглавного даются слова, которые стали производящими для гнезда родственных образований, приставочные глаголы, не засвидетельствованные в простом, не связанном виде (ср. *iskusiti*). Наряду с апеллативами в корпус словаря включены собственные имена (ср. *Dragomirъ, Gorazdъ, Jaroslavъ, Gněvisa, Izęslavъ* и др.), географические названия (ср. *Dъneprъ, Dunavъ*). В соответствии с принятой концепцией слово характеризуется с разных сторон, и каждой характеристике отводится строго определенное место в структуре словарной статьи. В словаре четко разделены зоны, в которых сообщается информация о грамматических формах слова, в отдельных случаях, иллюстрируемых примерами из текстов, приводится полный перечень производных, последовательно прослеживаются миграции старославянских слов в славянские и неславянские языки. Основная часть словарной статьи отводится этимологическому истолкованию рассматриваемого слова. Не претендуя на собственные оригинальные решения, составители предлагают вниманию читателя реферирование и аннотирование существующих этимологических версий. Авторская позиция проявляется в объективной, взвешенной оценке разных подходов к истолкованию слова, в умении точно подметить слабые и сильные стороны известных этимологий. Этимологические версии пронумерованы и разделены абзацами. Те версии, которые представляются

авторам наименее вероятными, набраны петитом. Каждому из фрагментов словаря предпослан заголовок, набранный жирным шрифтом: заглавное слово с указанием в скобках источника, производные, экспансия слова, этимология.

В словаре доминирует гнездовой подход, и такой подход имеет определенные достоинства, поскольку позволяет в полном объеме наглядно представить существующие в языке родственные связи. В некоторых случаях в составе производных образований оказываются слова архаичной структуры, слова, построенные по древним словообразовательным моделям. И как мы уже отмечали в рецензии на предыдущие выпуски, такие слова, на наш взгляд, требуют выделения и самостоятельной разработки. К числу таких интересных образований следует отнести *jato* 'еда, пища' (Supr.), включенное в гнездо ст.-слав. *jasti* 'есть'. И хотя это слово идет в статье отдельной строкой и для него со ссылками на Миклошича и Вайана сообщается возможность этимологического объяснения из *jasto*, тем не менее этой информации явно недостаточно; как нам кажется, требует более развернутого обоснования словообразовательная структура слова, видимо, сложившегося еще в индоевропейскую эпоху. Для этого образования с архаичным суф. *-to* находим соответствие в рус. диал. (урал.) *ест* м.р. 'вкусный кусочек (пищи)' (Филин 9, 41), а за пределами славянских языков – тот же суффикс характеризует ст.-прус. *īstai* 'еда', далее греч. *ἐδεστός, возможно, из более древнего *ἐστός, др.-инд. *āttum̃* и др. (<**ēd-tom*). См. F. Sławski–Słownik prasłowiański 2, 39; 6, 156; В.Н. Топоров. Прусский язык. Словарь: *I–K*, 89–90.

Слова, зафиксированные в памятниках старославянской письменности, имеют свою внутреннюю дописьменную историю. С помощью различных приемов внутренней и внешней реконструкции исследователи пытаются выявить архаичные элементы структуры и семантики и на этой основе восстановить семантические и словообразовательные потенции слова, определить по остаточным явлениям основные звенья эволюции слова. В словаре наряду с этимологическими задачами попутно решаются некоторые вопросы изучения семантики старославянского языка. Так, основываясь на семантике производных образований (ср. *inočьstvo* 'монашество', *inočьskь* 'одинокий', 'иноческий, монашеский' и др.) авторы приходят к выводу о том, что ст.-слав. *inokъ* было свойственно значение 'монах'. В качестве аргумента приводится *inokъ* в значении 'монах' из Изб. Св. (Срезневский I, 1103), памятника конца XI в., не вошедшего в основной корпус источников Пражского словаря. В SJS это слово представлено только в значении 'тот, кто живет один, одиночка, зверь одиночка'. Подобные наблюдения позволяют по косвенным источникам полнее представить семантику старославянских слов. Правда, остается при этом не совсем понятным, почему в качестве заглавного приводится *inokъ* только в значении 'монах' (ESJS 4, 244), а основное старославянское слово, засвидетельствованное в Супрасльской рукописи в старом значении, лишь упомянуто внутри словарной статьи. В старославянских памятниках еще основным остается значение, этимологически мотивированное производностью от *jinъ* 'другой, иной', в свою очередь, связанного с и.-е. **oi̯no-*, ср. др.-лат. *oinos* 'один' и др. Как отмечают и сами авторы, терминологизация этого слова, использование его для передачи греч. μοναχός вторична. Поэтому логично ожидать вынесения в качестве заглавного именно старославянского слова в его основном значении.

Особенности употребления слова в разных текстах, семантические оттенки, выявляемые в процессе анализа, являются одним из основных источников уточнения семантики и восстановления на этой основе исходных звеньев семантической эволюции слова. В комплексном подходе к решению этимологических задач семантике нередко принадлежит решающая роль при выборе того или иного этимологического решения. Так, к примеру исследования (работы Шарапатковой, И. Немца), в результате которых удалось выявить реликты старого значения ст.-слав. *grěchъ* 'промах, ошибка', *pogrěšiti* 'отклониться (от цели), промахнуться', позволяют с достаточной определенностью сделать выбор в пользу этимологии от основы со значением кривизны, ср. лит. *graižùs* 'косой', лтш. *grèizs* 'кривой' (см. ESJS 4, 202). Вообще в разных выпусках словаря прослеживается интерес к семантическим вопросам, к обоснованию этимологии в семантическом плане с восстановлением исходных звеньев семантической эволюции.

Некоторые из приведенных примеров, извлеченных из церковнославянских памятников, дополняют перечень уже установленных соответствий. Приведенные в словаре ц-слав. *dymъ* в значении 'чума, мор' (Bes.) и чеш. *dým* с тем же значением (ESJS 3, 157)

расширяют состав гнезда, объединяющего слова с анатомическим значением (ср. ЭССЯ 5, 202: **dymę*).

Ценность опубликованных выпусков в том, что они предоставляют читателю полный свод этимологических версий. Высокий профессионализм, полнота и надежность представленного в словаре материала делают это издание ценным справочным пособием по славянской этимологии.

*Л.В. Куркина**

Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Tom I. A–C. Warszawa, 1994. 272 s.

Накануне окончания XX века можно с полным основанием утверждать, что важнейшим достижением славистики второй половины этого века стал подъем славянской этимологии, итогом и показателем которого является создание целой серии этимологических словарей. Их массированное появление за относителльно небольшой (при учете трудо- и наукоемкости предприятий) период означает реализацию определенной закономерности развития славянского диахронического языкознания, сущность которой, вероятно, в том, что накопление некоторых (минимальных или оптимальных) базовых материальных и теоретических фондов в других его областях (исторической грамматике, словообразовании, диалектологии, исторической и диалектной лексикологии и лексикографии) обусловило и возможность, и необходимость этимологического осмысления лексики на новом уровне. И выход в свет рецензируемого словаря – еще одно подтверждение этого.

В серии славянских этимологических словарей "Słownik etymologiczny kaszubszczyzny" (далее, в соответствии с авторским употреблением, – SEK) займет особое место: это предопределено объектом исследования. Специфика польского словообразования дала авторам возможность избежать в названии словаря ("Słownik ... kaszubszczyzny") выражения своего решения старого, но все еще открытого вопроса о статусе kaszubszczyzny: отдельный славянский язык или диалект польского? Но во вступительной части SEK, в связи с необходимостью изложения методики исследования и структуры словарных статей, определенно признается разработка темы как этимологического словаря группы диалектов (кашубского, словинского, поморского) польского языка и подчеркивается специфика SEK как первого д и а л е к т н о г о этимологического словаря (с. 8).

Адекватность исполнения поставленной научной задачи гарантирована авторским коллективом – творческим содружеством известной исследовательницы кашубско-словинских диалектов (включая и этимологический аспект) Г. Поповской-Таборской и не менее известного слависта-этимолога В. Борыся, одного из авторов краковского "Праславянского словаря" (SP) и руководителя соответствующего научного коллектива. Словарные статьи I тома SEK поделены между соавторами приблизительно поровну следующим образом: *aba* – *bzinka* (с. 69–178) – автор Г. Поповская-Таборская, *bardo* – *čvirëc* (с. 178–272) – автор В. Борысь.

Специфика объекта исследования обусловила многие структурные особенности SEK, прежде всего – значительный объем Введения (Wstęp – стр. 7–36, не считая краткого Od autorów, списка источников и литературы, рационально объединенных одним алфавитным порядком, и указателя сокращений). Введение содержит детальную и очень полезную информацию об истории этимологизации кашубской лексики, о ее диалектной дифференциации, о существующих источниках кашубских лексических материалов (с характеристикой специфики каждого) и о принятой в SEK форме нормализации записи кашубских звуков (авторы используют транскрипцию, разработанную при участии Т. Лера-Сплавинского и К. Нича для кашубского словаря Б. Сыхты). Наконец, во Введении

---

*© Л.В. Куркина

определены задачи и методы этимологизации в SEK. SEK характеризуется как диалектный этимологический словарь, дифференциальный по отношению к современному общепольскому языку; соответственно целью SEK является этимологизация кашубских слов, отличающихся от общепольских корнем, особенностями словообразовательной структуры или семантикой (с. 29). Таким образом, объектами анализа оказываются и архаизмы, и неологизмы, и заимствования. Словарная статья ориентирована на отдельное слово, но для уяснения лексического окружения или усиления аргументации или во избежание повторов в статью нередко вводятся родственные параллельные образования или производные, что соответствует практике и других современных этимологических словарей с полексемной структурой словника.

Основой методики SEK является последовательный поэтапный анализ кашубской лексемы на фоне прежде всего кашубской лексики – с целью выяснения вероятности образования слова на базе кашубского диалекта, далее (при невозможности такого толкования) – на фоне польской лексики и лишь в случае отсутствия и здесь генетических связей – на инославянском фоне. И эта методика в принципе соответствует современным методам этимологизации лексики одного славянского языка с поэтапным углублением в ее генетические связи, но практика SEK, как и в других словарях, оказывается шире декларируемых методических рамок и инославянский фон присутствует в большинстве статей, посвященных автохтонной лексике. Эта практика оправдана и даже необходима, что особенно явно следует из материалов обоих современных этимологических словарей праславянского языка – SP и ЭССЯ: они изобилуют фактами сохранения в современных языках словообразовательных связей лексем, для которых весьма вероятна, однако, праславянская древность, так что самый факт "объяснимости" слова на базе его диалектного окружения не делает излишним (для уяснения времени его образования) обращение к инославянским соответствиям. Как уже было сказано, и SEK считается обычно с такого рода связями и поэтому, например, *č'esadło* 'щетка для чесания волокна', даже при наличии кашуб. *čosac* 'очищать волокно с помощью специального гребня', толкуется как продолжение праслав. **česadlo* (с. 232). Но с равными основаниями, кажется, и *bădac* должно точнее толковаться не как итератив к *bóść* (с. 96), а как продолжение праслав. **badati*, и *blasknąc* – не как связанное с праслав. **blěskъ* (с. 119), а как преобразование праслав. **blьsknǫti*, и *bradło* – не как производное от *brac* (с. 138), а как продолжение праслав. **bьradlo*; для *buša* 'бабушка' также вероятнее упрощение праслав. **babuša* (ср. с.-хорв. *babuša*, чеш. *babuše*, словац. *babuša*, н.-луж. *babuša*), а не преобразование *busia* < *babusia* (с. 174). Правда, толкование каждого конкретного случая при наличии словообразовательно-мотивационных отношений в самом диалекте требует индивидуального анализа. Так, пожалуй, следует признать правомерность гипотезы об образовании *č'osadło* 'топор, тесло' как кашубского производного от *čosac* 'обрабатывать дерево топором': хотя известно праслав. **česadlo* (см. выше), производное от **česati*, но для последнего не реконструируется семантика обработки дерева (с. 252). Вместе с тем, вряд ли можно исключить и вероятность вторичности значения 'топор, тесло', появление которого у унаследованного из праславянского языка кашуб. *č'osadło* было стимулировано семантическим изменением производящего глагола.

С другой стороны, именно пристальное внимание к диалектному окружению лексемы позволяет авторам в ряде случаев избежать ее "удревнения", убедительно вскрывая словообразовательные связи на собственно диалектной почве: см., например, *čǫdło* 'крошка, малое количество' – вторичное расширение *čǫd* 'часть, количество', типа *břëχło*, *ž'elazło* (с. 256–257).

Весомость авторской аргументации определяется в значительной степени тщательностью словообразовательного анализа. При этом в поле зрения авторов находятся как регулярные, продуктивные словообразовательные модели (кашубские, польские, праславянские), так и редкие, и нерегулярные преобразования, типа вторичного присоединения *-ni* к прилагательным – см. *cavni* 'целый' (с. 190), сокращения лексемы за счет начального слога – см. *čmišk* 'ячмень на глазу' < *jąšmišk* (с. 249), частичного калькирования – см. *bidroga* 'грунтовая дорога, идущая параллельно шоссе' при нем. *Beiweg* (с. 115). Но специфика модели не всегда оговаривается: так, для *barkńec* 'болеть вертячкой' (с. 88–89) следовало бы указать способ преобразования *-nǫ-* основы **br̥knǫti* в *-ně-* (хотя это не единичный случай); относительно *č'ârmëslë* 'коромысло' (с. 225) – признать редкость

(если не единичность) суф. *-ysl-* (что снижает достоверность этимологии, даже при ее наибольшей вероятности в сравнении с другими толкованиями). Некоторые толкования словообразовательных связей могут быть оспорены: *bréda* 'болтун' – скорее производное не от *brèʒëc* (с. 140), которое бесспорно отыменное, а от *brësc*; реконструкции исконной формы суф. *-ři-* в *čemžëc* 'кое-как, медленно делать' и *skamžëc* 'докучливо просить', при предполагаемой производности от корня **čem-* (с. 230), противоречит вероятность родства с этими глаголами инославянских чеш. (валаш. и ляш.) *oskomízat se* 'медлить, колебаться', *obskomízat* 'глазеть', рус. (ряз.) *скамéзливый* 'разборчивый в еде, привередливый', укр. (мелитоп.) *комизúцця* 'упираться, упорно не желать чего-л.', которые свидетельствуют о суф. *-ěz-* (ср. далее рус. ряз. *камéть* 'томиться при долгом ожидании чего-л., торчать')[1].

В статье о *čałkac* 'ползать' указание на вариантность экспрессивных элементов *-k-*: *-g-* (ср. *čâłgac*) (с. 224) можно было бы дополнить формой с *-x*-расширением – в.-луж. *čelchać* 'бродить, слоняться из угла в угол'.

Тщательно разрабатывается в SEK семантический аспект устанавливаемых генетических связей лексем, с опорой на семантику целых этимологических гнезд и на семантические параллели из инославянских языков. Лишь в случае *barabònë* 'дальний угол; гористое безлюдное место' отсутствует семантическое объяснение предполагаемого родства со звукоподражаниями типа польск. *barabanić* 'болтать' (с. 84–85), а в статье о *cac* 'потомство' (только во фразеологизме: Jakå cac, taka mac) удивляет готовность признать это слово народноэтимологическим преобразованием слова *nac* 'ботва' (Jakå mac, takå nac) (с. 188–189) без реконструкции первичной семантической мотивации всего выражения (**mati* в значении 'корень'?). Возможны некоторые дополнения к предлагаемой в статьях семантической аргументации: *bazarni* 'недостойный, постыдный' (с. 94) – ср. рус. *базарный* 'непристойный, п л о щ а д н о й'; *bestřëc* 'чистить, обдирать кое-как; делать кое-как' (с. 104) – ср. рус. (смол.) *пéстрить* 'жадно есть' (СРНГ 26, 317); *bučëc sq* 'дуться' (стр. 160) – ср. рус. *бýка* 'угрюмый человек'. Вероятность охарактеризованного как "не до конца ясное" образование *buska* 'сосуд, игольник' от *busa* 'ступица колеса' (< фран. *busse* то же) (с. 173) подтверждается связью рус. *ступа* (= 'сосуд для толчения') и *ступица* (помимо 'емкости', еще и 'объект втыкания спиц'). Семантическим основанием для образования *bëkcëc sq* 'волноваться' от *bëka* – не только 'загнутая рукоять трости', но и 'молоток для насекания мельничного жернова; мотыга; крючок' – представляется не образ волнующихся, изгибающихся морских волн (с. 111), а мотив возбуждения, подстрекания, стимуляции острым предметом.

Очень интересен отмеченный в SEK факт преобразования значения вследствие народноэтимологических ассоциаций: *barkowac sq* 'бороться, меряться силой, о б н я в ш и с ь за плечи' < праслав. **barati*, но ср. *bark* 'плечо' (с. 89).

Весьма существенным и ценным структурным элементом ряда словарных статей является указание гетерогенных омонимов, см. статьи *bertka* (с. 182–183), *bèlôn* (с. 185), *cknqc* (с. 205): подобная практика (впервые обоснованная в проспекте брненского этимологического словаря славянских языков[2]) очень полезна для наиболее объективного сообщения информации о морфо-семантическом поле слова и авторской точки зрения на границы семантического разветвления гнезда.

Как и в других этимологических словарях, авторы SEK прибегают нередко к реконструкции "промежуточных" форм, не зафиксированных непосредственными продолжениями в известных источниках, но предполагаемых производными лексемами: см., например, кашуб. **blësex*, **blësexa* – как производящая основа для *blësexovac* 'смотреть исподлобья' (с. 124), **čubra* – для *čubrac* 'таскать за волосы' (с. 260). И так же, как и в других этимологических трудах, здесь следовало бы графически отличать эти реконструкции (например, двойным астериском) от реконструкций, базирующихся на зафиксированных непосредственных продолжениях, типа **blěščiti* (> кашуб. *blëščëc sq*) в той же статье *blësexovac* (с. 124).

SEK создается в благоприятных научных условиях: есть обширная кашубско-словинская лексикографическая база, есть Атлас кашубских диалектов, современный этимологический словарь польского языка Ф. Славского (хотя и не завершенный), законченные или значительно продвинутые этимологические словари других славянских языков и, наконец, этимологические словари праславянского языка. Объединение в этих

словарях результатов наиболее существенных этимологических исследований дает возможность авторам SEK избежать объемных библиографических справок путем отсылки к другим словарям, особенно это касается праславянских толкований (где решительно преобладают отсылки к SP). Разумеется, цитируются этимологические исследования последнего времени, не учтенные ранее вышедшими словарями, но, кажется, есть пропуски более старых версий: так, в статье о *čvaŕëc* 'болтать, врать, плохо работать' (с. 268–269) следовало упомянуть сопоставление с *tvor-* (см. Miklosich 37), а в статье о *čaḿec* (с. 213–214) – реконструкции вариантов в гнезде **ščem-/*skom-* (см. Miklosich 38; Berneker I, 167).

Этимологические толкования в SEK отличаются, как правило, тщательностью и объективностью, проявляющейся и в изменении в ряде случаев авторских (ранее опубликованных, например, Г. Поповской-Таборской) версий, и в признании неясности ситуации для некоторых лексем. SEK содержит много оригинальных и убедительных толкований: см. например, *błȯn* 'белое облако' < **bolnъ*, родственного **bolna* (с. 129–130); *čačko* 'коленная чашечка' < *čaška* 'череп' < праслав. **čašьka* (с. 210); *čabakovac są* 'бороться, меряться силой' – к **čabati./*čapati* 'ударять' (с. 206–207); *čišec* 'подправлять огонь, помешивая' < праслав. **kysěti sę*, **kysiti sę* (с. 242–243; автор отказывается от фонетически противоречивой реконструкции **kyšěti* – см. ЭСБМ V, 47 и ЕСУМ II, 440–441, но ср. **kyšati* в ЭССЯ 13, 277–278); *čǫʒavica* 'менструация' – от *čǫd* 'период времени' (с. 257); *čtac* 'испражняться (о скоте)' < **drьstati* (с. 257–258). Неточности редки: к ним можно отнести упоминание в статье *bëlni* 'хороший, достойный, большой' (< праслав. **bylьnъjь*) в качестве родственного образования с.-хорв. *ȍbilan* (с. 112, с ошибочной отсылкой к ЭССЯ), которое (независимо от этимологических толкований) содержит корневое *i* < праслав. **i* (ср. русск. *обильный* и т.д.). Лишь в некоторых случаях представляется предпочтительным другое (не упоминаемое авторами) этимологическое толкование: *bŕeʒe* 'рассветает', при всех возможностях формального и семантического сближения с гнездом **bresti*, **broditi* (с. 140), все-таки нельзя не сопоставить с **brězgati*, **bręždžati*; приведенное в статье о *-čarapíc* 'загребать, захватывать' в качестве родственного блр. *чара́пкацца* 'влезать, карабкаться' (с. 221–222) должно повлечь за собой и рус. *карабкаться*, и *корябать*, что вряд ли объединимо с **carapati*; для *čečńec* 'вянуть, сохнуть', относительно которого предполагается связь с **čeznǫti* (с. 226–227), возможна, кажется, производность от **tъščьjь*.

Предлагая генетические характеристики отдельных лексем, этимологический словарь каждого славянского языка в целом представляет для славянской исторической лексикологии огромный интерес в двух аспектах: как генетическая характеристика лексического фонда данного языка (включая и его отношение к родственным языкам) и как источник пополнения сведений о праславянском лексическом фонде (возможных древних диалектизмах, архаичных структурах и значениях). Разумеется, вошедший в I том SEK объем словника (A – Č) – еще слишком малая для обсуждения этих вопросов часть кашубской лексики, но некоторые материалы (впервые так целенаправленно и дифференциально по отношению к польскому объединенные) можно отметить. Прежде всего, скрупулезно отмечаемые в SEK схождения кашубской лексики с лексикой польских диалектов обнаруживают обилие этих связей, особенно с кочевским диалектом, что подтверждает условность определения кашубского как особого языка. Что же касается (лексических) отличий кашубского от общепольского, то здесь решительно преобладают немецкие заимствования и экспрессивные образования. Следует специально отметить, что в SEK вскрывается заимствованное происхождение многих кашубских слов (помимо описанных ранее): например, см. *bońic* 'украшать' < н.-нем. *bohnen* 'полировать' (с. 133), *brėχ* 'ребенок' < н.-нем. *bröch, brech* 'живот' (с. 141), *cåber* 'большая полукруглая сеть' – из нем. *Zober, Zuber* 'деревянный ушат' (с. 191), *cåkac są* 'ругаться' – из нем. *sich zanken* 'ссориться' (с. 191), *čičåpa* 'овца' – из н.-нем. *Titschap* 'овца, доросшая до расплода, и т.д.' (с. 239), *čikac* '(стоит) мокрая и холодная погода' – ср. н.-нем. *schitkolt* 'мокрый и холодный' (с. 240), *čučubak* 'на закорках' – ср. нем. *huckepack* то же и диал. прус. *Hubback, Huckeback* (с. 261), *čötovac* 'экономить, скряжничать' – ср. ср.-нем. *schöten, schäten, schotten* 'собирать набирать' (с. 254–255). Автохтонные лексические отличия от общепольского языка представлены, помимо отмеченной выше продуктивности экспрессивных образований, специфическими словообразовательными структурами, типа *bolësti* 'толстый' – производное от **bolьjь* с суф. *-ist-* (с. 133), *boradina* 'силач' – от *bora* то

же с суф. *-ěd-ina* (с. 134), *bořëš* 'богач, хозяин' – от *bora* 'силач' с суф. *-yš* (с. 135–136), *broduz* 'род сети' – от **broditi* с суф. *-uz* (с. 146), *břostvo* 'береста' – от **bersta*/**bersto* с суф. *-stvo* (с. 156; может быть – скорее уподобление образованиям с этим суффиксом?), *ḱătḱi* мн. 'борьба' < **bědъky*, от **běditi sę* (с. 179), *c'erńava* 'пронизывающий холод' – от *cěrpnǫc*/*cěřpnǫc* 'коченеть' с суф. *-'ava* (с. 196), *bëlno* 'почти' < **by-le-no* (с. 112). В большинстве случаев наиболее вероятно образование подобных кашубских лексем, не известных польскому языку, на собственно кашубской почве. Но и среди них есть схождения с лексикой других славянских языков типа *břodńik* 'невод для подледного лова' – рус. диал. *бре́дник* 'род сети' (с. 155).

Более значимы схождения явно архаичных структур праславянского происхождения, сближающие кашубский с другими славянскими языками, минуя, однако, польский: см. *bivši* – рус. *бывший* (с. 117), *bezla* 'подле' < **vъz-dьlě* (есть в рус. и укр., с. 105), *blëzë* 'близко' – адвербиализованная форма местн. ед. м.р. от **blizъ*, представленная еще в ю.-слав., др.-рус. и рус. диалектах (с. 125), *błozno* 'санный полоз' < праслав. **bolzьno*, ср. рус. диал. *бо́лозно* (с. 128), *čeχ* 'подросток' – ср. словен. *čèh* 'подросток; пастух' (с. 227), *brësc* < **bresti* (с вторичным вокализмом, с. 143), *cårnǫc* 'потерсть, коснуться' < **tŕ̥nǫti* (с. 192), *ces, cės* 'через' < **čersъ* (с. 196), *čëp* 'макушка, верхушка (горы, дерева)' < **čupъ* (с. 235–236), *čepařëc* 'рыться' < **čepariti* (с. 230), *česła* < **česla* (с. 233). Примечательны случаи сохранения в кашубской лексике праславянского происхождения более древних фонетических форм, чем в польском: см. *čëpųac* 'присесть на корточки' – при польск. *cupnąć* (с. 236–237), *čëřep* 'чашка' – польск. *trzop* < **čerpъ* (с. 238–239), *čestovac* 'угощать' – польск. *częstować* < **čьstovati* (с. 234). Таким образом, кашубская лексика имеет специфические, частично отличные от польского генетические связи с праславянским языком и на его почве – с другими славянскими языками.

Для реконструкции праславянского состояния лексики существенны как приведенные данные о наличии рефлексов известных уже праславянских образований на кашубскокй почве (в том числе в виде вторичных расширений типа *čërni* 'чистый' – от **čirъjь*, с. 238), так и в еще большей степени обнаружение в кашубской лексике продолжений специфических вариантов праславянских образований, не известных другими славянским языкам. Из лексем этого рода в I том вошли знаменитое еще со времени публикации словаря Б. Сыхты *č'armëslë* 'коромысло' (с. 224–225) и *cknǫc* 'чувствовать запах, нюхать' < **čьchnǫti* – при **čuchati*, **čuchnǫti* в других языках (с. 204–205).

И в семантическом плане кашубская лексика представляет много интересных случаев специфического развития: см. *bădac* 'бодать' и 'читать' (с. 96–97), *cëšk* 'тоска, желание' – от **tęgti* (с. 200), *ceceva* 'лестница' < **tętiva* (вероятно развитие значения в бортнической среде, с. 193–194), *cësk* 'беспокойство, страх' < **tiskъ* (с. 200), *čåglą* 'подросток' – от *ščigel* 'щегол' (с. 223–224), *blasknǫc* 'посмотреть' (с. 119), *blėščava* 'пасмурная погода' и *blėščëc są* 'хмуриться' (с. 122), *břid* 'кора дерева, хворост' < **bridъ* 'острый' (с. 153), *brëžǯëc* 'жарить, готовить кое-как' (с. 145), *bartńik* 'богач' < **br̥tьnikъ* (с. 91). С точки зрения реконструкции праславянской лексики существенны семантические архаизмы кашубских диалектов типа *břësc* 'чрезмерно выпуклая часть ноги' < **br'ustь* (в других языках – названия частей ноги, с. 151–152), *błön* 'белое облако на голубом небе' < **bolnъ*, ср. **bolna* 'болона дерева' (с. 129).

Рецензируемый словарь привлечет к себе особое внимание диалектологов-этимологов. Проблема создания диалектных этимологических словарей уже неоднократно поднималась диалектологами (в частности, обсуждалась на I и II совещаниях по русской диалектной этимологии в Екатеринбурге в 1991 и 1996 гг.). В качестве важнейшего аргумента в пользу создания именно региональных этимологических словарей иногда выдвигается необычайная трудоемкость глобальной этимологической обработки всей лексики, например, русского языка[3]. При всей весомости этого аргумента, следует, кажется, обратиться к идее диалектного этимологического словаря не столько как к вынужденному ограничению, сколько к научно необходимому самодостаточному проекту, который способен аккумулировать и разработать генетическую характеристику лексики диалекта, выявить его специфические связи с общенародным языком и внести новые, свежие материалы в изучение праславянского языка. I том SEK свидетельствует о перспективности таких предприятий, осуществляемых творческим содружеством диалектологов и этимологов.

Завершая обзор этого капитального и новаторского этимологического труда, следует отметить высокое качество полиграфического исполнения (хотя приходится сказать, что в современном этимологическом словаре передача кириллицы латинским шрифтом представляется неудобным для читателя-специалиста упрощением).

*Ж.Ж. Варбот**

Примечания

[1] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. III // Этимология. 1973. М., 1975, 27–29.

[2] Etymologický slovník slovanských jazyků. Ukázkové číslo. ČSAV. Brno, 1966.

[3] См. *Аникин А.Е.* Этимологический словарь заимствований в русских диалектах Сибири. Пробный выпуск. Новосибирск, 1995, 3–4 (Предисловие).

F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga. *P–S*. Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubliana, 1995.

Выход в свет третьего тома "Этимологического словаря словенского языка" без всякого преувеличения можно отнести к значительным событиям славистики последнего времени. Как известно, у истоков словаря стоял акад. Ф. Безлай, им разработана концепция словаря, подготовлены первые два тома, которые увидели свет в 1976 и 1982 гг. Работа над третьим томом протекала трудно, акад. Ф. Безлай был уже тяжело болен, 27 апреля 1993 года его не стало. И возникло опасение, что словарь Безлая разделит судьбу многих словарных предприятий, успешно начатых, но в силу разных причин так и не доведенных до конца. К счастью, этого не произошло. Остались ученики Марко Сной и Метка Фурлан, которые взяли на себя нелегкий труд и сумели за сравнительно короткое время подготовить и издать давно ожидаемый третий том этимологического словаря словенского языка. Естественно, что эта работа потребовала от исследователей концентрации усилий, целеустремленности и незаурядных знаний в области славянского и индоевропейского языкознания. Опыт и навыки этимологического анализа и словарной работы они получили от своего учителя, под руководством которого работали над словарем, начиная с 1981–1983 гг. Молодые исследователи, прошедшие школу Б. Чопа и Ф. Безлая, уже хорошо известны в науке своими исследованиями в области этимологии, славянского, индоевропейского языкознания. Докторская диссертация М. Сноя посвящена проблеме развития праслав. *z* из индоевропейского *s* в свете последних достижений акцентологии; в сферу его научных интересов входят албанский язык, вопросы славянской акцентологии[1]. М. Фурлан подготовила и защитила в качестве докторской диссертации исследование по хеттскому языку[2]. Широкая индоевропейская подготовка определяет во многом направление и подход авторов к решению задач славянской этимологии. Словарь создавался в атмосфере творческого общения, в обсуждении этимологически трудных случаев принимала участие А. Шивиц-Дулар, которая в начале своего творческого пути, сразу после окончания Университета, некоторое время работала в словаре Безлая. Ей принадлежит большое интересное исследование, посвященное реконструкции этимологического гнезда с корнем *god-* в славянских языках[3]. В кратком предисловии к третьему тому М. Фурлан и М. Сной приносят глубокую благодарность своим великим учителям. На титульном листе акад. Ф. Безлай обозначен как основной автор словаря, и в этом проявление глубокого уважения к выдающемуся ученому, так много сделавшему для историко-этимологического изучения словенского языка, хотя справедливости ради нельзя не отметить, что в III томе бóльшая

часть словарных статей написана учениками академика. По желанию акад. Безлая статьи, написанные его учениками, отмечены начальными буквами имени и фамилии, т.е. M. S. и M.F. Сохраняя в неизменном виде статьи, составленные Ф. Безлаем, авторы сочли возможным внести в отдельных случаях уточнения и дополнения, вся дополнительная информация дается в конце словарной статьи и заключена в квадратные скобки.

Словарь Ф. Безлая занимает особое место в кругу славянских этимологических словарей. Концептуально он ближе всего стоит к словарю Махека. Составители словаря принадлежат к одной школе, органично сочетающей в себе традиции классического языкознания с новыми подходами, предопределенными в значительной степени пониманием задач этимологии и общей концепцией праславянского языка. Решение конкретных этимологических задач тесно связано с пониманием узловых проблем сравнительной грамматики славянских языков, с представлениями о развитии во времени и в пространстве системы праславянского языка. В работах словенских этимологов праславянский язык предстает как статичная система, в известном смысле лишенная своей внутренней истории, организованная по моделям индоевропейского праязыка, отсюда ориентация на исследование и реконструкцию исходной системы праславянского на самом начальном этапе развития. Морфологическая, словообразовательная, семантическая структура праславянского оценивается с позиции индоевропейского праязыка. И хотя там, где это оказывается возможным, делаются попытки проследить историю слова, определить состав и структуру лексико-семантических единиц собственно праславянского времени, все-таки в центре внимания исследователей остается другая проблема – отражение в структуре и семантике словенского и шире – славянских языков индоевропейского наследия. Именно эта проблема вынесена на первый план. И такой подход дает свои положительные результаты: взгляд из глубины, поиски индоевропейского наследия создают необходимые предпосылки для решения проблемы стратификации словаря, восстановления древнейшего пласта праславянского словаря. Индоевропейская направленность словаря – это то, что принципиально отличает анализируемый словарь от "Этимологического словаря польского языка" Ф. Славского с характерным для него первостепенным вниманием именно к праславянскому прошлому польского языка. Восстановление состава и структуры той части словаря, которая сложилась в *праславянскую* эпоху, входит в число первоочередных задач московского и краковского словарей.

Опубликованный том представляет собой вполне самостоятельное, оригинальное исследование, которое, не нарушая общего замысла, углубляет и развивает традиции словенской этимологии и вместе с тем несет на себе печать авторской индивидуальности. На новом витке развития этимологии то направление в науке, которое связано с именами К. Оштира, Б. Чопа, Ф. Безлая, обогатилось новыми идеями, новыми приемами анализа, получило дальнейшее развитие в работах их учеников. Этимологический словарь представляет собой сложное многоаспектное исследование, в котором одинаково важны и концептуально значимы все составляющие ретроспективного анализа: собственно лексический материал, организация этого материала в пределах словарной статьи, приемы анализа, определение круга родственных образований и восстановление исходной формы, генетических истоков слова в том или ином лексическом гнезде и т.п. Исходная форма определяется в терминах праславянской реконструкции. Восстанавливая исходные формы с ориентацией на начальный период развития праславянского языка, авторы в противоречии с этим принципом и вразрез с существующей установкой на воспроизведение в транскрипции фонемного и морфемного состава слова дают, как правило, реконструкции с упрощением сочетаний *gt'*, *kt'* > *t'*. В основном это касается реконструкции инфинитивов с основой на взрывной: ср. **pręti* < **pręg-ti*, **prat'i* < **prag-ti*, **velt'i* < **velk-ti*, но **strig-ti* и т.п., а также **plet'e* < **plek-t-*)[4]. В соответствии с сочетаниями *tj*, *dj*, результаты палатализации которых определились по-разному в славянских языках, восстанавливаются палатальные *t'*, *d'*: ср. **ryd'ь*.

Третий том, равный по объему первым двум томам, вместе взятым, представляет словенскую лексику с начальными *p-*, *r-*, *s-*. Следуя традиции, авторы оставляют неизменной структуру словарной статьи, в которой четко разделены две зоны: собственно лексическая, представляющая исследуемый материал в полном объеме, и этимоло-

гическая, на которую приходится основная часть объема словарной статьи. Словарную статью завершают отсылки, отсылочные слова, которые дают представление о родственных связях в словенском словаре. В исследуемом отрезке словаря много префиксальных образований (преф. *s-*, *raz-*). В ходе анализа этих образований авторы нередко обращаются к выяснению этимологии исходной основы, относящейся к последующим буквам алфавита (см. *vȍj*, *vója*, 'Leitseil' s. v. *povôdec*), а в ряде случаев возвращаются к предыдущему отрезку словаря, внося свои уточнения, дополнения в этимологии первых двух томов (ср. *predel* 'Scheidewand, Abteilung' ~ слав. **dělь; blázen ~ sóblazen < blázen*; *sódrga* ~ слав. **derga*; *razbôta* ~ слав. **botati*; *razdẽžiti* ~ слав. **dęgati* и др.).

Статью открывает заглавное слово в окружении близкородственных образований, почерпнутых из диалектов, старых и новых словарей. В круг источников по словенской лексике, помимо словаря Плетершника, включены старые словари Хиполита, Кастельца, урбарии и т.п., недавно опубликованные диалектные словари Новака, Карничара, материалы по исторической топонимии, рукописные словари (ср. словарь Кенды). Обращает на себя внимание основательность и надежность сведений по истории, географии слов. Более последовательно, чем в предыдущих томах, исследуются все исторические записи слова, представленность слова во всех лексикографических источниках, прослеживаются пути миграции, формы бытования словенского слова в соседних немецких диалектах (ср. словен. *pógrad* 'застланное соломой, сколоченное из досок ложе' и бавар. *Bōgrád*, каринт. нем. *Pograden* и т.п.). Вносятся поправки в написание слова (ср. *snegúr* 'Turdus saxatilis' вместо приводимого Эрьявцем *slegúr*), в процессе текстологического анализа уточняется значение слова (ср. *slobôst*). Наряду с апеллативами в словаре найдем большой пласт топонимических названий, а также собственных имен (ср. *Perun, Perhtra, Pŕrniče, Prédoslje, Slop, Sneberje, Smrje, Smrjene, Stroma* и др.), причем одни топонимы имеют самостоятельные позиции в словаре, а другие приводятся в составе этимологического гнезда, что помогает не только расширить материальную базу исследования, но и прояснить внутреннюю форму топонимического названия (ср. *Peričnik, Peračica*, названия водопадов, в составе гнезда словен. *práti* 'lavare').

Словник чрезвычайно богат. В словаре немало слов, не зафиксированных Плетершником: ср. *peski* 'молодые побеги чеснока' (Истрия), горенск. *pȯ́j* нареч. 'потом' < **po* + **je*, нареч. *pojmeni* 'nämlich, scilicet' < **po jьmeni*, далее к **jьmę* (Megiser), диал. (Изола и др.) нареч. *pónjer* 'postquam' < **po-n'e-že, ponudiga* 'бродяга; тунеядец; навязчивый человек' к *ponuditi* (Hipolit), *poproža* бот. 'мальва' < ср.-в.-нем. **papel-rôse* (Gutsmann), диал. (Крас) *poréd* 'оставленное поле' < **rędъ*, рожан. *pȍ̃žnjak* 'луг, который скашивается поздно и только один раз' < **po-žьn'akь*, далее к **žęti, žьn'ǫ* 'жать', *premsati* 'штрафовать' (Pohlin, Trubar), *presȗčnica* 'praputium' (Hipolit) ~ *presúkati, presúkniti* 'durch eine Drehung anders wenden', диал. *pretaknjen* 'худой', *prstjȅn* 'неприятный, противный' (SSKJ), **pristren* 'крутой' (Hipolit), *protje* 'сумасшедший дом, Tollhaus' (Hipolit), **prijatje* 'место жительства' (Alasia), *procke* 'кошки (шипы на подошвах), сплетенные из тонких прутьев' (Vaĺvasor), прекмур. *rȃča* 'сеть для ловли раков' (Novak), рожан. *račlátə* 'болтать', диал. (Ribnica na Pohorju) *ramica* 'таможенная пошлина', прекмур. *reklàti se* 'откашливаться', *rene* 'мотовило' (Cigale), прекмур. *ridža* 'глупец, болван', зильск. *rohljati* 'моросить', черноврш. *sadrin* 'град, напоминающий соль', *seja* 'вид рыболовной сети' (только в урбариях с 1584 г.), *sežem* 'сажень' (Miklosich, Murko), белокран. *skutniti se* 'потемнеть (о небе)', *slápič* 'граница между полями', стар. *smet* 'вид налога', 'название земли' (1523 г.), *snipor* 'Heuicht' (Miklosich, Murko), прекмур. *somen* 'высокий, статный', рожан. *sóri* 'вол рыжей масти', диал. (примор., толмин.) *sobra* 'пшено', *spreȇp* 'место для сена в сарае' (*~lepiti*) (Valjavec, Cigale), *spuvu* 'всегда, постоянно' (Gutsmann, Šašel), *slonou rulez* 'Rüssel' (Gutsmann), которое можно было бы соотнести с лтш. *raûklis* 'скребок' (Фасмер III, 528) и т.д. И хотя словник с максимальной полнотой представляет лексику словенского языка, все же можно отметить отдельные досадные пропуски. В словник не вошло интересное своим вокализмом (продление ступени редукции) словен. *pȋr* 'гниль', *pȋrav* 'гнилой' ~ *peréti* 'гнить, преть, тлеть' (Pleteršnik II, 38), отсутствует архаичное производное с суф. *-tь sesutína* 'мусор'[5], не отмечены слова *prozor* 'окно' (Kastelec-Vorenc), диал. *pralo* 'яма, в которой стирают женщины', *ružiti* 'стучать, греметь, грохотать', *rȗžiti* то же[6] и др.

При сохранении прежней концепции, положенной в основу первых двух томов, словарь несет в себе много нового. Акад. Ф. Безлай видел свою задачу в том, чтобы в трудных случаях показать многомерность этимологического пространства, всем ходом рассуждений он лишь в самом общем виде намечал решение, допуская как одно из возможных включение слова в тот или иной ряд родственных отношений. Авторы не ограничиваются критическим аннотированием и реферативным обзором существующих этимологических версий, они стремятся к большей определенности, конкретности, предлагают свои, во многом оригинальные решения. Можно говорить об определенной эволюции III тома словаря в сторону более углубленной, детальной разработки индоевропейских истоков славянского слова, расширения приемов анализа, большей строгости и доказательности. При обосновании этимологии авторы опираются на действующие в славянских языках и индоевропейском праязыке словообразовательные модели, широко используют опыт семантической типологии (ср. семантическое обоснование связи гл. *_pozabyti_ и *_byti_). В настоящем томе, в отличие от предыдущих, лишь в редких случаях слова объясняются на основе контаминации (ср. _slâtina_, _smotláka_). Структура слова оценивается с позиции индоевропейского, количественные отношения корневого вокализма объясняются при помощи _ларингального_. В круг научных интересов составителей словаря входят вопросы славянской акцентологии. Ударению отводится роль важного критерия при реконструкции исходной основы, словообразовательных отношений (ср. *_smě̂chъ_: *_smьja˝ti sę_, но *_smě̌chъ_: *_smě̌-cha˝-ti_,*_smo˝rdъ_: *_smo˝rditi_ и *_smôrdъ_ ~ лтш. _smar̃ds_, _smārds_ 'запах, дух'). Последовательная реконструция древних акцентных отношений составляет отличительную особенность словаря.

В соответствии с общей концепцией словаря авторы стремятся дать более углубленую разработку индоевропейских истоков слова. В ряде случаев авторам удается расширить состав индоевропейских соответствий за счет привлечения нового материала, при этом особое внимание уделяется показаниям хеттского, тохарского, албанского и других языков. Особенно подробно исследуются отношения с балтийскими языками, близким по форме и значению словам балтийских языков отводится первое место в ряду индоевропейских соответствий. Более того, наблюдается тенденция свести к единой линии развития, восстановить общие процессы, общие правила, регулирующие образование глагольных и именных основ. Ставится как бы знак равенства между этими системами, недостающие звенья в славянской глагольной системе восстанавливаются по данным балтийских языков. Из анализа материала вытекает, что авторы признают системы генетически тождественными, более того, определяющей для этимологических поисков является идея производности праславянского от балтийского праязыка. В ходе анализа акцент делается на различиях в структуре индоевропейской корневой морфемы, при этом подробно прослеживается, в каких направлениях шло преобразование исходной основы в разных группах индоевропейских языков. В качестве единицы исследования выступает морфема минимальной длины. Когда оперируют минимальными величинами, всевозможными комбинациями, состоящим из двух, трех-четырех элементов, включая ларингальный, открывается большой простор для самых неожиданных сближений весьма далеких образований. Такой чисто формальный подход лишает реконструкцию реальности, переводит ее в область абстрактных отношений, где действует единственный критерий достоверности – чистота, строгость процедурного анализа, проводимого в соответствии с теми правилами, которые принимаются самим автором за аксиому. На чисто корневом уровне постулируется связь весьма удаленных друг от друга слов. Примером широкого использования сочетаемостных возможностей корня минимальной длины с различными расширителями может служить гнездо с и.-е. корнем *_er-_, *_erə-_, *_erH-_ 'разделять, быть отдельным, редким, просторным', который, по мнению авторов, находит отражение в слав. *_-oriti_ (ср. рус. _разорить_), *_rědъkъ_ < *_reH-_ (ср. также Pokorny I, 332–333; Fraenkel 16–61), а также в словен. _ramica_, соотносимом с др.-рус. _рама_ 'граница, пашня, примыкающая к лугу' (< *_ormy_, *_orma_ 'граница (=поле или лес)' < *_orH-men-_, *_órH-mā_), хетт. _arha-_ 'граница' < *_érHā/o-_, _irha_ 'ряд, ограничение' < *_ērHa/ā_, _irma_(_n_) 'болезнь' < *_érH-me`n_, др.-инд. _īrmā_ 'рана' < *_r̥H-mo-_. Усилия исследователей направлены на поиски архаичных структур, построенных по моделям, действовавшим еще в индоевропейскую эпоху. С позиции индоевропейского толкуется структура праслав. *_stânъ_ (: *_stati_), старой основы на _-u_, традиционно сопоставляемой с др.-инд. _sthāna-_

'место, место пребывания', авест., др.-перс. *stāna-* 'стойка, место, стойло' и др. (Фасмер III, 745). Принимая во внимание ударение (циркумфлекс), а также различия основообразующих показателей, авторы приходят к мысли о том, что можно провести аналогию между слав. **stânъ* и образованиями типа др.-инд. *kṣepnú-* 'поспешность', *blānú-* 'свет, блеск, вид', авест. *tafnu-* 'жара', существительные этого типа связаны с прилагательными на *-nu-* типа **dhr̥s-nu-* и основами наст. вр. на назальный. В этом ряду отношение слав. **stanǫ*: **stanъ* приравнивается к отношению др.-инд. *rinā́ti* 'скатать, пролить': *renú-* 'пыль'. Исходя из системы индоевропейских отношений, авторы объясняют словообразовательную структуру слов, сложившихся на почве праславянского. Так, словен. *spelude* 'grinte', узколокальное и относительно позднее образование, связанное отношением производности с гл. *pléti, plévem* 'полоть', в словаре толкуется как производное с суф. *-dь* от и.-е. **pel(H)u-*, мн. ч. **-oues* 'мука, пыль'. Другой пример – словен. *rédos* 'большое решето для просеивания муки'. Представленные в диалектах синонимы типа *redoséja, redkoséja, redesēja* как будто бы дают основание видеть в словен. *rédos* усеченную форму, но авторы отдают предпочтение другому объяснению – из и.-е. сложения **rēdo-sHo-s*, вторая часть которого из и.-е. **seH-* 'percribrare' с вокализмом в нулевой ступени. Едва ли оправдано выведение слав. **rězьkъ*, соотносительного с гл. **rězati*, непосредственно из и.-е. **u̯rēg'u-*. Некорректно, исходя из и.-е. **saln-ēi̯H-nā*, объяснять праслав. **solnina* (s. v. *slanína*), имеющее все признаки собственно славянского образования, произведенного по активной модели при помощи суф. *-ina* от прилаг. **solnъ* 'соленый'. Минуя обязательную ступень внутриславянского анализа, авторы прямо соотносят слав. **periti* < **perti* (ср. словен. *périti* 'вставлять зубья в щетку, грабли', 'вставлять спицы в колесо') с греч. πείρω 'прорываюсь, проникаю', πόρος 'проход', гот. *faran* < и.-е. **per(H)-* 'перевезти, переправить'. Представляется спорной трактовка на и.-е. уровне праслав. **palь* 'черпак' (ср. словен. *pálj*, хорв. чак. *pālj* и т.д.), которое трактуется как продолжение и.-е. **pōlHi̯o-* и связывается родством с хетт. DUG*palhi-* 'котел', др.-инд. *pārī* 'ведро для молока', *pāli-, pālikā-* 'горшок' < и.-е. **pōlHi-/ *pelH-* 'лить, наливать, встряхивать'. И сближения с древними языками выглядят весьма эффектно, но при этом осталась неопровергнутой этимология Майрхофера, согласно которой др.-инд. слова родственны лат. *pēlvis* 'Becken, Schüssel', англ. *full* 'Becher' и др., т.е. принадлежат другому гнезду (Mayrhofer II, 260, 262; Pokorny I, 804). Между тем допустимо истолкование старого ю.-слав. диалектизма в гнезде слав. **polti, poljǫ* (словен. *pláti* 'вычерпывать, веять', *pòl* 'черпак') на основе собственно славянских апофонических отношений.

Для праславянского языка восстанавливается большое число генетических омонимов. Семантический принцип, а точнее расхождения в семантике формально близких слов, положен в основу реконструкции праславянских омонимов. Современная этимология не ограничивается диахронической идентификацией форм соотносимых слов. Историческое тождество слова основано на учете исторической эволюции формы и значения слова. К использованию семантического критерия в этимологии уже давно наметились разные подходы. В словаре В. Махека, а вслед за ним и в работах словенских этимологов значение понимается как некая статичная величина. Родственными признаются слова с близкими или совпадающими значениями, даже если весьма велики формальные различия, отклонения в форме, для объяснения которых прибегают к фонетическим изменениям и преобразованиям нерегулярного характера. Проблема омонимов относится к числу сложнейших в славянской и индоевропейской этимологии. Омонимы возникают под влиянием разных факторов в разное время. Необходима мобилизация всех ресурсов, чтобы выяснить: 1. не является ли формальное тождество результатом определенных фонетических процессов, актов словообразования и т.п., 2). не являются ли омонимы результатом семантической дивергенции[7]. Прогресс в этимологии в ряде случаев стал возможен благодаря семантике. В работах Э. Бенвениста[8], О.Н. Трубачева[9], Б. Егерса и других ученых получили обоснование специальные критерии семантического анализа, установления исторического тождества в семантике. Семантический анализ должен предварять поиски индоевропейских соответствий. Изменение значений во времени и историческая идентификация значений и, таким образом, восстановление диахронических тождеств – условия, обязательные для этимологического анализа. Слово, функцио-

нирующее в системе определенных семантических отношений, живет в контексте, здесь оно подвергается различным сдвигам, выявление всех случаев контекстного переосмысления помогает понять, как шло формирование смысловой структуры слова. В процессе сложных семантических преобразований отдельные значения начинают жить самостоятельной жизнью, мотивируют последующие изменения. В значении закреплен результат длительной эволюции слова. В конечном итоге надежность этимологии напрямую зависит от полноты материала и от того, насколько успешно удалось выявить в семантической структуре слова архаичные элементы, помогающие определить исходную и последующие ступени семантических преобразований. Поэтому особое значение приобретает достоверность семантической реконструкции. Привлекаемые в словаре примеры из области семантической типологии могут служить дополнительным аргументом при выборе того или иного этимологического решения лишь при условии предварительно проведенного внутриславянского анализа.

Статичный подход к семантике, невнимание к внутриславянским семантическим процессам неизбежно приводит к неверным выводам о характере отношений лексем, утративших в силу разных причин тождество значений. В ряде случаев определяются как омонимы слова, имеющие общие генетические истоки. Так, видимо, излишне предположение о совпадении в праслав. **čelo* двух основ – **čelo* 'frons' и **čeliti* = греч. τέλος 'стадо, рота, отряд' < *k^{u}*el-os* (ср. словен. *čéliti* 'гладко обрезать (нижний конец снопа)', прекмур. **čeľiti* 'обмолотить верхушку снопа', абстр. **čeloba* 'чистота (о хлебном зерне)', в.-луж. **čelić* 'полировать, начищать до блеска'), семантические различия не столь велики, особенно если принять во внимание, что глагол обозначает действие, направленное на ту часть предмета, которая выделяется, возвышается, ср. еще рус. диал. *челить ворох* 'разделывать (делить) на чело и озадок или охвостье' (ЭССЯ 4, 39). Нельзя признать обоснованным разделение **piti I* 'bibere' и **piti II* 'мучить, грызть, болеть'. Примеры типа русск. *пить кровь*, словен. *izpiti komu kri* 'уничтожить', болг. *пие ме* 'сильно болит внутри' и т.п. скорее говорят о метафорическом переосмыслении семантики гл. **piti* 'пить'. Также трудно согласиться с реконструкцией для праславянского языка омонимов **plesti I* 'плести' (~ др.-в.-нем. *flehtan*, лат. *plectere* 'плести' и др.) и **plesti II* 'говорить, лгать' < *(*s*)*pel-* 'говорить восторженно' (~ лит. *plèpti, plepiù* 'лгать', лтш. *plepêt* то же) с разными рядами индоевропейских соответствий. Вполне понятен и, как нам кажется, не требует особых доказательств переход от значения 'плести' > 'плести, вести разговор' > 'сплетни'. Нет оснований предполагать разное происхождение для словен. *rázbor* I 'различие' и *rázbor* II 'пробор в волосах' с выведением последнего из и.-е. **orz-órъ* (> словен. *razȍr* 'sulcus'). В пользу этимологического тождества этих образований говорят рус. *про-бóр* 'раздел волос на две стороны', *пробрáть голову, волосы* 'сделать пробор, расчесать дорожку', семантически мотивированные гл. *пробрать* в значении 'прополоть, прочистить от сорной травы; проредить, выбрать лишнее' (Даль^2 III, 468). Вслед за Скоком (Skok III, 231–232) авторы принимают для индоевропейского омонимы **seH-* 'сеять' (слав. **sě-ja-ti*) и **seH-* 'percribare' (ср. слав. **sito*) и пытаются разграничить продолжения этих основ в славянском материале, что едва ли оправано (ср. Фасмер III, 615). Разные истоки восстанавливаются для слав. **pьrxъ*/ **porxъ* (словен. *prh* 'пыль', 'пепел', 'плесень', 'рыхлая земля' и *prâh* 'pulvis') < и.-е. **pers-*/ **porso-* 'моросить' и гл. **pъrxati*/ **porxati* (словен. *pŕhati* 'порхать', 'бежать', рус. *порхать*). Глагол соотносится со словен. *pirač*, рус. *летучая мышь*, кашуб. *šqtopéř* то же и объясняется как *-s-* интенсив от *pьrati, perq* 'лететь'. Включение в это гнездо названий летучей мыши вызывает большие сомнения. Из всех известных толкований этих названий наиболее вероятными представляются версии, которые объясняют слав. **qpyrь* как сложение **q-* + **pirь* 'наверх вылетающий' (Фасмер^2 IV, 858–859: Дополнения О.Н. Трубачева) или сближают разнообразные обозначения (слав. *qpyrь*, русск. *нетопырь* и т.п.) со слав. **pyrь* 'огонь'[10]. Индоевропейскими сближениями, отобранными в первую очередь по семантическому принципу, часто определяется направление поисков этимологического решения и само решение. Так, небольшие различия в семантике слав. **ruxati*, **rušiti* служат основанием для разграничения и.-е. соответствий и реконструкции омонимов: **rusti* 'двигать' (словен. *rúhati* 'двигать, сотрясать', *rúhati se* 'моросить', укр. *рýшити* 'двигать, шевелить', а также слав. **rychlъ*) ~ лит. *rusė́ti* 'двигаться, передвигаться', *rusénti* 'бежать, мчаться', *rusnóti* 'струиться, моросить; семенить', швед. *rūsa* 'бушевать,

спешить' < и.-е. *(e)reu̯- 'быстро двигать, передвигать', сюда же лат. ruō, -ere 'спешить, двигаться вниз, течь, лить' и др. (Pokorny I, 331) и *rus-ti 'рыть, рушить, дробить, толочь, резать' (словен. rušiti 'разрушать, уничтожать', рус. рушить, ст.-чеш. rušiti 'уничтожить' и т.д.) ~ лит. raũsti, rausiù, -siaũ 'рыть, копаться', лтш. ràust, raušu, -su 'рыть, рыться, копаться, тереть, чистить' < и.-е. *rou̯-s- < *reu̯(H)- 'рыть, разрушать, ломать' (> праслав. **ruti, ruješ 'рыть' ~ лит. ráuti, ráuju 'рвать, теребить, корчевать'). Границы выделяемых гнезд расплывчаты и неопределенны, не случайно по существу одни и те же слова (ср. рус., укр. рушити) оказываются включенными в разные ряды соответствий. В предлагаемом истолковании не учитываются возможности семантических преобразований в рамках гнезда с корнем *rou- (слав. *ryti, *rъvati). Восстановление для праславянского омонимов pŕga I 'вид кукурузной лепешки', 'мука из сушеных фруктов' и pŕga II 'экскременты козы или овцы', 'выжимки', 'семена' во многом основано на признании непрерывности и неизменности значения, сохранении этого значения разными языками в историческое время. Слав. *pьŕga I (др.-рус. перга 'недозрелые и подсушенные (или жареные) хлебные зерна', с.-хорв. pȑga 'вид еды и мука, из которой приготовлена еда' и т.д.) с восстанавливаемым значением 'то, что сухо, пусто' (~ лит. spirgas 'шкварка') возводится к основе с вокализмом в нулевой ступени *(s)pr̥Hg(h)-: *(s)praHg(h)- 'быть сухим' (слав. *pragti, лит. spirgti 'печь, жарить'). Ориентиром в поисках индоевропейских истоков для *pьrga II служат лит. spirà 'экскременты мелкого скота', лтш. spiras то же и 'крупный серый горох', греч. σφυράς, σπυρας 'экскременты', σπυράδες 'шарик' < и.-е. *(s)p(h)er- 'мелкие экскременты, имеющие форму шариков', та же основа с расширителем gh- находит отражение в праславянском. Нет непреодолимой преграды между значениями слав. *pьrga I и II. Можно думать, что все разнообразие семантики мотивировано признаком 'нечто мелкое', поэтому остается неопровергнутой старая этимология, нашедшая отражение в словаре Фасмера (Фасмер III, 235). В качестве семантической параллели можно привести с.-хорв. диал. прах 'козий помет, навоз'[11]. Также представляется необоснованным выведение словен. pŕgast 'пестрый' из *pryga 'пятнышко, полоса' (~ рус. прыгать). Место этого образования в гнезде слав. *pьrga, первонач. 'пятнистый'. В приведенных примерах, как и во многих других случаях, речь может идти только о семантических омонимах, имеющих общие генетические истоки.

Необходимо отметить, что авторы, следуя семантическому принципу, в некоторых случаях вносят свои коррективы в уже устоявшиеся взгляды на связи индоевропейских основ. Так, в полном соответствии с принципом семантического тождества в ряду ближайших и.-е. соответствий слав. *pročь (< и.-е. *pro-ko-s < *pro- 'вперед, прочь') оказываются авест. fraka 'вперед, прочь', a-fraka-tak 'тот, кто не убежит от страха', лат. procul 'далеко, вдали' (< *pro-co-li), ср.-в.-нем. vort 'fort', слова, по своей семантике ближе всего стоящие к исследуемому слову, а традиционно принимаемым словарями сближением с греч. πρόκα 'тотчас, вдруг', др.-лат. род. мн. procum 'глава', лат. procerēs, -um мн. 'родоначальники' по причине удаленности значения отводится более второстепенная роль.

Одна из задач, решаемых словарем, состоит в том, чтобы выявить древнее, индоевропейское наследие в словенском словаре. В центре внимания изолированные лексические архаизмы с родственными связями только на индоевропейском уровне. В словаре немало слов, которым отведен статус изолированных образований в славянском словаре (ср. sot). Однако статус слова во многом зависит от этимологического истолкования. В качестве примера можно привести словен. spŕželj 'насекомое' < *sprъž-elь, сближаемое с лит. sprìgis 'щелк, щелчок', sprìgė 'Impatiens noli tangere', лтш. spridzîgs, sprigans 'быстрый, проворный'. Но не исключено, что обозначение насекомого сложилось на основе переосмысления prga 'пыль', т.е. 'нечто незначительное, очень маленькое' > 'насекомое' и связано отношением производности с гл. spržéti 'превратиться в пыль'. Семантика требует более гибкого подхода. В словен. solina 'навоз', solíniti 'удобрять, унавоживать', отнесенном к изолированным образованиям, авторы видят реликт и.-е. *sal- 'нечистота, грязь' (> лит. salti, salstù, saltaũ 'стать грязным, нечистым', арм. alt 'грязь', алб. alb 'экскременты', хетт. šalpa-, šalpi- то же и т.д.). Восстановить историческую преемственность значений помогает с.-хорв. солило 'место, где солится трава для скота' (Толстой[2] 894), непосредственно мотивированное исходным значением 'соль'.

Определяя генетические истоки словенской лексики, авторы опираются на имеющиеся этимологические разработки: в одних случаях принимается то или иное из известных толкований, в других делаются попытки развить и углубить одну из версий (ср. *stláti* < **stьlati* ~ лтш. *tilât* 'быть расстеленным, о льне, конопле', *tilêt* 'белить лен', лат. *lātus* 'широкий' < и.-е. **(s)telH-* 'простирать'; *př̑t* 'кусок ткани' ~ лит. *spartas* 'завязка', греч. σπάρτος 'растение, используемое для изготовления веревок', арм. *p^c arem* 'опоясать' и др.). В этимологически трудных случаях рассматриваются возможности разных подходов и оценивается их вероятность с учетом общих закономерностей. Многие словенские слова этимологизируются впервые. Трудности этимологизации словенской лексики сопряжены с тем, что в многочисленных диалектах слово претерпевает сложные фонетические преобразования, которые приводят к затемнению изначальной формы. Во многих случаях восстановление внутренней формы слова требует не только знаний в области словенской диалектологии, но и догадки, остроумия, неординарного подхода. Авторам удается найти достаточно вероятные толкования для многих так называемых темных слов. Так, с учетом сложной диалектной фонетики предлагается объяснение словен. *pȇjca* 'яма, пещера' из **pȇčca* < **pécica*, ум. к *pȇča*. Представляются вероятными предлагаемые авторами объяснения в следующих случаях: гл. *pogníti* 'искривить, изогнуть' и тесно связанные с ним имя *zapôga* 'сгиб', а также топ. *Zapóge* < **za-pogъb-*; *pòrta* 'ливень, дождь' из **po-vьrtā̃*, ср. с.-хорв. диал. *vr̃nuti* 'падать (о дожде, снеге)'; диал. *pŕda* 'одежда, которую несут за невестой в день свадьбы' < **pridь* 'то, что прибавляется, добавок, польза'; штир. *premȃček* 'маленькое ведро' < *prejemač*, далее к гл. *pre-jêmati* *'перекладывать'; *prstjen* 'неприятный, противный' < **pri-stъdènъ*, далее к **studiti*; *razvica* 'Benedictenkraut; Geum' < **raz-vitica*, далее к **viti*; *remènka* 'писанка' < **rumenъka*, далее к **ruměnъ* 'румяный'; *ruska* 'ягода' (Alasia) < *truska*; **streva* 'послед' < **jьz-terba* и др. Для словен. *platíti se* в значении 'быть очарованным, околдованным' и связанному с ним *plâtek* 'порча, сглаз', 'место в поле, где ведьмы сжигают мусор, солому и т.п.' предлагается интересная идея, к сожалению, до конца не разработанная, о возможном родстве с гл. **plesti*. Вполне убедительно обосновывается идея об исконном происхождении словен. *praha* 'Brachfeld, Brache'. Авторы вводят словенское слово в круг ближайших ю.-слав. образований (с.-хорв. *pràhati* 'пахать', *praha* 'вид рала', макед. *praši* 'рыхлить, окапывать виноградную лозу' (из нар. песни), болг. диал. *прáшим* 'рыхлить землю', 'перекапывать гряды' и т.п.) и показывают, что предположение о заимствовании носит необязательный характер, вполне возможно образование земледельческого термина от глагола **porchati* 'пахать, окапывать' < **porchъ*. Как одно из отражений основы **luk-*, **lučь* < и.-е. **leuk-* 'светить' (ср. словен. *lúkati* 'смотреть, выслеживать', с.-хорв. *lȕkati* 'смотреть, гдядеть' и др. – ЭССЯ 16, 1700) и 'смотреть, глядеть' рассматривается словен. *preluka* 'pharos, portus'. Заслуживает внимания предположение о родстве словен. *senki* 'abortus, послед после родов' со ст.-чеш. *ksenci* 'мальки жаб, рыб', польск. *ksieniec* 'съедобные внутренности рыбы' и т.п. (< **kъsenьci*; см. об этой лексической группе ЭССЯ 13, 245). На наш взгляд, найден верный путь к пониманию внутренней формы словен. *spolik* 'мелкие, незрелые зерна', которое вместе со словен. *izpôljek* 'плохой хлеб' (~ рус. диал. *спóлина* 'лузга, шелуха') соотносится с гл. **jьz-polti*, только заметим, что словен. *spolik* содержит суф. *-ika*, а не *-yka*. Детальную разработку на широком славянском фоне с анализом всех возможных вариантов получает в словаре словен. *práprot* 'filix'. В словаре предпринята попытка обосновать этимологическое тождество слав. **pravь* и **pьrvъ* 'primus' < и.-е. прилаг. **prōu̯o-s*: **pr̄u̯o-s* с суф. *-o-* (типа **per* 'перед' > прилаг. **per-o-s* 'прежний, отдаленный') с дальнейшим преобразованием форм парадигмы: сущ. им. **pr-ou̯-* м., ж. р. 'что относится к передней стороне', вин. **pr-ou̯-m/m*, род. **pr-u̯-es*. Этимологически трудное слав. **pьrstь* (s. v. *prst* 'digitus') (ср. Фасмер III, 244) толкуется на индоевропейском уровне как сложение дух основ **pr-* 'находящийся впереди' (к **per-*) + **staH-* 'стать'.

Естественно, любая словарная статья, любой этимологический этюд заслуживает самого внимательного изучения, более того, может и даже должен стать предметом специального анализа. По причине краткости рецензии мы не можем дать подробный разбор всего лексического материала, включенного в словарь. Этимологические этюды, разработанные авторами, построены на большом материале, содержат много интересных идей. Новый материал и несколько иной подход к оценке материала открывают новые

перспективы в этимологическом изучении слова или позволяют просто внести некоторые коррективы в уже известные решения. Этимология, оставаясь гипотезой более или менее вероятной, дает богатый материал для размышлений и тем самым стимулирует более углубленное изучение разных аспектов сравнительной грамматики славянских языков, помогает мобилизовать имеющиеся средства для переоценки или, наоборот, подтверждения, всестороннего обоснования того или иного решения. Остановимся лишь на некоторых этимологических решениях, которые по каким-то причинам вызывают наше несогласие или желание вступить в дискуссию по некоторым вопросам.

páglavec 'головастик; карапуз, шалун' ~ хорв. диал. *pulóglavac,* польск. *pałgłowiec* и т.п. < **palo-golvьcь;* для первой части восстанавливается и.-е. **pōlo-* 'вздутый, толстый, большой' (словен. диал. *pála* 'утолщение на нити'). По всей видимости, эти образования следует разделить. Словен. *páglavec* имеет другую структуру: это – сложение архаичного преф. **pa-* и имени **golva.* Точные соответствия находим в рус. диал. (яросл., моск., влад.) *пáголовка, пáголовица* 'головастик' (СРНГ 25, 114–115).

-páliti 'толочь, бить' (в сложении с преф.: *opáliti koga po hrbtu, pripáliti*) вместе с с.-хорв. *opáliti* 'ударить, дать пощечину', чеш. *napáliti* 'ударить', рус. диал. *запалúть* в том же значении и т.п., вслед за Махеком (Machek[2] 430) в соответствии с принципом обязательности семантического тождества соотносимых основ, объясняется как родственное др.-инд. *(ā)-sphālayati* 'толочь, бить' и 'расщеплять' и возводится к и.-е. **(s)p(h)el-* 'бить, расщеплять'. Между тем существует большая вероятность того, что семантика этого глагола вторична, она явилась результатом переосмысления, метафорического употребления гл. **paliti* 'жечь'. Аналогичное развитие наблюдается в рус. диал. *палúть*, которое употребляется в значении 'печь', 'обжечь огнем, опалить' и служит обозначением действия, выполняемого с особой силой, азартом (СРНГ 25, 171): *запалúть* 'производить удар по чему-л.' (сев.-двин.), 'наносить удар во что-л. (в ухо и т.п.)' (пск., вят., смол.), 'убить из ружья' (олон.) (СРНГ 10, 300), *опалúть* 'обжигать на огне', 'печь' и 'поразить, ударить молнией' (арх. и др.) (СРНГ 23, 231).

pámetiva 'день поминовения невинных детей (28. XII)' < **pa-met-* 'драка', далее к гл. *mesti* (ср. словен. *mȅt* 'Ringen, Rauserei', *pomésti koga* 'бросить на землю'). В пользу приводимой в этой же словарной статье старой этимологии, сближения с ц.-слав. *pamętivь* 'о том, кто хорошо помнит' говорит русск. диал. *пáмять* в значении 'праздник в честь чего-л.' (СРНГ 25, 190).

pâra 'дьявол, черт' ~ польск. *parać* 'делать зло', слвц., чеш. диал. *paratit'* 'бушевать, резвиться' ~ др.-норв. *fār* 'гнев, ярость' < и.-е. **per-* 'рисковать; опасность' (Pokorny I, 818). В словаре отклоняется идея Миклошича о связи с *pâra* 'пар; духота' (Miklosich 231). В пользу этой идеи говорит как будто бы тот факт, что в славянской мифологии многие демонологические существа принимают облик *пара,* дыма, воздушного столба, ветра и т.п.[12].

pekȅt 'топот, стук' определяется как производное от слав. гл. **pek(a)ti* 'бежать', который, как полагает автор, сохраняется в русском выражении *упекать в Сибирь* 'сослать, отправить против воли'. Рус. *упекáть,* итератив к *упéчь,* связан отношением производности с гл. *печь* (Даль[2] IV, 501).

peski 'молодые побеги чеснока', вероятно, родственно рус. диал. *пéски* мн. 'кончики пальцев на ногах' (СРНГ 26, 302), блр. диал. *пэ́сткі* 'семена подсолнечника' (Скарбы 117) < слав. **pěstь* (Фасмер III, 250).

-petiti se только в сложении с преф. *pri-, na-, s-, u-* 'случиться, произойти' < и.-е. **pént-oH-s* < **pent-* 'ступать, идти'. Более вероятна версия П. Скока (Skok II6 648), согласно которой этот глагол ограниченного распространения образован от слав. **pęti, pьnǫ* по типу **kolti: *koltiti.* В пользу этой версии говорит семантика глагольных образований: ср. хорв.-кайк. *napetiti se* 'натолкнуться, наскочить', 'случиться', рум. (< слав.) *a speti* 'lähmen', рус. диал. *запя́сть* 'перегородить, загородить что-л.', 'удержать, остановить кого-л. от чего-л.; сдерживать свободу проявления чего-л.' (СРНГ 10, 374). Приведенные примеры позволяют предположить развитие значения в направлении 'за-пнуться, споткнуться' > 'потерять свободу действий', 'случиться, произойти'.

píruh 'Oserei', *Pírniče,* топ., *pirgast* 'пестрый' < слав. **pyrь* 'огонь' ~ **pyriti/ *puriti* 'жарить, жечь' (с.-хорв. *пу̏рити* 'обжаривать', польск. *zapyrzyć się* 'закраснеться' и т.д.).

Остались неучтенными словен. *zapŕiti se* 'краснеть' (Pleteršnik II, 863), диал. *piriti se: "Kaj se piriš?"* – "Что ты так краснеешь от злости?"[13] См. Skok III, 81; Machek[2] 502. Трудно согласиться с включением в это гнездо словен. *zaripniti (od jeze), rupêč* 'зардевшийся' (s. v. *ŕpiti se*).

pîvka 'хрипота' < гл. *pivkati* < **pivь-kati*, далее к **pi-va-ti*, итеративу по отношению к незасвидетельствованному гл. **pi-ti* 'дышать, сопеть', сближаемому со слав. **pi-ska-ti*, **pi-ka-ti*. В словаре Плетершника глагол приводится в значении 'производить звук *пив*' (ср. *piščeta pivkajo po koklji* – Pleteršnik II, 45), что дает основание предполагать, что это звукоподражательное образование.

plug 'плуг'. При этимологизации этого слова ставится под сомнение связь со слав. гл. **pluti* < **pleu̯-*, **plou̯-* 'течь, лить(ся), тащить'. Эта версия, высказанная еще Миклошичем, получила развитие и обоснование в работах О.Н. Трубачева (см. Фасмер III, 287, прим. Трубачева)[14].

plužiti se 'спариваться (о жабах)' ~ рус. диал. *плужиться* 'медленно идти, ехать, тащиться за кем-л.' (СРНГ 27, 164), укр. *плу́жити* 'хорошо идти' (Гринченко III, 198) и т.п. < и.-е. итератив **plou̯H-g(h)-e̯ie/o-* с исходным корнем **pleu̯(H)-* 'идти, продвигаться вперед', далее – к и.-е. **pel-* (слав. **pel'ati* 'везти, тащить', **polnǫti* 'броситься'). Едва ли есть основания для отделения названных глаголов от слав. **plugъ*. Образное употребление дало толчок к переосмыслению отыменного глагола и развитию на основе прямого значения переносных значений.

****podléček*** 'подложенное яйцо', объясняемое как **pod-vlečêk*, вероятно, связано с другим глаголом – **lęgti (sę)* в специализированном значении 'высиживать птенцов, вылупляться из яйца', ср. словен. *léči* 'высиживать птенцов, сидеть на яйцах' и др. (ЭССЯ 15, 56).

podlína 'поле с неглубокой землей (вероятно, следует понимать: с неглубоким плодородным слоем)' может быть с большой долей вероятности соотнесено с рус. диал. *по́длин* 'пологая часть лотка' (забайк.), *по́длить* 'бороновать землю перед посевом' (ярослав.) (СРНГ 28, 66, 67). Вполне возможно, что речь идет не о плохой земле (и соответственно не о производности от **podьlъ* 'подлый'), а об обозначении верхнего тонкого слоя земли, близкого к поверхности, т.е. расположенного по длине поверхности и, следовательно, связанного отношением производности с **po dьli/ě*, родственного слав. **dьlina* (ср. ЭССЯ 5, 210).

podûrek 'нырок' (см. еще *ponîrek* 'podiceps') ~ хорв. кайк. *pondurek* 'mergus, fulix'. Скорее всего *d* в корне вторично, является вставным, исходная форма – **ponurekъ*, сложившаяся на базе гл. **nuriti*. Представляется весьма спорной реконструкция особого глагола **durati/ iti* 'потопить' и объединение с ним слав. **d'ura* 'дыра' и **durъ* 'палка' (с.-хорв. диал. *dûr* 'острая полка, которой попадают в углубление, ямку в земле', др-рус. *дȣрыи*), этимологизируемых иначе (ср. ЭССЯ 5, 162).

podmájiti se 'притаиться' (ср. еще прилаг. *podmájen* 'пронырливый, коварный, лукавый') < **po-t(ə)májiti* < **po-t(ə)mâj* 'притворство, лукавство', последнее соотносится с **po-tьmiti* 'темнеть', **tьma*. Трудно принять такое истолкование даже с учетом словообразовательной модели *znâk* > *znáčiti* > *značâj* > *značájiti*. Место словен. *podmájiti se* в гнезде гл. **majati (sę)* 'двигаться туда-сюда' > 'делать обманные движения', 'обманывать' (см. **maniti*), 'обманщик, лгун', 'нечистый дух', 'пугало' среди продолжений слав. **manidlo* (См. ЭССЯ 17, 132 и след., 196–197).

pláha 'вылет пчел' вместе с гл. *prašíti se, zaprašíti se* 'прыгнуть, разбежаться' ~ ц.-слав. **испрѧгнѫти** 'выпрыгнуть' < **(s)prūg-* (рус. *прыгать*) и **prǫg-*, хотя тут же находим отсылку к *prâh*. И последнее представляется наиболее вероятным, особенно если учесть семантику словенского отыменного гл. *prašíti* – 'поднимать пыль', ~ *se* 'вылетать (о пчелах)', 'пробудиться, выбираться на солнце (о пчелах)' (Pleteršnik II, 211).

prálica 'похожее на серп орудие для прополки сорняков' < гл. **pьrati* 'бить, ударять; стирать, чистить'. Скорее всего в образовании этого отглагольного имени участвовал суф. *-dlo*, а не *-l*, т.е. исходной следует признать форму **pьradlica*, а не **pьralica*. Вероятно, с тем же глаголом связано и словен. *praliska* 'rima'. Значение 'щель, трещина' могло развиться из 'бить, ударять'. К этому же гнезду относится упомянутое выше диал. *pralo* 'яма, где стирают женщины'.

prâm 'полоса', 'пучок, моток' < **pormy*. Редукция исхода основы, по мысли авторов, произошла по аналогии с **kon'it': *kon', *pramit': x; x = pram*. Предполагаемая модель отношений носит необязательный характер, особенно если принять во внимание усеченные формы типа слав. *kamъ, polmъ, remъ, kremъ*, возникшие вторично на почве отдельных славянских языков из *katy. polmy, kremy* и т.п. (см. Sławski F. – Słownik prasłowiański 1, 125).

prélo 'проход, отверстие' ~ с.-хорв. кайк. *prȅlo* 'отверстие в ограде, проход' (RJA XI, 582–583), *приль́* 'отверстие, через которое пчелы проникают в улей'[15], сюда же болг. диал. *пре́лка* 'вход в пчелиный улей' (БД IV, 135; БД IX, 304), вслед за Скоком (Skok III, 38), объясняется из **prě-(j)ьd-lo*, далее к **iti, *jьdǫ*. Форма на *-l* образуется от супплетивной основы. Более вероятно развитие из **prędlo* < **pręsti*. Ср. *préslo*.

prêmek 'плохое зерно, смешанное с плевелами' < гл. **ob(-)prěmiti* 'чистить зерно', **prěmiti* 'делать, направлять'. Представляется более вероятным развитие из **per-mъkъ*, далее к гл. **mykati/*mъknǫti*.

préslo 'Spinnrocken, Spindel' толкуется как омоним к рус., укр. *пря́сло* 'звено изгороди, забора', чеш. *přáslo* 'часть забора между двумя столбами' и т.д. < **pręt-slo*, далее к **prętati*. Более вероятна производность от гл. **pręsti*. В названии забора, изгороди находит отражение старая техника плетения изгородей из прутьев, ср. типологически сходное слав. **plotь* с тем же значением, производное от гл. **plesti*[16].

préšuštvo 'adulterium' < **prěšəstvŏ* связывается в конечном итоге с **šьstь*, прич. гл. **choditi* с предполагаемым первичным значением 'trangressio; переход, проход', т.е. 'проступок' или 'уход к другому или другой'. Такое толкование представляется маловероятным. По всей видимости, прав был Нахтигаль, когда связывал словенское слово с прилаг. *sȗh*. Подтверждает версию. Нахтигаля рус. диал. *сушить* в значении 'приворожить кого к кому, томить невольной любовью', *сухая любовь* 'платоническая или духовная, не плотская' (Даль[2] IV, 366, 367).

****prijatje*** 'место жительства', в XVI в. *priathie* (Alasia). Трудно принять объяснение из **per-jętьje*, далее к **jęti, jьmešь*. Наиболее вероятна связь со слав. **jata* (ср. словен. *jata* 'хижина', 'пещера'). См. ЭССЯ 8, 182.

priklútiti se 'прилаживаться, приспосабливаться' < **pri-kutiti* 'прийти, прибрести откуда-то', ср. *s-kútiti se* 'оставить гнездо, семью', далее допускается возможность развития из неподтвержденного **(pri-)kъl-utъ* 'черенок, побег', сложившегося на базе словен. **pri-kelťi* 'прилепить, приклеить', далее к **kъlъ* 'клей'. Такое толкование представляется весьма спорным. Более вероятна соотнесенность с и.-е. **kleu-* 'кривой', 'цеплять (кривым)', 'запирать' (ср. лит. *kliũti* 'цепляться, попадать'), расширенным суф. *-t, -d*. В русских диалектах привлекает внимание лексическая группа с корнем *клуд-: поклу́дница* 'притворщица, лицемерка', *проклу́да* 'проказник, выдумщик', 'бездельник', *проклу́дный* 'проказливый, хитроватый', *приклу́да* 'притворщик, притворщица' (Ярослав. словарь: *Питок-Ряшка* 46, 87, 98). Близкие образования с суф. *-d, -t* в лит. *kliudýti* 'задевать, зацеплять', 'препятствовать, мешать', *kliáutis, kliũtis, klū̃tìs* 'придирка, повод (к ссоре)', лтш. *kļauties* 'прижиматься, льнуть', *kļūda* 'ошибка, погрешность' (ЭССЯ 10, 83; Fraenkel 274).

****prȍj*** 'Spannholz, Sperrleiste (der Weber)' ~ словен. *spróga*. Более вероятна производность от гл. **pręd-ti* (Bezlaj. Eseji 126). Ср. с тем же суф. *-jь – спро́жда / спре́жда* 'пряжка' в одном из архаичных болгарских диалектов – родопском (Т. Стойчев – БД II, 272).

púhel 'редкий, пустой, неплотный' < прич. на *-l* от гл. ***pus-ti*, восстанавливаемого на основании лит. *pũsti, pučiù, pū̃čiau* 'веять, дуть; вздувать, раздувать'. Скорее всего прич. на *-l* образовано от гл. **puxnǫti* по типу русск. *дохлый: дохнуть*.

pútiti se 'дуться (о детях' ~ словен. *krpútiti se* 'надуться (о рассерженном животном)', *nakrpútiti se* 'причудливо одеваться', 'щеголять в одежде (о женщине)'. Последнее толкуется как сложение гл. *putiti se* с экспрессивным преф. *kr-*. Трудно согласиться с таким морфологическим членением и особенно с постулированием нигде более не засвидетельствованного преф. *kr-*. Были попытки понять этот глагол как продолжение **krěputiti sę* (Pleteršnik I, 479). К раскрытию внутренней формы подводит словенский диалектизм – толмин. *krpútiti se* в значении 'нашивать на одежду разные лоскутки',

синонимичное гл. *nalupútiti se*[17]. Словенский глагол представляет собой образование на *-utati* от гл. **kъrpati* (словен. *kŕpati* 'латать, чинить' и т.п.) ~ **kъrpa* (словен. *kŕpa* 'латка, заплата', болг. *кърпа* 'платок, платочек' и т.д.), ср. отношение того же типа **lopati* ~ **loputati* (ЭССЯ 13, 237; 16, 77). Первонач. – 'надевать, навешивать на себя разные тряпки, лоскуты' > 'причудливо одеваться', 'щеголять' > 'важничать', 'быть напыщенным', 'дуться' (уже в общем смысле применительно к человеку и животным).

púšiti 'готовиться к роению' (s. v. *púšiti* 'торчать, выступать') семантически точно соответствует блр. *пушыць*[18].

râst 'видимая трещина в стакане', 'утолщение в стекле', 'жила в камне' < **rastъ*/ **rastь* 'трещина' признается в формальном и семантическом плане близким лит. *rúožtas* 'борозда на поле, полоса' < и.-е. прич. **u̯roHg'-to-s* от незасвидетельствованной глагольной основы **u̯roHg'-* 'резать, царапать', связанной чередованием с **u̯reHg'-* (> праслав. **rězati*). Есть основания думать, что семантика словенской лексемы мотивирована другим признаком: этим словом обозначается то, что наросло, некое образование, нарушающее целостность, однородность структуры предмета, материала. В таком случае словен. *râst* связано отношением производности с гл. *rasti* 'расти', как русск. *нарóст* и др.

répa II 'грязь, нечистота'. Едва ли можно говорить именно об этом значении, поскольку слово выступает в семантически неразложимых устойчивых выражениях типа словен. *repa ti raste v ušesih* 'иметь грязные уши', польск. *brudne uszy, że można rzepę siać* то же и др. Общий смысл высказывания не выводим из конкретного значения отдельных слов. Значение 'грязь, нечистота' свойственно не слову *répa*, а всему выражению. По этой причине нет необходимости в особой этимологии (~лтш. *ap-rept* 'быть грязным' и др.), отличной от этимологии *répa I*[19].

rézen 'острый (о вкусе)' объясняется как результат контаминации двух основ: одна из них – калька с нем. *Wein schneiden*, другая – восходит к основе **ver-sk-/zg-*. Более вероятна производность от гл. *rézati*, ср. семантически близкое в.-луж. *rězny* 'режущий', 'резкий, острый на вкус' (Трофимович 249).

róden 'о дождевых облаках', сближаемое с укр. *рудá* 'дождь сквозь солнце', в.-луж. *ruda* 'роса', толкуется как отражение праслав. **rǫda* 'дождь, роса' < и.-е. **red-*, **rod-* 'течь'. Судя по той характеристике, которое получает прилаг-ное в словаре Плетершника, речь идет о дожде, приносящем урожай, плодородие, ср. *rodno polje* 'плодородное поле', *rodna trta* (Pleteršnik II, 432), что и позволяет соотнести прилаг-ное с суф. *-ьnъ* с гл. **roditi* 'родить'.

-rúljen в сложении с префиксом *zarúljen* 'здоровый как рыба' < **rudliti* < прич. **rudlъ* 'красный' < **reudhe/o-* 'делать красным' ~ греч. ἐρεύθω то же. Отмеченное Плетершником *zarúljen* в значении 'здоровый как лев' (так у Плетершника!), несомненно, связано отношением производности с гл. *zarúliti* 'заревать' (Pleteršnik II, 873), далее – к **rjuti*.

sȇjem 'nundinae', как и польск. *sejm*, рус. диал. *сойм* 'крестьянская сходка', восходит к праслав. **sъjьmъ*, реконструкция **sъnьmъ* справедлива для рус. *сонм* (в тексте ошибочная форма *сомн*), ц.-слав. **сънь҄мъ** συναγωγή, ст.-чеш. *snem* (Фасмер III, 592, 717).

sésti 'sedere'. Можно отметить интересное глагольное образование, вероятно, производное от основы настоящего времени, с корневым вокализмом *o* в с.-хорв. *осŷдит се* 'впасть в апатию, стать безвольным вследствие несчастья, беды'[20].

sévati 'сиять' не связано с гл. *sékati* 'сиять, сверкать'. Этот глагол в выражениях *oblaki se sekajo* 'образуются перистые облака', *s. se z očmi* 'сверкать глазами' является метафорическим переосмыслением основной и исходной семантики 'сечь' (Pleteršnik II, 466).

skrómen 'bescheiden, anspruchslos'. Нельзя пройти мимо с.-хорв. диал. *скрȇман* 'скромный'[21] с корневым вокализмом *-e-*, ср. слав. **kremjь*, **kremiti*, **kremica* (ЭССЯ 12, 117). Следы этимологического значения 'ограниченный рамками, в определенных границах' сохраняет с.-хорв. *skroman* 'скрытый, тайный' (RJA XV, 340).

skúbsti 'щипать, ощипывать', 'вымогать (деньги̑)'. Не совсем ясно, на каком основании для этого глагола восстанавливается в качестве исходной редуплицированная основа в форме **skeu(bh)-skoubh-* (< **skeubh-* 'делать быстрые движения'). В этой связи

требует пояснений идея о развитии из редуплицированной основы (с утратой первого слога) лит. *malù*, гот., др.-в.-нем. *malan*, лат. *molō* 'молоть' < основа наст. вр. **mĺ-molH-* или интенсив **mél-molH-;* др.-в.-нем. *faran* 'ездить' < **pĺ-por-ti*. Определенный интерес с точки зрения корневого вокализма представляет укр. *об-щу́брати* 'ободрать, ощипать' (Гринченко III, 33), вероятно, связанное чередованием со слав. **skub-ti*.

slanjúga 'ленивая и неряшливая женщина' < **soln'uga*/ **soln'a*, далее к прилаг. **solnъ* 'грязный, серый', т.е. в основу обозначения положен признак цвета. Но скорее всего прав был Плетершник, указавший на соотнесенность с гл. *slonéti* 'опираться, прислоняться'. Дополнительным аргументом в пользу такого объяснения служит рус. диал. *сланю́га, слоня́(ю́)га* 'шатун, тунеядец, лентяй; бродяга', соотносительность которых с гл. *слоня́ться* (Даль[3] IV, 261) не вызывает сомнения.

Slovȅn. Толкованию слова *Словутичь* на основе и.-е. **k'lōu-* 'умывать' (ср. лат. *cluō* 'чистить' и т.д.) противоречит значение древнерусского слова 'славный, знаменитый', совершенно определенно указывающее на связь с гл. **sluti*, **slyti*.

smotláka 'хлам, барахло; вредные насекомые; сборище людей' трактуется сложно как результат контаминации двух лексем: одна из них восходит к **sъmǫtь-volkь*/*-volka* < **sъmǫtь* 'беспокойство, тревога, ссора' (~ рус. диал. *сму́толок* 'смута, несогласие', *сму́толока* 'беспорядок, неурядица, суета'), а другая родственна польск. диал. *smatlák* 'мальчишка, хулиган', 'плохой работник', чеш. *smotlacha, šmatlach* 'смущенный, сконфуженный человек' и др. и далее связывается с **motati*. В ряде случаев решить проблему словообразовательно-морфологического членения слова невозможно без учета непродуктивных редких суффиксов, усилительных элементов[22]. Именно такой подход помогает понять приведенные образования как сложение префиксальных *s-mo* и **tolka*/ **tolkъ*.

sobra 'крупа', а также приведенное Плетершником *sȏvrica* справедливо определяются как производные с преф. **sǫ-* от гл. **bьrati;* кроме блр. *субор* 'смесь из пшеничных зерен', в число соответствий можно включить и рус. диал. *субо́р* 'камень, валун, собранный с пашни и сложенный грудой' (Даль[2] IV, 332). Даже с учетом акцента для словенского единственно возможной остается реконструкция исходной основы только в форме **sǫ-bьra*. То же самое относится к словен. *sodra* < **sǫ-dьra*.

sočȋvje 'legumina' < праслав. **sȍčivo* с первоначальным значеним 'то, что готовится на кухне'. Для обоснования такой семантической реконструкции привлекает болг. *со́чиво* 'суп', слав. **sokačь* 'повар' (словен. *sokač* 'повар', ст.-слав. **сокачии** 'мясник', 'повар'), **sokalь* 'кухня' (рус.-цслав. *сокалъ, сокало* 'поварня'), далее вся эта лексическая группа соотносится с гл. ***sok(a)ti*, которому приписывается значение 'готовить'. Предполагается, что значение 'чечевица' развилось через промежуточную ступень 'еда, пища' < 'то, что готовится', а значение 'готовить' сложилось на базе семантики каузативного гл. **sočiti* 'увлажнять, мочить' > 'смягчать, делать мягким'. Сразу заметим, что ссылки на слав. **sokalь*, **sokačь* неубедительны хотя бы потому, что для них осталась неопровергнутой версия тюркского происхождения (см. Фасмер III, 708). Слово связано с определенной культурной реалией: в канун Рождества едят постную пищу, постную кашу, *сочиво*, т.е. пищу с соком, отсюда название *Сочевник, Сочельник*, ср. еще рус. диал. *со́чиво* 'семянной сок или молоко', *сочеви́ца* 'чечевица', *со́чень, со́ченик* 'пресные, тонкие лепешки, постные, на конопляном соку' (Даль[2] IV, 264).

solíka 'крупа; мелкий град' ~ слав. **solь* 'град' (омоним к **solь* 'соль'), производное с суф. *-yka* от глагола с корневым вокализмом *o*, родственного лит. *šalti* 'мерзнуть' < и.-е. **k'el-* 'мерзнуть; холодный'. Нет достаточных оснований для восстановления на праславянском уровне омономов **solь I* 'соль' и **solь II* 'град'. Как и в случае со *smolika*, речь может идти о производном с суф. *-ika* от *sol* (Sławski F. – Słownik prasłowiański 1, 91–92).

somen, прилаг. 'высокий, статный, стройный' ~ ср.-в.-нем. *hamel* 'пень, бревно', κάμαξ 'кол, бревно', др.-инд. *śámyā* 'палка, опора' < и.-е. **k'am-* 'бревно, балка' (Machek[2] 566). Включаемые в это же гнездо рус. диал. *сомо́к, сомцы́* 'продолжение бревенчатого сруба избы, завершающееся треугольным выступом', укр. *соме́ць* 'каждое из тех бревен в стене хаты, которые только одним концом связываются в замок, а другим упирается в дверные или оконные косяки', польск. диал. *sumik* 'место, где отверстие для окон и

дверей' и т.п. служат обозначением бревен, которые *смыкают* в замок, врубая одно в другое зубом (Даль[3] IV, 303–304). Не вызывает сомнения исходная для них форма **съмъкъ* ~ **smъknǫti/*smykati* (Фасмер III, 716).

sómenj 'гряда, луг между полями' соотносится с гл. **sъ-mьněti* 'рассудить', первонач. 'межа' < 'решение, приговор'. Трудно найти типологически сходные примеры перенесения обозначения процессов умственной деятельности в сферу сельскохозяйственной терминологии. Возможно, словенская форма явилась результатом фонетического преобразования **so-mejen* 'находящийся рядом с межой', ср. *naméjen* 'пограничный'.

stârati se 'стараться, трудиться, беспокоиться, хлопатать; мучиться, напряженно работать' < праслав. **starati (sę)*, итератив на *-ati*, производный от незасвидетельствованного гл. ***stor-ti*. В круг родственных образований включены лтш. *starîgs* 'усердный', лит. *starînti, starinù* 'тянуть с трудом', лат. *sternāx* 'вздорный' и т.д. (см. еще Фасмер III, 746). Однако собственно словенский материал, внутрисловенские лексические связи открывают возможность иного истолкования славянского глагола. Мы имеем в виду словен. *tárati* 'мучить', 'трудиться, напряженно работать', *terati* 'пытать, мучить' и *tréti (tarem, trem)*, который, помимо основного значения 'давить, жать, угнетать' (ср. *mrzlica, trešljina me tare*), в выражениях типа *t. se s čim, t. se za kaj* характеризуется еще значением 'неутомимо трудиться', 'биться', 'заботиться'. Данные словенского языка подводят к мысли о том, что гл. **starati (sę)* этимологически тождествен слав. **terti*.

strémati 'мешкать, медлить, поступать' выводится из праслав. **strěmati* < **strēmtēi, *strēmne/o* > праслав. **stręti, -nǫ* 'торчать', сюда же отнесено словен. *strom* 'ствол дерева'. Неправомерно сближение с рус. *застрять*, которое неотделимо от др.-рус. *пострями, пострячу* 'замешкаться, задержаться', *простряпати* 'провести время в заботах о ком-л., чем-л., провозиться', *перестряпати* 'переждать, промедлить (какой-л. срок)' и восходит к **strępti* (СлРЯ XI–XVII вв. 14, 294; 17, 262; 20, 242; Фасмер II, 82).

При изучении материалов словаря возникают вопросы, требующие размышлений и специальных исследований. К их числу можно отнести истолкование некоторых слов с начальным *s-*. М. Сной склонен рассматривать слова типа словен. *skóbec, skrâk* как первоначальные сочетания с предлогом *съ* в значении 'подобный, сходный'[23]. При исследовании такого большого лексического материала авторам не всегда удается провести единую этимологическую линию при истолковании слов одного гнезда. Для примера приведем *rášiti I* 'толкать, рыться, ковырять' < **rasti* 'грести, раскапывать', а родственное ему *râšlja* 'вилообразная ветвь, рогулька' объясняется из **orz-sъl'ь*, далее – к **sъlo* 'ветка, палка'. Далеко не всегда четко мотивированы словообразовательные (ср. *setine* 'мякина' ~ лит. *sė̃lena* то же) и морфонологические отношения основ (ср. *rikati*). В ряде случаев в статьях, посвященных лексико-семантическим образованиям одного гнезда, наблюдается излишнее повторение материала (ср. *sȇjem* и *snéti, síkati II* 'брызгать, сикать' и *síkalo* 'непостоянный, о человеке'). В словаре, построенном на сочетании гнездового подхода с раздельной, пословной подачей материала, наблюдается непоследовательность в распределении слов, не всегда продуман выбор слова в качестве заглавного. Так, к примеру, отдельные статьи имеют гл. *prosíti* 'petere' и итератив к нему *prášati* 'interrogare', а гл. *prážiti* 'frigere' и *pržíti* 'жарить, жечь', отношения которых не столь очевидны, рассматриваются в одном гнезде. На наш взгляд, было бы целесообразно выделить в самостоятельные статьи слова *preseka* 'живой забор' (см. *présekar* 'малина, Rotkelchen'), *sírišče* 'высушенный телячий желудок, используемый в качестве фермента при изготовлении сыра' (см. *sesíriti se* 'скисать').

К третьему тому приложен на XVI страницах список новых лексикографических источников и новой этимологической литературы. В основном авторы при характеристике этимологических версий базируются на традиционном круге источников. В наше время довольно сложно уследить за потоком книг и особенно статей, опубликованных в разных периодических изданиях. И тем не менее нельзя не отметить некоторые досадные пропуски в литературе. При истолковании отношений слов *pâz, páziti, pážiti, pâzduha* принципиально важное значение имеет работа В.Н. Топорова "О происхождении нескольких русских слов" (Этимология 1970. М., 1972, 37–44). В статьях, посвященных словен. *pերân* 'вол с белыми пятнами' (~ чеш. *peřestý* 'пестрый'), *sêrec* 'sulphur', остались неучтенными исследования О.Н. Трубачева, опубликованные в сб. "Этимология". (Этимология 1972. М., 1974, 33–35; Этимология 1968. М., 1971. 32–55). При истолковании

слав. *rajь (s. v. rȃj), с которым связано одно из древнейших понятий духовной культуры славян, нельзя обойти вниманием исследование О.Н. Трубачева "Этногенез и культура древнейших славян" (М., 1991, 173–174), одна из глав которого посвящена этимологизации этого сакрального термина на основе восстановления языческих представлений, связанных с мировоззрением древних славян. Не отмечены исследования О.Н. Трубачева, посвященные этнониму *славяне*.

Анализируемая работа представляет собой солидный труд, который вводит в практику этимологических исследований большой фактический материал и в определенном смысле подводит итог этимологическому изучению словенской лексики. Эта работа расширяет и углубляет наши познания в области славянской этимологии. Несомненно, словарь привлечет к себе внимание славистов и станет предметом специальных научных обсуждений, которые помогут осмыслить, обобщить опыт словенской этимологии в широком контексте исследований, посвященных реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда.

*Л.В. Куркина**

Примечания

[1] *Snoj M.* Praslovanski ziz indoevropskega *s* v luči novejših akcentoloških spoznanj. Disertacija. Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1978; *Idem.* Kratka albanska slovnica. Ljubljana, 1991.

[2] *Furlan M.* Indoevropske dvozložne težke baze v hetitščine. Disertacija. Filozofska fakulteta. Ljubljana, 1986.

[3] *Šivic-Dular A.* Pomenoslovna razčlemba besedne družine iz korena *god-* v slovanskih jezikih. Filosofska fakulteta v Ljubljani, 1978.

[4] *Трубачев О.Н.* Этимологический словарь славянских языков. Проспект. Пробные статьи. М., 1963, 14.

[5] *Borýs W.* Z polskiego ludowego słownictwa topograficznego: *suć* 'zagajnik, bor sosnowy' // Onomastica XXVII, 1983, 73–75.

[6] Там же, 420.

[7] *Аникин А.Е.* Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988, особенно стр. 6–22.

[8] *Бенвенист Э.* Семантические проблемы реконструкции // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974, 331–349.

[9] *Трубачев О.Н.* Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 3. 1980, 3–14.

[10] *Лукинова Т.Б.* Лексика слов'янських мов як джерело вивчення духовної культури давніх слав'ян. // IX Міжнародний з'їзд славістів. Київ, 1983, 96–103.

[11] *Дучић Ст.* Живот и обичаји племена Куча // Српски етнографски зборник. Књ. XLVIII. Друго одељење. Живот и обичаји народни. Књ. 20. Београд, 1931, 45.

[12] Славянские древности I: *А–Г.* М., 1995, 401–402 (s. v. *воздух*); Славянская мифология. М., 1995, 99–100.

[13] Slovanski svet IX, št. 10(5 apr.), 1896, 114 // Narečno gradivo. Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša. ZRC.

[14] *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991, 171; *Он же.* Славянская этимология и праславянская культура // Историко-культурный аспект лексикологического описания русского языка. М., 1991. 13–14.

[15] *Томић М.* Говор Свиничане. // СДзб XXX. Београд, 1984, 217.

[16] *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, 163 и след.

[17] *Kenda J.* Slovarsko gradivo s Tolminskega 49. Rokopis. Ljubljana. Inštitut za slovenski jezik. ZRC.

[18] *Супрун А.Е.* Белорусская этимология и межславянские лексические соответствия // ZfSl Bd. 24, H. 1, 1979, 139.

---

[19] *Супрун А.Е.* Белорусская этимология и межславянские лексические соответствия // ZfSl Bd. 24, H. 1, 1979, 139.

[20] *Виноградов В.В.* Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977, 140–161.

[20] *Стијовић Р.* Из лексике Васојевића // СДзб XXXVI. Београд, 1990, 157.

[21] *Тешић М.* Говор Љештанског // СДзб XXII. Београд, 1977, 288.

[22] *Петлева И.П.* К вопросу о словах с усилительным (-)*to*, (-)*ta*, (-)*tu* в славянских языках // Этимология 1978. М., 1980, 65–69; *Она же.* О важности учета в этимологии лингвистически редких явлений формального характера // Этимология 1984. М., 1986. 198–201.

[23] *Snoj M.* Sledi praslovanskega predloga **sъ* 'podoben, enak, približen' v slovenščini // SR XXXVII, 1-3, 1989.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под редакцией Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994, 842 с.

Выход в свет этого словаря – несомненно, значительное событие в славистике. Впервые широким кругам специалистов и любителей древней письменности стало доступно компактное справочное пособие, полно и всесторонне представляющее старославянский лексикон в объеме его "классических" письменных источников.

Старославянская лексикография имеет давнюю историю, в которой наиболее крупными достижениями являются словари Ф. Миклошича (Miklosich), А.Х. Востокова (Востоков), И.И. Срезневского (Срезневский), Л. Садник и Р. Айцетмюллера (Sadnik-Ajtzetmüller) и Slovník jazyka staroslovenského Чешской Академии наук (Slovník jaz. stsl.). Из них только в Sadnik-Ajtzetmüller собрана собственно старославянская лексика (хотя выбор источников не вполне бесспорен), в остальных случаях она представлена неполно и неточно и рассеяна в материале более поздних рукописей. Даже в Slovník'e jazyka staroslovenského, несмотря на его название, реальное лексическое наполнение выходит за пределы старославянских рукописей, так как этот монументальный компендиум, во многих отношениях явившийся предшественником рецензируемого словаря, включает лексику не только старославянской эпохи, но и церковнославянских рукописей XII–XVII вв., относящихся к широкому славянскому региону.

"Старославянский словарь" создан совместно сотрудниками Славянского института Академии наук Чешской республики и Института славяноведения и балканистики Российской Академии наук на основе пражской картотеки старославянских и церковнославянских рукописей с учетом индексов к отдельным памятникам, а также сравнительно недавно обнаруженных и потому не вошедших в Slovník jaz. stsl. текстов. Материал выбран по 18 "классическим" старославянским рукописям X–XI вв., из которых двенадцать написаны глаголицей (Киевские листки, евангелия Зографское, Мариинское, Ассеманиево, Охридские листки, Зографский и Боянский палимпсесты, Синайская псалтырь, Синайский евхологий, Синайский служебник, Клоцов сборник, Рыльские листки) и шесть – кириллицей (Саввина книга, Листки Ундольского, Енинский апостол, Супрасльская рукопись, Хиландарские листки, Зографские листки). Таким образом "Старославянский словарь" корректен в отношении источниковой базы[1], что позволяет представить в определенном единстве словоупотребление славянских памятников.

Своим названием "Старославянский словарь" указывает скорее на эпоху, чем на лингвистические параметры материала, поэтому он оказывается вне дискуссий, связанных с различным пониманием границ и объема лексики старославянского языка и разным представлением о составе его источников[2].

Издание оснащено прекрасным научным аппаратом, который дает читателю представление не только о лексической, но и о многих сторонах старославянской проблематики. В подробном Предисловии содержится очерк истории изучения старославянского

языка, приводится характеристика предшествующих словарей и объясняются основные позиции "Старославянского словаря". Раздел "Описание старославянских рукописей" представляет сведения обо всех источниках словаря, включая важнейшую библиографию.

Словарь отличается высоким уровнем грамматического анализа словоформ, определения и лексикографической подачи начальных форм. К сожалению, словарный жанр не позволяет аргументировать те или иные решения, и потому неясным остается, например, почему авторы отождествляют встретившееся в Зогр. слово галиꙗ (вьлѣзъше въ галиѭ. ѣдѣахѫ на онъ полъ морѣ Зогр., л. 240) со словом алъдии, предполагая, видимо, в нем ошибку и отказываясь от предложенного в Sadnik-Ajtzetmüller (28, 235) и поддержанного в Slovník'e jaz. stsl. (8, 390) как будто очевидного понимания его как названия разновидности судна (*галея*, из греч. γαλέα – Фасмер I, 386).

В разделах "Фонетико-фонологическая и правописно-графическая характеристика старославянских рукописей", "Нормализация написания заглавого слова основной словарной статьи" и приложенных к словарю подробных морфологических таблицах фактически подведен итог изучения грамматического строя старославянского языка и его лексикографического представления.

Из редких случаев спорных грамматических решений можно отметить:

1. Для реконструкции по форме тв. мн. радощами начальной формы ед.ч. радоща, -ѧ *ж*[3], видимо, нет оснований – по крайней мере для старославянского периода. В письменных памятниках подобные отвлеченные слова на -ощи встречаются исключительно в форме множественного числа, причем представлены только наречным употреблением в тв. падеже, ср. жалощами, лѣнощами, пакощами, радощами (Срезневский I, 845; 2, 73; 866; 3, 14), скупощами (Житие Андрея Юродивого). По-видимому, эта словообразовательная модель соотносилась непосредственно с существительными на -ость. Во всяком случае в украинских диалектах и литературном украинском языке, где она получила распространение и где образования на *-ощі* составляют довольно многочисленную категорию pluralia tantum (*радощі, жалощі, лінощі, любощі, пахощі, пестощі, скупощі, хитрощі* и т.п.)[4], нет никаких следов соответствующих сингулятивных образований.

2. коукоуль (ср. κουκοὔλλιον) – правильно определено как сущ. м.р., но как раз в единственной приведенной здесь цитате из Евх. (женамъ коукоулю сънѧти) явно отражена не отмеченная в словарях форма ж.р. коукоулꙗ.

3. мѵра, -ы *ж.* и мѵро, -а *с.* На первое место поставлена почему-то редкая форма ж. рода (ср. исходное греч. μύρον), представленная только в Мариинском евангелии (всего два раза, ср. мѵро в остальных памятниках – 49 примеров) и не сохранившаяся в церковнославянских памятниках.

4. Нет нужды реконструировать вслед за издателями Енинского апостола начальную форму Агарь[5] при реально зафиксированной в рукописи Агаръ (ср. Ἀγάρ). Греческие имена на -αρ, -αρος передавались в старославянском образованиями как на -арь, так и на -аръ[6]. Форма Агаръ в древнейший период была, возможно, даже более распространена, чем Агарь, судя по встречающимся в памятниках (Пятикнижие, "Слово о законе и благодати" Илариона, Толковая Палея и др.) примерам ее склонения по твердой разновидности: Агары, Агарѣ, Агарою, зв. Агаро[7].

5. Статья топло *нареч.* выведена на основании одной цитаты слъньце о нихъ въсиꙗ топло ꙗко въ жѧтвѫ *Супр.*, в которой топло является скорее прилагательным, а не наречием (ср. в греч. прил. θερμός): "солнце... теплое, словно в жатву".

Структура словарной статьи в основных чертах сохраняется в "Старославянском словаре" в том виде, в каком она была разработана для Slovník'a jaz. stsl.: восстанавливается заглавная форма слова, приводятся все встречающиеся в привлеченных источниках фонетические варианты слова, дается грамматическая помета, греческие или латинские соответствия, указывается русский и чешский перевод слова, в необходимых случаях его толкование, приводятся старославянские словосочетания, указывается число употреблений слова и перечень памятников, в которых оно зафиксировано, даются разнообразные отсылки.

Ценным является установление в словаре правил подачи греческих соответствий. Авторы обращают внимание на то, что редакция греческого текста, которая лежит в основе славянского перевода, нередко бывает нам неизвестна, и поэтому показательность используемого греческого текста всегда в определенной степени относительна. Подчеркивается, что для установления значений старославянских слов греческий текст служит не определяющим, а вспомогательным, косвенным источником. Одиночным отступлением от этого правила кажется определение значения слова пътищь как 'воробей, vrabec' – на основании чтения στρουθίον в соответствующем Супр. греческом списке (который, хотя и доступен для сопоставления, но все же не адекватен греческому оригиналу текста). В других лишь немногим более поздних славянских текстах широко представлено исходное значение этого слова – 'птенец, детеныш'. Вряд ли стоило абстрагироваться от этого, лишь по случайности не отраженного в привлеченных памятниках исходного значения старославянского слова, тем более что собственно славянский текст (младеньци ꙗко и птишти взиражтъ к тебѣ) не дает безусловных оснований для его конкретизации.

Несмотря на то, что толкования старославянских слов имеют определенную традицию и специально разрабатывались для Slovník'a jaz. stsl., в этой части старославянский материал остается наименее изученным. Развивая принципы, принятые в Slovník'e jaz. stsl. при толковании слов (см. Slovník jaz. stsl. 2, XXXIX–XLI), авторы "Старославянского словаря" многое сделали для их дальнейшей разработки, имея в виду, в частности, специфику синхронного лексикографического описания материала. Значения старославянских слов раскрываются там, где это возможно, посредством перевода на русский и чешский языки, в других случаях приводятся толкования. Успешно преодолеваются трудности, связанные с семантическим различием однокоренных или даже формально тождественных слов в старославянском, русском и чешском языках.

Ориентируясь на синхронное описание материала, авторы словаря в то же время сознавали, что последовательно синхронный подход приведет к изолированному представлению значений старославянских слов, зафиксированных только в классических рукописях, от обширных данных других, в том числе несомненно старославянских памятников, сохранившихся в более поздних списках. Для некоторых лексем это означало бы выведение частных значений без указания на связь с основными, и в конечном счете искажение реальных семантических отношений в самом старославянском. Для таких слов в словаре указывается на первом месте их основное значение, а далее – представленное в источнике переносное значение. Например: дольнь, -ии *прил.* ... нижний dolní; *перен.* земной *pozemský*. В отдельных случаях этот прием, к сожалению, не используется:

мимотещи толкуется по единственной цитате как 'утекать, течь мимо' без указания на его основое значение, случайно не представленное в классических старославянских рукописях, – 'проходить, пробегать, проноситься мимо' (ср. Срезневский I, 142). Без такого указания в словаре пропадает связь мимотещи с тещи в знач. 2 'бежать'.

позобати переводится как 'склевать sezobat' без указания на общее значение слова 'съесть', ср. исходное κατεσθίειν.

клепати представлено только по одному из вторичных значений: 'указывать', хотя в старославянском, оно, несомненно, значило в первую очередь 'бить, ударять' (Срезневский I, 1218).

В толковании отдельных слов, в особенности русской части, может быть отмечена недостаточная строгость, приблизительность, неточность словоупотребления:

запѧти 'сбить с ног, повалить' – неверно уже по способности этого глагола управлять дательным падежом существительного: аште възможетъ запѧти бж҃ию рабоу нbackωвоу. Ср. в чеш. правильно: podrazit nohy, т.е. 'поставить подножку, заставить споткнуться', также перен. При таком толковании не был бы утрачен параллелизм со значением приведенного выше глагола запинати 'ставить препятствия, препятствовать, *перен.* обманывать'.

клатити качать, колебать kývat, zmítat. Правильнее: 'бить, колотить' (ср. Срезневский I, 1214) – с соответствующими коннотациями.

кыка, -ы *ж* κόμη волос vlas. Правильнее: 'прядь, пучок волос' (см. ЭССЯ 13, 259).

лакомъ λαίμαργος жадный chtivý. Точнее: 'алчный, прожорливый, ненасытный'.

льгъко *нареч.* легко, без трудностей (...). В качестве иллюстрации переносного употребления дано: ἀνετῶς (! *вм.* ἀνεκτῶς ?) *здесь* без оков bez okóů: **повелѣ легъко ихъ вести вь тем'ницѫ** *Супр*. На самом деле здесь самостоятельное значение 'налегке' (ср. Срезневский I, 65); написание ἀνετῶς – правильное образование от ἀνετός[8].

лъжеименитъ и **лъжеименьнъ** – не просто 'ложный', а 'ложно именуемый или именующий' (ср. ψευδώνυμος).

подѣлиѥ πάρεργον представлено как 'добавление přídavek'. И **прилогъ** тоже определено как 'прибавка, прибавление, добавление přídavek, přídání'. Получается, что **подѣлиѥ** и **прилогъ** в старославянском были тождественными словами. На самом деле, как явствует из этимологии слова и рукописных данных более позднего периода, **подѣлиѥ** – это 'нетрудная работа, выполняемая после основной' (Ср. Срезневский II, 1075: 'дело побочное, неважное дело, поделье').

прѣизлиха чрезмерно, излишне, слишком. Но как раз в приведенной цитате из Мк 7, 37 (**прѣизлиха дивлѣахѫ сѧ**) – 'очень, весьма, чрезвычайно' (без негативного семантического элемента).

смокъва и **смокы** определяются по-чешски fíg, а по-русски почему-то не 'фига, инжир', а описательно: 'плод смоковницы, винная ягода (? – А.М.)'.

спафаръ σπαθάριος оруженосец, вооруженный обоюдоострым мечом. Византийские термины – названия должностей (спафарий, протоспафарий, хартуларий и т.п.) в принципе не нуждаются в развернутом объяснении. К тому же спафарий – это не оруженосец (т.е. слуга, носивший за господином его оружие), а мечник – телохранитель, вооруженный мечом (ср. также **протоспаферъ, проспафъ** πρωτοσπαθάριος начальник мечников – собственно, протоспафарий).

Неточности в русских эквивалентах вызваны отчасти, кажется, влиянием чешского языка ср.:

милоти(и), -иѩ овчина, плащ ovčí kůže, plášť (т.е. овечья шкура, овчина, кожух).

пазоуха 1. пазуха; грудь; охапка hruď, náručí. Слово "охапка" означает меру, некоторое количество предметов, и не является аналогом чеш. náručí, несмотря на наличие в русском языке фразеологического сочетания "(взять) в охапку".

Достоинством словаря является разветвленная система лексических отсылок. Они не только облегчают поиск нужного слова (даже если оно представлено в рукописи в искаженном виде), но и служат полезным инструментом лексического анализа. К сожалению, имеющиеся в издании отсылки не всегда последовательны. Например, в статье **скълѧѕь** даны отсылки к **драгъма, златикъ, златица, мѣдьница, пѣнѧѕь**, но почему-то не упомянуты **ассарии, динаръ, лепта, статиръ, сьребрьникъ**. В статьях **драгьма, статиръ** вообще нет отсылок; для остальных названий монет даются по две-три отсылки, причем не соблюдается принцип взаимности. В некоторых случаях смысл отсылки неясен, например, в статьях **кивотъ, ковьчегъ** и **крабии** дана отсылка к **скрижаль**. В других случаях нет отсылок там, где они были бы нужны. В частности, отсутствие взаимных отсылок у слов **даже** и **дожи** создает ложное представление о принципиальном различии этих слов в старославянском (усугубляемое грамматическими пометами: **дожи** *частица*, но: **даже (дажи)** *союз*), между тем при расширении круга источников обнаруживается, что эти родственные этимологически слова вообще трудно разделить как формально, так и семантически (ЭССЯ 4, 181).

В конце словаря приложен полезный перечень "Основные пособия по грамматике старославянского языка", в котором, наверное, можно было бы отделить компилятивные учебные пособия от фундаментальных трудов А. Вайана, Н.С. Трубецкого, А.М. Селищева и др. В выходных данных встречаются неточности (учебник С.М. Кульбакина был издан в двух томах: 1-й – в 1916-м, 2-й – в 1917 г.). Не указано, что грамматика А. Лескина издавалась несколькими тиражами (впервые в 1871 г.), и не упомянут ее русский перевод с дополнениями по языку Остромирова евангелия, сделанный А.А. Шахматовым и В.Н. Щепкиным. Желательно было бы также дополнить этот

перечень аналогичными библиографическими рекомендациями в области старославянской лексикологии.

По понятным причинам, столь большое издание не свободно от некоторого количества опечаток, в частности: с. 186: ст. девѧть вм. девѧтъ; с. 292: слово кравии, -иѩ определено как *ж* вм. *м*; с. 298; Крескентия вм. Крискентия; с. 337 (ст. мъшица): *Золр.* вм. *Зогр.*; с. 568 (ст. разгарати сѧ): разораться вм. разгораться; с. 601: сєсь определено как *межд.* вм. *мест.* и др. Обращаем на них внимание в уверенности, что "Старославянскому словарю" предстоит долгая жизнь в будущих изданиях.

Авторам словаря удалось выполнить весьма непростую задачу – соединить фундаментальность лексикологической подготовки материала с удобством и доступностью его лексикографической интерпретации. Словарь послужит полезным учебным пособием при изучении старославянского языка и, несомненно, будет способствовать решению кардинальных задач палеославистики.

Хочется от души поздравить авторов "Старославянского словаря" с успешным завершением их многолетнего труда и всех славистов – с ценным приобретением.

*А.М. Молдован**

Примечания

[1] К сожалению, авторы не имели возможности включить в словарь материал сравнительно недавно обнаруженных старославянских рукописей, прежде всего второй части Синайской псалтыри (см.: *Tarnanidis I.C.* The slavonic manuscripts discovered in 1975 at St. Catarine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988). Можно, впрочем, надеяться, что эта лакуна будет восполнена в его последующих изданиях, поскольку словарь предназначен для массового академического использования.

[2] Ср. не менее удачное в этом отношении название индекса Sadnik-Ajtzetmüller, благодаря которому сохраняется адекватность названия содержанию словаря, несмотря на то, что после его выхода состав старославянских источников расширился за счет вновь открытых рукописей (Енинский апостол, Зографский и Боянский палимпсесты и др.).

[3] Так и в Sadnik-Ajtzetmüller (radošta f. Freude, 111) и в Slovník'e jaz. stsl. (33, 550); ср., однако, у Миклошича: "радоштѧ f.pl." (Miklosich, 769).

[4] См. *Булаховський Л.А.* Історичний коментарій до української літературної мови // Булаховський Л.А. Вибрані праці в п'яти томах. Т. 2. К., 1977, 298.

[5] *Мирчев К., Кодов Хр.* Енински апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1965, 227.

[6] *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952, 140.

[7] На основе приведенных форм косвенных падежей Миклошич реконструирует им. п. Агара (Miklosich, 2), не засвидетельствованную источниками. На самом деле позицию им. п. в этой парадигме занимала, очевидно, форма Агаръ.

[8] Ср. ἀνετικός 'fit for relaxing, abading' (*Sophocles E.A.* Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. Cambridge-Leipzig, 1914, 166).

Г.А. Климов. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. М., 1994. 249 с.

Каждый, кому знакомо имя Г.А. Климова и известно, что этот ученый уже несколько десятилетий определенно имеет право решающего голоса в области кавказоведения (достаточно напомнить его труды: Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте. М., 1962; Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964; Кавказские языки. М., 1965; Заимствованные числительные в общекартвельском?

// Этимология. 1965. М., 1967; Кавказские этимологии // Этимология. 1968. М., 1971; Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. Л., 1971; (в соавторстве с М.П. Алексеевым). Типология кавказских языков. М., 1980; Введение в кавказское языкознание. М., 1966), с интересом встретит эту книгу, в которой автор анализирует весь массив выявленных к настоящему времени лексических параллелей между картвельскими и индоевропейскими языками. Исследование этого рода и следовало ожидать от него, поскольку уже в течение многих лет он регулярно обращался к частным вопросам лексических связей между индоевропейскими и картвельскими языками и сам собрал обшиный дискуссионный материал.

В предисловии, в связи с упоминанием отдельных работ по этой тематике, автор определяет значение и обусловленность этих иследований и отдельные проблемы. Основной корпус состоит из четырех глав: первая посвящена истории вопроса и методам исследования индоевропейско-картвельских лексических параллелей, три другие – отдельным временны́м пластам заимствований: первая – индоевропейским заимствованиям в общекартвельский праязык; вторая – индоевропейским заимствованиям в грузинско-занский праязык и третья – индоевропеизмам в уже разделившихся картвельских языках в их доисторической фазе.

Сходство многих индоевропейских и картвельских лексем признавали уже Розен, Броссе и Бопп, но интерпретация этого явления в то время была совершенно иная, нежели сегодня. Однако на рубеже 19–20 вв. целый ряд исследователей (Глейе, Джанашвили и др.) начал собирать новые факты и интерпретировать их как результат ранних языковых контактов. Это направление не исчерпано и до настоящего времени[1].

Г.А. Климов уже с шестидесятых годов занимается этой тематикой, с которой он неизбежно столкнулся при создании своего "Этимологического словаря картвельских языков", о чем и упоминает в предисловии к своей работе. С тех пор автор все более интенсивно обращался к вопросу индоевропейско-картвельских языковых контактов и теперь перед нами, как логический итог его предшествующих исследований в этой области, – обобщающий труд, который позволяет одновременно охватить состояние научной дискуссии и позицию автора.

В этой связи следует с благодарностью отметить, что автор, известный своим ясным методическим подходом к сравнительно-историческому исследованию кавказских языков, и здесь еще раз излагает методические принципы, которыми он руководствуется. Это сжатое изложение своего научного кредо можно рассматривать не только как в целом полезное, но и как пример для сравнительно-исторического и ареального языкознания. Природой предмета предопределено, что и здесь, несмотря на стремление к точности, есть некая опасная зона, в которой при современном состоянии науки трудно достичь однозначных решений. Примечательно, что автор не обходит проблему истолкования материала в плане ностратической гипотезы, но и здесь стремится к достижению методической ясности.

К числу больших достоинств работы Г.А. Климова относится членение материала по хронологическим критериям. Он отделяет индоевропеизмы, усвоенные общекартвельским праязыком, от заимствований, приобретенных позднее, во время грузинско-занского единства, и от тех, которые вошли в отдельные языки в доисторический период. Это разделение анализируемого фактического материала обеспечивает бóльшую обозримость всей полноты лексики и облегчает читателю вхождение в неё. В отдельных главах лексемы рассматриваются последовательно в соответствии с грузинским алфавитом, при этом, наряду с подробным сообщением форм и изложением дискуссии по проблеме, с указанием соответствующей специальной литературы, не опускаются и отличные от авторского мнения. Критический разбор других научных взглядов, вместе с количеством лексических параллелей, относится к числу самых убедительных достижений этой книги, которая должна рассматриваться как обобщающий словарь индоевропейских заимствований в картвельских языках. Большое количество индоевропейских заимствований в картвельских языках обнаружил сам Г.А. Климов, что еще раз наглядно свидетельствует о его принадлежности, уже в течение нескольких десятилетий, к числу картвелистов, которые своими неустанными трудами и ценными инициативами существенно способствовали прогрессу этой области науки.

Библиографический отдел, делающий более доступной литературу предмета, а также индексы анализируемой картвельской лексики завершают этот труд, очень ценный и перспективный в равной степени для дальнейшего развития как картвелистики, так и ареальной лингвистики, и сравнительно-исторического языкознания.

Х. Фенрих*

(Перевела с немецкого *Ж.Ж. Варбот*)

Примечания

[1] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I–II.

---

* Heinz Fähnrich

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Абаев	*Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958–1989. Т. I–IV.
Арханг. словарь	Архангельский областной словарь / Под ред. О.Г. Гецовой. МГУ, 1980–. Вып. 1–.
Ачарян	*Ачарян Р.* Этимологический корневой словарь армянского языка. Ереван, 1926–1935. Т. I–VII (на арм. яз.).
Байкоў-Некрашэвіч	*Байкоў М., Некрашэвіч Е.* Беларуска-расійскі слоўнік. Мінск, 1925.
БАС	Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950–1965. Т. 1–17.
БД	Българска диалектология.С., 1962–1981. Т. I–X.
Бернштейн^{1}	*Бернштейн С.Б., Луканов П.С., Тинева Е.П.* Болгарско-русский словарь. М., 1947.
Бернштейн^{2}	*Бернштейн С.Б.* Болгарско-русский словарь. Изд. 2, стереотип. М., 1975.
БТР^{3}	*Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст. и др.* Български тълковен речник. С., 1973.
Бялькевіч	*Бялькевіч І.К.* Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.
Вујичић. Рјечник Прошћења	*Вујичић М.* Рјечник говора Прошћења (код Мојковца) / Црногорска Академија наука и умјетности. Посебна издања. Књ. 29. Одјељ. умјетности. Књ. 6 // Уредник Драго Ћупић. Подгорица, 1995.
Геров	*Геров Н.* Рѣчникъ на блъгарскый языкъ съ тлъкувание рѣчи-ты на блъгарскы и на русскы. Пловдивъ, 1895–1904 (С., 1975–1978), ч. I–V; ч. VI (= Панчевъ Г. Допълнение на българския рѣчникъ от Н. Геровъ). Пловдивъ, 1908 (С., 1978).
Гринченко	*Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. К., 1907–1909. Т. I–IV.
Даль^{2}	*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2 изд. СПб.; М., 1880–1882 (1955). Т. I–IV.
Даль^{3}	*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3 изд. СПб.; М., 1903–1909. Т. I–IV.
Динић. Речник тимочког говора	*Динић Ј.* Речник тимочког говора // СДЗб. Расправе и грађа. Београд, 1988, XXXIV.
Донск. словарь^{2}	Словарь донских говоров в 2-х томах / Авторы-сост.: З.В. Валюсинская и др. 2 изд., перераб. и дополн. Ростов-на-Дону, 1991–. Т. 1–.
Живковић. Речник пиротског говора	*Живковић Н.* Речник пиротског говора. Музеј Понишавља, Пирот, 1987.
И-С	*Толовски Д., Иллич-Свитыч В.М.* Македонско-русский словарь. М., 1963.
Касьпяровіч	*Касьпяровіч М.І.* Віцебскі краёвы слоўнік / Пад рэд. М.Я. Байкова й праф. В.І. Эпімаха-Шыпілы. Віцебск, 1927.
Конески	Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања / Съст. Т. Димитровски, Бл. Корубин, Тр. Стаматоски. Под ред. на Бл. Конески. Скопје, 1961, 1965, 1966. Кн. I–III.
Куликовский	*Куликовский Г.* Словарь областного олонецкого наречия. СПб., 1898.
Лисенко	*Лисенко П.С.* Словник поліських говорів. К., 1974.

Мијатовић. Прилог познавању лексике српских говора	*Мијатовић Ј.* Прилог познавању лексике српских говора у Мађарској // Прилози проучавању језика. Нови Сад, 1983, 19.
Никончук	*Никончук Н.В.* Материали до Лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). К., 1979.
Новосиб. словарь	Словарь русских говоров Новосибирской области / Под ред. А.И. Федорова. Новосибирск, 1979.
Носович	*Носович И.И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
Подвысоцкий	*Подвысоцкий А.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
Преображенский	*Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914. Т. I–II. Окончание / Труды ИРЯ, М., 1949. Т. 1.
Приамур. словарь	Словарь русских говоров Приамурья / Сост. Ф.П. Иванова, Л.В. Кирпикова, Л.Ф. Путятина, Н.П. Шенкевец. М., 1983.
Псков. словарь	Псковский областной словарь с историческими данными / Ред. коллегия: Б.А. Ларин, А.С. Герд, С.М. Глускина и др. Л., 1967–. Вып. 1–.
Радлов	*Радлов В.О.* Опыт словаря тюркских наречий. I–IV. СПб., 1893–1911.
Ровинский. Черногория	*Ровинский П.* Черногория в ее прошлом и настоящем / Сб. ОРЯС, СПб., 1905. Т. LXXX, № 2.
РСА	Речник српскохрватског књижевног и народног езика. Београд, 1959–. Кн. I–.
Севортян	*Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974–1989. Общетюркские и межтюркские основы на гласные; на букву "Б" (1978), на буквы "В", "Г", "Д" (1980), на буквы "Җ", "Ж", "Й" (1989).
Скарбы	*Цыхун А.П.* Скарбы народнай мовы. Гродно, 1993.
Сл. II Отд. 1847	Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук. СПб., 1847. Т. I–IV.
Слоўн. паўн.-заход. Беларусі	Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / Уклад.: Ю.Ф. Мацкевіч, А.І. Грынавецкене, Я.М. Рамановіч, А.І. Чабярук, Ф.Д. Клімчук і інш. Мінск, 1978–1986. Т. 1–5.
Слоўн. цэнтр. Беларусі	Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі: У 2 т. / Уклад. Е.С. Мяцельская і інш., Пад рэд. Е.С. Мяцельскай. Мінск, 1990–. Т. 1–.
СлРЯ XI–XVII вв.	Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. С.Г. Бархударов (вып. 1–6),Ф.П. Филин (вып. 7–10),Д.И. Шмелев (вып. 11–14), Г.А. Богатова (вып. 15–23). М., 1975–. Вып. 1–.
Сл. Сред. Урала	Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А.К. Матвеева. Свердловск, 1964–1988. Т. I–VII.
Срезневский	*Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903 (Репринт 1958, 1989 г.). Т. I–III.
СРНГ	Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин (вып. 1–23); Ф.П. Сороколетов (вып. 24–30). Л., 1966–1996–. Вып. 1–30–.
Ст.-слав. словарь	Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
Сцяшковіч	*Сцяшковіч Т.Ф.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972.
Сцяшковіч. Слоўн.	*Сцяшковіч Т.Ф.* Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мінск, 1983.
Толстой[1]	*Толстой И.И.* Сербскохорватско-русский словарь. М., 1957.
Толстой[2]	*Толстой И.И.* Сербскохорватско-русский словарь. М., 1958.

Толстой[3]	*Толстой И.И.* Сербскохорватско-русский словарь. Изд. 3. М., 1970.
Томић. Говор Свиничана.	*Томић М.* Говор Свиничана / СДЗб. Београд, 1984. Књ.XXX.
Трофимович	Верхнелужицко-русский словарь / Сост. К.К. Трофимович // Под ред. Ф. Михалка и П. Фёлькеля. Бауцен, 1974.
Трубачев. Терм. родства	*Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
Тураўскі слоўнік	*Крывіцкі А.А., Цыхун Г.А., Яшкін І.Я.* Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987. Т. 1–5.
Фасмер	*Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1964–1973; 2-е изд. 1986–1987, 3-е изд. – 1996. Т. I–IV.
Филин	см. СРНГ
Чешљар. Из лексике Иванде	*Чешљар М.* Из лексике Иванде // Прилози проучавању језика. Нови Сад, 1983. Књ. 19.
Элиасов	*Элиасов Л.Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
ЭСБМ	Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В.У. Мартынаў. Мінск, 1978–. Т. 1–.
ЭССЯ	Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974–. Вып. 1–.
Янкова	*Янкова Т.С.* Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны. Мінск, 1982.
Янкоўскі	*Янкоўскі* Ф.М. Дыялектны слоўнік. Мінск, 1959–1970. Т. I–III.
Ярослав. словарь	Ярославский областной словарь / Ред. колл.: Г.Г. Мельниченко, Л.Е. Кругликова, Е.М. Секретова. Ярославль, 1981–1991. Аа-Бобинка (1981), Бобовки-вертушок (1982), Вертыхаться-дидля (1984), Дикариться–иштык (1985), К–лиова (1986), Липень–няучить (1987), О–пито (1988), Питок–ряшка (1989), С–тятя (1990), У–ящорка (1991).
Bartholomae	*Bartholomae Chr.* Altiranisches Wörterbuch. Straßburg, 1904.
Benešić	*Benešić J.* Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do J.G. Kovačića. Zagreb, 1985–. Sv. 1–.
Berneker	*Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1913. Bd. I–II. A–morъ.
Bezlaj	*Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1977–. Knj. I–.
Bezlaj. Eseji.	*Bezlaj F.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.
Brückner	*Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927 (1957, 1970).
Feist	*Feist S.* Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache mit Einschluß des sogennanten Krimgotischen. Halle, 1909.
Fick	*Fick A.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanisches Sprachen. 2. Aufl. Göttingen, 1890.
Fraenkel	*Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955–1965. Bd. I–II.
Frick	*Frisk Hj.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954–1972. Bd. I–III.
Hraste-Šimunović	Čakavisch-deutsches Lexikon / Von M. Hraste und P. Šimunović // Unter Mitarbeit und Redaktion von R. Olesch. Köln, Wien, 1979. Teil 1–2.
Jungmann	*Jungmann J.* Slovník česko-německý. Pr., 1835–1839. D. I–V.
Karłowicz	*Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1990–1911. T. I–VI.
Karulis	*Karulis K.* Latviešu etimologijas vārdnīca. Rīgā, 1992. Sēj. I–II.

Kott	*Kott F.St.* Česko-německý slovník. Pr., 1878–1893. D. I–VII.
Kucała	*Kucała M.* Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
Linde	*Linde S.* Słownik języka polskiego. Lwów, 1854–1860. T. I–VI.
Machek[1]	*Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Pr., 1957.
Machek[2]	*Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého / Druhé, opravené a doplněné vydání. Pr., 1968 (1971).
Mayrhofer	*Mayrhofer M.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindisches. Heidelberg, 1953–. L. 1–.
Mayrhofer. Altindoar.	*Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg, 1986–. B. I–.
Miklosich	*Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
Miklosich LP	*Miklosich Fr.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.
Muka	*Muka E.* Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. SPb., 1911–1915. Bd. I; Pr., 1926–1928. Bd. II–III.
Mühlenbachs-Endzelīns	*Mühlenbachs K.* Latviešu valodas vārdnīca / Red. J. Endzelīns. Rīgā, 1923–1932. Sej. I–XLV.
Peić-Bačlija	*Peić M., Bačlija G.* Rečnik bačkin Bunjevaca. Novi Sad; Subotica, 1990.
Pleteršnik	*Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895 (1974). Knj. I, II.
Pokorny	*Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. I–II.
PSJČ	Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. Díl. I–IX.
RJA	Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976. Sv. I–XXXIII.
Schuster-Šewc	*Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der oder- und niedersorbischen Sprachen. Bautzen, 1978–1989. B. I–IV (H. 1–24).
Skok	*Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974. Knj. I–IV.
Sł.gw.p.	Słownik gwar polskich / Pod kierunkiem M. Karasia. Wrocław etc., 1979–. T. I–.
Słownik prasłowiański	Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1974–. T. 1–.
Sł. stpol.	Słownik staropolski. W-wa, 1953–. T. I–.
Sychta	*Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc., 1967–1976. T. I–VII.
Walde–Hofmann	*Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch / 3. neubearb. Aufl. von J.B. Hofmann. Heidelberg, 1938.
ВЯ	Вопросы языкознания
ИИБЕз	Известия на Института за български език
ИОРЯС	Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук
РФВ	Русский Филологический Вестник
СДЗб	Српски дијалектолошки зборник
RS	Rocznik Slawistyczny
SOr	Rocznik Orientalistyczny
SR	Slavistična revija
Zfsl	Zeitschrift für Slawistik
ZfslPh	Zeitschrift für slavische Philologie
ZII	Zeitschrift für Indologie und Iranistik

авар.	аварский
авест.	авестийский
агул.	агульский
адыг.	адыгский
адыгейск.	адыгейский
азерб.	азербайджанский
алан.	аланский
алб.	албанский
алт.	алтайский
амур.	амурский
англ.	английский
анд.	андийский
араб.	арабский
арм.	армянский
арханг.	архангельский
арчин.	арчинский
ахвах.	ахвахский
багв.	багвалинский
балто-слав.	балто-славянский
бацб.	бацбийский
башкир.	башкирский
беслен.	бесленский
блр.	белорусский
болг.	болгарский
ботл.	ботлихский
брет.	бретонский
булг.	булгарский
валаш.	валашский
валл.	валлийский
вепс.	вепсский
в.-луж.	верхнелужицкий
вод.	водский
волог.	вологодский
ворон.	воронежский
вост.-слав.	восточнославянский
вост.-чеш.	восточночешский
вят.	вятский
герм.	германский
горенск.	горенский
гот.	готский
греч.	греческий
гродн.	гродненский
груз.	грузинский
дарг.	даргинский
дорич.	дорический
др.-в.-нем.	древневерхненемецкий
др.-греч.	древнегреческий
др.-инд.	древнеиндийский
др.-иран.	древнеиранский
др.-ирл.	древнеирландский
др.-исл.	древнеисландский
др.-перс.	древнеперсидский
др.-польск.	древнепольский
др.-прус.	древнепрусский
др.-рус.	древнерусский
др.-тюрк.	древнетюркский
др.-уйгур.	древнеуйгурский
др.-франк.	древнефранкский
др.-франц.	древнефранцузский
забайк.	забайкальский
зап.-морав.	западноморавский
зильск.	зильский
и.-е.	индоевропейский
ингуш.	ингушский
иран.	иранский
ирл.	ирландский
исп.	испанский
италийск.	италийский
итальян.	итальянский
кабард.	кабардинский
казах.	казахский
калин.	калининский
калм.	калмыцкий
камч.	камчатский
карат.	каратингский
карел.	карельский
кашуб.	кашубский
кашуб.-словин.	кашубско-словинский
кельт.	кельтский
кимр.	кимрский
кирг.	киргизский
киров.	кировский
кольск.	кольский
костр.	костромской
краснояр.	красноярский
кубан.	кубанский
лазск.	лазский
лакск.	лакский
лат.	латинский
лезг.	лезгинский
ливск.	ливский
ливв.	ливвиковский
лит.	литовский
лтш.	латышский
люд.	людиковский
ляш.	ляшский
макед.	македонский
манс.	мансийский
мегр.	мегрельский
монг.	монгольский
морав.	моравский
морд.	мордовский
н.-греч.	новогреческий
нем.	немецкий
нижегор.	нижегородский
н.-луж.	нижнелужицкий
н.-нем.	нижненемецкий
новосиб.	новосибирский
норв.	норвежский
оренб.	оренбургский
орл.	орловский
осет.	осетинский

османо-тур.	османо-турецкий	с.-хорв.	сербохорватский
о.-тюрк.	общетюркский	табас.	табасаранский
полаб.	полабский	татар.	татарский
польск.	польский	твер.	тверской
праслав.	праславянский	тинд.	тиндинский
прекмур.	прекмурский	тихв.	тихвинский
приамур.	приамурский	тобол.	тобольский
приангар.	приангарский	толмин.	толминский
прибалт.	прибалтийский	том.	томский
прус.	прусский	тур.	турецкий
псков.	псковский	туркм.	туркменский
роксан.	роксанский	тюрк.	тюркский
рум.	румынский	удм.	удмуртский
рус.	русский	узб.	узбекский
рус.-цслав.	русско-церковнославянский	уйгур.	уйгурский
		укр.	украинский
рутул.	рутульский	уфим.	уфимский
ряз.	рязанский	фин.	финский
самар.	самарский	франц.	французский
санскр.	санскрит	хабар.	хабаровский
сахалин.	сахалинский	хант.	хантыйский
сван.	сванский	хетт.	хеттский
свердл.	свердловский	хорв.	хорватский
сев.-двинск.	северодвинский	цахур.	цахурский
сев.-рус.	севернорусский	ц.-слав.	церковнославянский
серб.	сербский	цыган.	цыганский
силез.	силезский	чагат.	чагатайский
слав.	славянский	чакав.	чакавский
словац.	словацкий	чам.	чамалинский
словен.	словенский	черниг.	черниговский
словин.	словинский	черноврш.	черновршский
смол.	смоленский	черногор.	черногорский
ср.-в.-нем.	средневерхненемецкий	чечен.	чеченский
ср.-ирл.	среднеирландский	чеш.	чешский
ст.-болг.	староболгарский	чираг.	чирагский
ст.-лит.	старолитовский	чуваш.	чувашский
ст.-польск.	старопольский	шапсуг.	шапсугский
ст.-рус.	старорусский	эст.	эстонский
ст.-слав.	старославянский	ю.-слав.	южнославянский
ст.-укр.	староукраинский	якут.	якутский
ст.-чеш.	старочешский	яросл.	ярославский

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

В.Э. Орел (Тель-Авив). Двадцатилетие "Этимологического словаря славянских языков" (вып. 1–21, 1974–1994) 3

Л. Мошинский (Гданьск). Современные лингвистические методы реконструкции праславянских верований 9

О.Н. Трубачёв. Продолжение диалога 20

Т.В. Горячева. К этимологии и семантике восточнославянских метеорологических и астрономических терминов 27

Ж.Ж. Варбот. К этимологии славянских прилагательных со значением 'быстрый'. III 35

Л.В. Куркина. Славянские этимологии 46

И.П. Петлева. Этимологические заметки по славянской лексике. XIX 57

В.Э. Орел (Тель-Авив). Праславянские и восточнославянские этимологии 64

А.А. Калашников. Польские этимологии. I 69

Э.П. Хэмп (Чикаго). Читая "Этимологический словарь славянских языков". Вып. 17, 18 73

В.В. Сырочкин. Этимологические заметки. II 75

М. Рачева (София). К историко-этимологическому изучению названия *вампира* в болгарском и сербохорватском языках 84

А.А. Кретов. *Медвежата, верблюжата, цыплята* и *свинья*: славянские этимологии 95

Р. Мароевич (Белград). Заметки по историческому словообразованию 100

В.И. Дегтярев. Семантическая реконструкция грамматичекой категории числа в праславянском языке 106

Н.В. Чурмаева. Лексикографические заметки 116

А.К. Матвеев. Финно-угорские заимствования в говорах русского Севера. I 125

А.В. Штейнгольд (Тарту). Заметки по этимологии одного русского фитонима (*толокнянка*) 135

Н.В. Пятаева. Опыт динамического описания синонимичных этимологических гнезд **em-* и **ber-* 'брать, взять' в истории русского языка 140

В.Н. Топоров. К этимологии др.-инд. *kram-* 'шагать, ступать' 147

Л.А. Сараджева (Ереван). К этимологии арм. *erkin* 'небо' 165

Э.П. Хэмп (Чикаго). И.-е. **ment-* 'мешать, перемешивать, взбалтывать' 169

Б.И. Татаринцев. Верна ли распространенная этимология? (Происхождение гидронима *Иртыш*) 170

О.А. Смирнов. К этимологии эпического этнонима *нарт* 177

Г.А. Климов. О кавказских обозначениях невестки 181

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 3, 4, 5. Hl. red. E. Havlová. Academia ČR. Praha, 1991–1995 (Л.В. Куркина) 187

W. Boryś, H. Popowska-Taborska. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. I. Warszawa, 1994 (Ж.Ж. Варбот) 189

F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. III. Ljubljana, 1995 (Л.В. Куркина) 194

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994 (А.М. Молдован) 209

Г.А. Климов. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. М., 1994 (Х. Фенрих) 213

Принятые сокращения 216

Научное издание

Этимология

1994–1996

Утверждено к печати
Научным советом
Института русского языка
Российской академии наук

Заведующая редакцией "Наука – культура"
А.И. Кучинская

Редактор *Т.М. Скрипова*
Художественный редактор *Т.М. Коровина*
Технический редактор *Т.В. Жмелькова*
Корректоры *З.Д. Алексеева,*
Г.В. Дубовицкая, Т.И. Шеповалова

Набор и верстка выполнены в издательстве
на компьютерной технике

ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 30.09.97
Формат 60 × 90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 14,0. Усл.кр.-отт. 14,3. Уч.-изд.л. 19,6
Тираж 1000 экз. Тип. зак. 3331

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Санкт-Петербургская типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12